Рб 14/280

4594

Р 14/280

МОСКОВСКІЙ СБОРНИКЪ.

Изданіе

К. П. Побѣдоносцева

пятое, дополненное.

Москва—1901.

Р 14/280

МОСКОВСКІЙ СБОРНИКЪ.

Изданіе

К. П. Побѣдоносцева

пятое, дополненное.

31058

МОСКВА.
Синодальная Типографія.
1901.

Государственная
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА
87052-48

2007041267

ОГЛАВЛЕНІЕ.

1. Церковь и Государство. I. II. III. IV. V. VI. . . . . 1.
2. Новая демократія . . . . . 25.
3. Великая ложь нашего времени. I. II. III. IV . . . . . 38.
4. Судъ присяжныхъ. . . . . 63.
5. Печать. I. II. III. . . . . 67.
6. Народное просвѣщеніе. I. II . . . . . 80.
7. Гербертъ Спенсеръ о народномъ воспитаніи . . . . . 90.
8. Законъ. . . . . 100.
9. Болѣзни нашего времени. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI . . . . . 107.
10. Знаніе и дѣло . . . . . 161.
11. Вѣра. I. II. III. IV. V. VI. VII. . . . . 164.
12. Идеалы невѣрія. I. II. III. . . . . 183.
13. Новая вѣра и новые браки . . . . . 199.
14. Новое христіанство безъ Христа. . . . . 211.
15. Духовная жизнь. I. II. III. IV. V. VI. VII . . . . . 218.
16. Церковь. I. II. III. IV. V. . . . . 234.
17. Характеры. I. II. III. IV. V. VI. . . . . 263.
18. Древніе классическіе языки въ школѣ. *С. Рачинскаго* . . . . . 293.
19. Власть и начальство . . . . . 299.
20. Изъ Карлейля. I. Дѣтство. II. Простое правило жизни. III. Воспитаніе. IV. Дѣло. V. Религія. VI. Безсознательное . . . . . 322.
21. Гладстонъ объ основахъ вѣры и невѣрія . . . . . 332.
22. Дѣла и дни . . . . . 344.

Церковь и Государство.

I.

Знаменательное явленіе нашего времени — борьба церковныхъ началъ съ государственными. Когда начинается борьба изъ-за началъ духовно-религіозныхъ, невозможно разсчитать, какими предѣлами она ограничится и какіе элементы вовлечетъ въ себя; до чего дойдетъ и гдѣ уляжется море страстей, взволнованное споромъ за убѣжденія и вѣрованія. Въ вопросахъ вѣрованія народнаго государственной власти необходимо заявлять свои требованія и установлять свои правила съ особливою осторожностью, чтобы не коснуться такихъ ощущеній и духовныхъ потребностей, къ которымъ не допускаетъ прикасаться самосознаніе массы народной. Какъ бы ни была громадная власть государственная, она утверждается не на иномъ чемъ, какъ на единствѣ духовнаго самосознанія между народомъ и правительствомъ, на вѣрѣ народной: власть подкапывается съ той минуты, какъ начинается раздвоеніе этого, на вѣрѣ основаннаго, сознанія. Народъ, въ единеніи съ государствомъ, много можетъ понести тягостей, много можетъ уступить и отдать государственной власти. Одного только государствен-

ная власть не въ правѣ требовать, одного не отдадутъ—того, въ чемъ каждая вѣрующая душа въ отдѣльности, и всѣ вмѣстѣ, полагаютъ основаніе духовнаго бытія своего и связываютъ себя съ вѣчностью. Есть такія глубины, до которыхъ государственная власть не можетъ и не должна касаться, чтобы не возмутить коренныхъ источниковъ вѣрованія въ душѣ у всѣхъ и каждаго.

Главнымъ источникомъ возникшихъ и грозящихъ еще усилиться недоразумѣній между народомъ и правительствами служитъ искуственно создаваемая теорія отношеній между государствомъ и Церковью. Въ историческомъ ходѣ событій на западѣ Европы, неразрывно связанныхъ съ развитіемъ римско-католической церкви, сложилось и вошло въ систему государственнаго устройства понятіе о Церкви, какъ объ учрежденіи духовно-политическомъ, со властью, которая, вступивъ въ противоположеніе съ государствомъ, предприняла съ нимъ борьбу политическую; событіями этой борьбы занято все поле исторіи на западѣ Европы. Изъ-за этого политическаго значенія Церкви отошло на задній планъ и померкло въ сознаніи государственномъ простое, истинное, природное понятіе о Церкви, какъ о собраніи христіанъ, органически связанныхъ единствомъ вѣрованія въ союзъ богоучрежденный. Это понятіе таится, однако, въ глубинѣ народнаго сознанія, соотвѣтствуя самой коренной и глубочайшей потребности души человѣческой—потребности вѣрованія и единенія въ вѣрѣ. Въ этомъ смыслѣ Церковь, какъ общество вѣрующихъ, не отдѣляетъ и не можетъ отдѣлять себя отъ государства, какъ общества соединеннаго въ гражданскій союзъ. До какого бы совершенства ни достигло въ умѣ логическое построеніе отношеній, на *раздѣленіи* основанныхъ, между государствомъ и Церковью, имъ не удовлетворится простое сознаніе въ массѣ

вѣрующаго народа. Удовлетворенъ можетъ быть умъ политическій, какъ наилучшею формою сдѣлки, какъ совершеннѣйшею философскою конструкціей понятій; но въ глубинѣ духа, ощущающаго живую потребность вѣры и единства вѣры съ жизнію, это искуственное построеніе не отзывается истиною. Жизнь духовная ищетъ и требуетъ выше всего *единства* духовнаго, и въ немъ полагаетъ *идеалъ* бытія своего; а когда душѣ показываютъ этотъ идеалъ въ *раздвоеніи*, она не принимаетъ такого идеала и отвращается. Вѣрованіе,—по свойству своему безусловное, не терпитъ ничего условнаго въ своей идеальной конструкціи. Правда, что въ дѣйствительности жизнь всѣхъ и каждаго есть непрерывная исторія паденія и раздвоенія—печальнаго раздвоенія между идеей и дѣломъ, между вѣрой и жизнью; но въ этой непрерывной борьбѣ духъ человѣческій держится въ равновѣсіи не инымъ чѣмъ, какъ вѣрою въ идеальное, конечное единство, и дорожитъ такою вѣрою, какъ первымъ и исконнымъ сокровищемъ бытія своего. Приведите человѣка въ сознаніе этого раздвоенія: онъ никнетъ и смиряется мыслью. Покажите ему конецъ раздвоенія, къ которому стремится духъ—онъ поднимаетъ голову, сознаетъ себя живущимъ и стремится впередъ съ вѣрою.—Но когда вы скажете ему, что жизнь сама по себѣ, а вѣра сама по себѣ, и это понятіе станете возводить въ теорію жизни,—душа не принимаетъ такого понятія, съ тѣмъ же отвращеніемъ, съ какимъ встрѣчаетъ мысль о конечномъ и рѣшительномъ уничтоженіи бытія.

Возразятъ, можетъ быть, что здѣсь дѣло идетъ о личномъ вѣрованіи. Но личное вѣрованіе не отдѣляетъ себя отъ вѣрованія церковнаго, такъ какъ существенная его потребность есть единеніе въ вѣрѣ, и этой потребности оно находитъ удовлетвореніе въ Церкви.

Въ Западной Европѣ издавна продолжается борьба Церкви съ государствомъ и государства съ Церковью. Послѣднее слово этой борьбы еще не сказано—и каково будетъ оно, еще не извѣстно. Та и другая сторона мѣряетъ свои силы и скликаетъ свои дружины. Государство опирается на силы интеллигенціи, Церковь опирается на вѣрованіе народной массы и на сознаніе авторитета духовнаго. Нѣтъ сомнѣнія, что въ конечномъ результатѣ побѣда будетъ на той сторонѣ, на которой окажется дѣйствительное объединеніе глубокаго, жизненнаго вѣрованія. Государственной интеллигенціи предстоитъ во всякомъ случаѣ трудная задача—привлечь на свою сторону и соединить съ собою твердо—народное вѣрованіе. Но для того, чтобы привлечь вѣрованіе и слиться съ нимъ, нужно показать въ себѣ живую вѣру; одной интеллигенціи для этого недостаточно. Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. Народное вѣрованіе чутко, и едва-ли можно обольстить его видомъ вѣрованія или увлечь въ сдѣлку вѣрованій: живая вѣра не допускаетъ сдѣлки, не признаетъ абсолютнаго господства разсудочной логики. Хотя къ вѣрованію обыкновенно примѣняется понятіе объ убѣжденіяхъ, но *убѣжденіе разсудка* нельзя смѣшать съ *убѣжденіемъ вѣры* и *сила умственная*, сила интеллигенціи и мышленія, весьма ошибается, если полагаетъ въ себѣ самой все нужное для *силы духовной*, независимо отъ вѣрованія, составляющаго самую сущность духовной силы.

Въ этомъ смѣшеніи понятій кроется для государства великая опасность въ борьбѣ съ Церковью. Когда, въ эпоху реформаціи, государственная власть въ Германіи становилась во главѣ движенія противъ старой церковной власти и вырабатывала новую организацію Церкви,—она обладала дѣйствительною духовною силою вѣрованія. Движеніе, къ ко-

торому присоединилась она, возникло въ массѣ народной, проникнутое глубокимъ, сосредоточеннымъ вѣрованіемъ: первые вожаки его, представляя въ себѣ высшую интеллигенцію тогдашняго общества, въ то же время горѣли огнемъ вѣры глубокой, объединявшей ихъ съ народомъ. Итакъ, въ этомъ движеніи сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить, послѣ долголѣтней борьбы, вѣками утвердившаяся сила стараго закона.

Нынѣ совсѣмъ другія обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединеніе между вѣрованіемъ народнымъ и политическою конструкціей церковнаго отправленія, въ государственномъ сознаніи. Съ другой стороны, со стороны интеллигенціи, разъединеніе еще болѣе разительное между вѣрованіемъ и научною конструкціей вѣрованія. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальною своею задачей — привесть въ сознаніе и обнять общимъ взглядомъ церковныя вѣрованія, грозитъ уже поглотить въ себѣ всякое вѣрованіе, подчинивъ его безпощадному критическому анализу разума, какъ фактъ, какъ внѣшній предметъ изслѣдованія. Политическая наука построила строго выработанное ученіе о рѣшительномъ отдѣленіи Церкви и государства, ученіе, вслѣдствіе коего, по закону не допускающему двойственнаго раздѣленія центральныхъ силъ, Церковь непремѣнно оказывается на дѣлѣ учрежденіемъ подчиненнымъ государству. Вмѣстѣ съ тѣмъ государство, какъ учрежденіе, въ политической идеѣ своей является отрѣшеннымъ *отъ всякаго вѣрованія* и равнодушнымъ къ вѣрованію. Естественно, что съ этой точки зрѣнія Церковь представляется не инымъ чѣмъ, какъ учрежденіемъ удовлетворяющимъ одной изъ признанныхъ государствомъ потребностей населенія— потребности религіозной, и новѣйшее государство обращается къ ней съ правомъ своей авторизаціи, своего надзора и

контроля, не заботясь о вѣрованіи. Для государства, какъ для верховнаго учрежденія политическаго, такая теорія привлекательна, потому что обѣщаетъ ему полную автономію, рѣшительное устраненіе всякаго, даже духовнаго, противодѣйствія и упрощеніе всѣхъ операцій церковной его политики. Но такія обѣщанія обманчивы. Этой теоріи, сочиненной въ кабинетѣ министра и ученаго, народное вѣрованіе не приметъ. Во всемъ, что относится до вѣрованія, сознаніе народное успокоивается только на простомъ и цѣльномъ представленіи, объемлющемъ душу, и отвращается отъ искуственно составленныхъ понятій, когда чуетъ въ нихъ ложь или разладъ съ истиною. Такъ, напримѣръ, политическая теорія можетъ удобно мириться съ оставленіемъ въ должности и на церковной каѳедрѣ пастора, или профессора на богословской каѳедрѣ, который (явленіе, къ несчастью, ставшее уже обычнымъ въ Германіи) публично объявилъ, что не вѣруетъ въ Божество Спасителя; но совѣсть народная никогда не пойметъ такой конструкціи понятія о церковномъ пастырѣ и съ отвращеніемъ назоветъ ее ложью. Печально и ненадежно будетъ положеніе государственной власти, когда ея распоряженіе и дѣйствіе по предметамъ, относящимся до вѣры — совѣсть народная привыкнетъ ставить въ ложь и причитать къ безвѣрію.

II.

Объ отдѣленіи Церкви отъ государства прекрасно разсуждаетъ бывшій патеръ Гіацинтъ, читавшій по этому предмету публичныя лекціи въ Женевѣ, весною 1873 года. Война на смерть съ Церковью — это мечта революціонной партіи, — но крайней мѣрѣ тѣхъ крайнихъ ея представите-

лей, которые въ политикѣ ставятъ себя якобинцами, а въ области религіозныхъ идей распространяютъ безбожіе и матеріализмъ. Имъ служатъ орудіемъ—софизмъ и насиліе. Всѣ уже потеряли къ нимъ довѣріе повсюду; они слѣпы и не въ силахъ вести борьбу, потому что все смѣшиваютъ въ своемъ противникѣ, ничего не различая, и преувеличиваютъ безъ мѣры его значеніе.

Французская революція поставила себѣ цѣлью обновить общество; но обновить его можно было только примѣненіемъ къ гражданскому обществу христіанскихъ началъ. Возникла борьба между революціей и римскою теократіей, причемъ революція смѣшала римскую теократію съ католическою церковью, со вселенствомъ, которое объемлетъ всѣхъ вѣрующихъ христіанъ, смѣшала съ Евангеліемъ и лицомъ Христа Спасителя. Итакъ, война объявлена была не столько Риму, сколько царству Христову на землѣ. Въ христіанствѣ эти люди стали преслѣдовать самое религіозное чувство, которое слилось уже въ теченіе 2,000 лѣтъ нераздѣльно съ христіанствомъ. Вотъ какого противника вызвали они на бой, вооружившись на него двоякимъ—низкимъ, опозореннымъ оружіемъ: сѣкирою палача и живымъ словомъ софиста.

Католическая религія во Франціи была не въ доброй славѣ, благодаря аббатамъ-вольнодумцамъ, наполнявшимъ дворцовыя пріемныя, благодаря извѣстной легкости нравовъ тогдашняго общества. Вдругъ ее будятъ, поднимаютъ, влекутъ въ темницы. Во имя ея всходятъ на эшафотъ священники, дѣвы, поселяне, вмѣстѣ съ знатными дворянами, съ поэтами, съ государственными людьми—какъ было въ эпоху первыхъ цезарей. На ризахъ ея видна была кровь отъ Варѳоломеевской ночи, видны были слѣды родительскихъ и сиротскихъ слезъ, послѣ отмѣны Нантскаго эдикта; всѣ эти

слѣды вдругъ сгладились; ничего стало не видно за собственною ея кровью, за слѣдами собственныхъ ея слезъ. Вотъ почему, когда она послѣ того встала, то встала въ полномъ сіяніи славы, безъ всякихъ пятенъ. Это сіяніе приготовили для нея палачи ея.

Точно также дѣйствовали и софисты-философы. Они стали раскапывать вопросы, которые новѣйшая наука объявляетъ недоступными для рѣшенія; стали доискиваться въ таинствѣ смерти, увидѣли въ немъ одну мечту и выдумку; стали углубляться въ происхожденіе человѣчества, и у колыбели его признали, вмѣсто библейскаго Адама изъ земли созданнаго, какое-то невѣдомое существо, медленно выдѣляющееся изъ животной жизни, выраждающееся сперва въ обезьяну, потомъ въ человѣка. И вотъ, поставивши этого человѣка и у начала его, и у исхода, въ сплошную среду животной жизни, унизивъ его до предѣловъ гніенія, они стали привѣтствовать его величіе: „Какъ ты великъ, человѣкъ, въ атеизмѣ и въ матеріализмѣ, и въ свободѣ самочинной, ничему не покоряющейся нравственности!“ Но посреди всего этого страннаго величія человѣкъ этотъ оказался подавленъ грустью. Онъ утратилъ Бога, но сохранилъ потребность религіи. Такъ ощутительна эта потребность, что возможна, мы видимъ, религія даже безъ Бога: таковъ буддизмъ—религія, одушевляющая милліоны послѣдователей. И въ самомъ дѣлѣ, хотя бы и правда было,—что первый человѣкъ выродился изъ среды животной,—что мнѣ въ томъ? Въ книгѣ Бытія указана еще грубѣе матерія, изъ которой созданъ человѣкъ—грязь и прахъ, персть земная. Какая бы ни была то матерія,—развѣ въ ней, развѣ въ оболочкѣ—весь человѣкъ? Онъ пріялъ отъ Создателя своего—*живую душу*, то дыханіе жизни религіозной и нравственной, отъ котораго не можетъ, когда бы и хо-

тѣлъ, отдѣлаться. Вотъ что не допуститъ его никогда отречься отъ христіанской религіи.

Проповѣдуется отдѣленіе Церкви отъ государства. Тутъ одни слова, но нѣтъ единой идеи, потому что подъ однимъ словомъ отдѣленія разумѣть можно многое. Пусть опредѣлятъ сначала, въ чемъ оно заключается. Если дѣло состоитъ въ болѣе точномъ разграниченіи гражданскаго общества съ обществомъ религіознымъ, церковнымъ, духовнаго со свѣтскимъ, о прямомъ и искреннемъ размежеваніи, безъ хитростей и безъ насилія,—въ такомъ случаѣ всѣ будутъ стоять за такое отдѣленіе. Если, становясь на практическую почву, хотятъ, чтобы государство отказалось отъ права поставлять пастырей Церкви и отъ обязанности содержать ихъ,—это будетъ идеальное состояніе, къ которому желательно перейти, которое нужно подготовлять къ осуществленію при благопріятныхъ обстоятельствахъ и въ законной формѣ. Когда вопросъ этотъ созрѣетъ, государство, если захочетъ такъ рѣшить его, обязано возвратить кому слѣдуетъ право выбора пастырей и епископовъ; въ такомъ случаѣ нельзя уже будетъ отдавать папѣ то, что принадлежитъ клиру и народу по праву историческому и апостольскому. Государство, въ сущности, только держитъ за собою это право, но оно не ему принадлежитъ.

Но говорятъ, что отдѣленіе надо разумѣть въ иномъ, обширнѣйшемъ смыслѣ. Умные, ученые люди опредѣляютъ его такъ: государству не должно быть дѣла до Церкви, и Церкви—до государства, итакъ человѣчество должно вращаться въ двухъ обширныхъ сферахъ, такъ что въ одной сферѣ будетъ пребывать тѣло, а въ другой—духъ человѣчества, и между обѣими сферами будетъ пространство такое же, какое между небомъ и землею. Но развѣ это возможно? Тѣло нельзя отдѣлить отъ духа: и духъ и тѣло живутъ единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы Церковь—не говорю уже католическая, а Церковь какая бы то ни была—согласилась устранить изъ сознанія своего гражданское общество, семейное общество, человѣческое общество—все то, что разумѣется въ словѣ: государство? Съ которыхъ поръ положено, что Церковь существуетъ для того, чтобы образовывать аскетовъ, наполнять монастыри и выказывать въ храмахъ поэзію своихъ обрядовъ и процессій? Нѣтъ, все это—лишь малая часть той дѣятельности, которую Церковь ставитъ себѣ цѣлью. Ей указано иное званіе: *научите вся языки*. Вотъ ея дѣло. Ей предстоитъ образовывать на землѣ людей для того, чтобы люди, среди земнаго града и земной семьи, содѣлались не совсѣмъ недостойными вступить въ градъ небесный и въ небесное общеніе. При рожденіи, при бракѣ, при смерти—въ самые главные моменты бытія человѣческаго, Церковь является съ тремя торжественными таинствами,—а говорятъ, что ей нѣтъ дѣла до семейства! На нее возложено внушить народу уваженіе къ закону и къ властямъ, внушить власти уваженіе къ свободѣ человѣческой,—а говорятъ, что ей нѣтъ дѣла до общества!

Нѣтъ,—нравственное начало единое. Оно не можетъ двоиться, такъ чтобы одно было нравственное ученіе частное, другое общественное; одно—свѣтское, другое—духовное. Единое нравственное начало объемлетъ всѣ отношенія—частныя, домашнія, политическія, и Церковь, хранящая сознаніе своего достоинства, никогда не откажется отъ своего законнаго вліянія, въ вопросахъ, относящихся и до семьи, и до гражданскаго общества. Итакъ, требуя отъ Церкви, чтобы ей дѣла не было до гражданскаго общества, ей придаютъ лишь новую силу.

Говорятъ: государству нѣтъ дѣла до Церкви. Подъ первоначальнымъ семейственнымъ устройствомъ образовалось

гражданское общество и каждаго начальника семьи сдѣлало гражданином; въ ту пору общество вѣрующихъ не отличалось еще отъ семьи, отъ цѣлаго народа. Съ теченіемъ времени усовершилось устройство гражданскаго общества и основалось вселенское христіанство, объемлющее въ себѣ и семейства, и народы. Какъ сказать теперь отцу, гражданину: ты самъ по себѣ, а Церковь сама по себѣ? На бѣду и отецъ, и гражданинъ уже давно сами себѣ это сказали. Отецъ сталъ равнодушенъ къ религіозному сознанію и направленію въ семейной средѣ своей. У него нѣтъ отвѣта, когда жена обращается къ нему съ своими сомнѣніями, когда его ребенокъ въ дѣтской простотѣ спрашиваетъ: что такое Богъ? И отчего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко всѣмъ приходитъ и дѣтей уноситъ? Когда отцу отвѣтить нечего на эти вопросы, какъ отвѣчаетъ на нихъ самъ ребенокъ въ умѣ своемъ? И если у отца найдется отвѣтъ, въ немъ слышится ребенку какая-то сказка,—а не слышится голосъ живой вѣры, той вѣры, за которую умереть готовъ человѣкъ. И вотъ, изъ ребенка выходитъ такой же скептикъ, какимъ былъ отецъ, или суевѣръ, на подобіе матери или ея духовника-патера. Вотъ какъ отражается въ семействѣ раздѣленіе государства съ Церковью, и на мѣсто отца вводится въ домъ священникъ, извнѣ пришедшій, въ качествѣ духовнаго руководителя, владыка совѣсти, подъ видомъ учителя. Виноваты и священники, безъ сомнѣнія,—но еще виновнѣе сами отцы, потому что они допустили священника стать у домашняго очага на ихъ мѣсто. Когда такъ, пусть не дивятся граждане и гражданскія власти, если когда-нибудь возведенное ими зданіе рухнетъ и ихъ задавитъ обломками. Вотъ куда ведетъ отлученіе государства отъ сознанія Церкви!

III.

Когда въ началѣ 40-хъ годовъ Прусскому Королю донесено было, что нѣкоторые Берлинскіе жители вышли изъ христіанской Церкви, онъ удивился и спросилъ съ улыбкой: „къ какой-же церкви хотятъ они причислиться?“ Этотъ вопросъ потерялъ уже нынѣ на западѣ Европы всякое значеніе. Въ то время казалось—кто выходитъ изъ христіанской Церкви, точно оставляетъ твердую почву и виситъ гдѣ-то на воздухѣ. Нынѣ это уже не воздухъ, а твердая почва—быть безъ всякой религіи.

Когда бы кто въ средніе вѣка объявилъ, что онъ отрекается отъ всякой вѣры, его сочли бы за безумца и притомъ столь отвратительнаго и опаснаго, что предали бы его сожженію.

Въ то время не было мѣста гражданину невѣрующему, но могли быть вѣрующіе, лишенные правъ гражданства—бродяги, безправные люди, коимъ государство отказывало въ законной защитѣ, такъ что имъ приходилось ставить себя подъ защиту феодальнаго владѣльца, одного изъ тѣхъ могущественныхъ вассаловъ, которые, не подчиняясь государственной власти, могли вступать въ борьбу со своимъ феодальнымъ владыкою.

Въ наше время кто рѣшился бы объявить себя свободнымъ отъ государственной власти, не платить податей, не несть воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себѣ государствомъ,—такого человѣка объявили бы безумцемъ,—какимъ считался безвѣрный въ средніе вѣка, только не предали бы его сожженію, но принудили бы его или подчиниться государству или уходить изъ государства вонъ. Онъ ушелъ бы въ другое государство,

гдѣ бы также или привели бы его въ послушаніе или выгнали вонъ.

Стало быть: нынѣ можемъ мы свободно уклониться отъ религіи и отъ Церкви, но отъ государства уклониться не можемъ. Государство обезпечиваетъ намъ полноту общественной жизни, а Церковь уже не господствуетъ надъ общественною жизнью такъ, какъ прежде господствовала. Наше время отличается стремленіемъ привлечь всѣ отношенія къ государственной власти: а когда бы Церковь хотя на половину того предприняла привлечь къ себѣ общественныя отношенія, она встрѣтила бы со всѣхъ сторонъ препятствія и противодѣйствія.

Не взирая на всякія свободы, повсемѣстно провозглашаемыя, мы стремимся во всемъ подъ власть государства. Мы требуемъ законовъ, мѣръ правительства для всякаго значительнаго проявленія нашей общественной жизни; многіе формально требуютъ сосредоточенія и единообразнаго устройства индивидуальной жизни посредствомъ государства. Чуть у кого жметъ сапогъ на ногѣ,—слышишь крикъ—государство должно вступиться; гдѣ двое—трое жалуются на тяготу, плется жалоба, просьба къ правительству. Въ прежнее время обращались бы, можетъ быть, къ Церкви. Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться въ общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться въ государствѣ и быть управляема государствомъ, эта главная движущая идея соціализма, а какъ эта мысль въ ясномъ или неясномъ представленіи угнѣздилась даже въ самыхъ крѣпкихъ умахъ, то и самый простой заурядный человѣкъ безсознательно чѣмъ-нибудь пріобщается къ соціалистамъ.

Нельзя не признать, что измѣнилось и самое отношеніе Церкви къ обществу вѣрующихъ, составляющему союзъ церковный. Нынѣ и они не могли бы примириться съ возста-

повленіемъ старинныхъ отношеній Церкви къ ея чадамъ, со вмѣшательствомъ ея въ частную и семейную жизнь, въ общественный бытъ и въ политику, и въ экономію общества. Государство издаетъ нынѣ законъ за закономъ: Церкви нынѣ не приходится не только объявлять новые догматы, но и настаивать столь же формально и строго, какъ прежде, на истолкованіи и примѣненіи своихъ ученій.

Итакъ, повидимому, безсильна стала Церковь, въ сравненіи съ возрастающимъ до громадныхъ размѣровъ могуществомъ государства. Однако на дѣлѣ не то выходитъ, ибо Церковь опирается на духовныя силы въ народѣ. (Риль).

IV.

Самая древняя и самая извѣстная система отношеній между Церковью и государствомъ есть система установленной или государственной церкви. Государство признаетъ одно вѣроисповѣданіе изъ числа всѣхъ истиннымъ вѣроисповѣданіемъ и одну церковь исключительно поддерживаетъ и покровительствуетъ, къ предосужденію всѣхъ остальныхъ церквей и вѣроисповѣданій. Это предосужденіе означаетъ вообще, что всѣ остальныя церкви не признаются истинными или вполнѣ истинными; но практически выражается оно въ неодинаковой формѣ, со множествомъ разнообразныхъ оттѣнковъ, и отъ непризнанія и отчужденія доходитъ иногда до преслѣдованія. Во всякомъ случаѣ, при дѣйствіи этой системы чужія исповѣданія подвергаются нѣкоторому, болѣе или менѣе значительному умаленію въ чести, въ правѣ и преимуществѣ, сравнительно со своимъ, съ господствующимъ исповѣданіемъ. Государство не можетъ быть представителемъ однихъ матеріальныхъ интересовъ общества; въ такомъ слу-

чаѣ оно само себя лишило бы духовной силы и отрѣпилось бы отъ духовнаго единенія съ народомъ. Государство тѣмъ сильнѣе и тѣмъ болѣе имѣетъ значенія, чѣмъ явственнѣе въ немъ обозначается представительство духовное. Только подъ этимъ условіемъ поддерживается и укрѣпляется въ средѣ народной и въ гражданской жизни чувство законности, уваженіе къ закону и довѣріе къ государственной власти. Ни начало цѣлости государственной или государственнаго блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное — сами по себѣ недостаточны къ утвержденію прочной связи между народомъ и государственною властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрѣшается отъ религіозной санкціи. Этой центральной, собирательной силы безъ сомнѣнія лишено будетъ такое государство, которое, во имя безпристрастнаго отношенія ко всѣмъ вѣрованіямъ, само отрекается отъ всякаго вѣрованія — какого бы то ни было. Довѣріе массы народа къ правителямъ основано на вѣрѣ, т.-е. не только на единовѣріи народа съ правительствомъ, но и на простой увѣренности въ томъ, что правительство имѣетъ вѣру и по вѣрѣ дѣйствуетъ. Поэтому, даже язычники и магометане больше имѣютъ довѣрія и уваженія къ такому правительству, которое стоитъ на твердыхъ началахъ вѣрованія — какого бы то ни было, нежели къ правительству, которое не признаетъ своей вѣры и ко всѣмъ вѣрованіямъ относится одинаково.

Таково неоспоримое преимущество этой системы. Но съ теченіемъ вѣковъ измѣнились обстоятельства, при коихъ эта система получила свое начало, и возникли новыя обстоятельства, при коихъ ея дѣйствіе стало затруднительнѣе прежняго. Въ ту пору, когда заложены были первыя основанія европейской цивилизаціи и политики, христіанское государство было крѣпко цѣльнымъ и неразрывнымъ союзомъ

съ единою христіанскою Церковью. Потомъ, въ средѣ самой христіанской Церкви первоначальное единство разбилось на многообразные толки и разновѣрія, изъ коихъ каждое стало присвоивать себѣ значеніе единаго истиннаго ученія и единой истинной Церкви. Такимъ образомъ, государству пришлось имѣть передъ собою нѣсколько разновѣрныхъ ученій, между коими распредѣлилась по времени масса народная. Съ нарушеніемъ единства и цѣльности въ вѣрованіи можетъ настать такая пора, когда господствующая Церковь, поддерживаемая государствомъ, оказывается церковью незначительнаго меньшинства, и сама ослабѣваетъ въ сочувствіи или вовсе лишается сочувствія массы народной. Тогда могутъ наступить важныя затрудненія въ опредѣленіи отношеній между государствомъ съ его Церковью и церквами, къ коимъ принадлежитъ народное большинство.

V.

Съ конца 18-го столѣтія начинается на Западѣ Европы поворотъ отъ старой системы къ системѣ *уравненія* христіанскихъ исповѣданій въ государствѣ, съ устраненіемъ однако отъ этого равенства сектантовъ и евреевъ. Государство признаетъ христіанство за существенное основаніе бытія своего и общественнаго благоустройства, и принадлежность къ той или другой церкви, къ тому или иному *вѣрованію* — обязательною для каждаго гражданина.

Съ 1848 года измѣняется существенно это отношеніе государства къ Церкви: нахлынувшія волны либерализма прорываютъ старую плотину и угрожаютъ ниспровергнуть древнія основы христіанской государственности. Провозглашается — освобожденіе государства отъ Церкви — до Церкви

ему дѣла нѣтъ. Провозглашается и отрѣшеніе Церкви отъ государства: всякій воленъ вѣровать какъ угодно или—ни во что не вѣровать. Символомъ этой доктрины служатъ *основныя начала* (Grundrechte), провозглашенныя Франкфуртскимъ Парламентомъ 184⁸/₉ года. Хотя они и перестали вскорѣ считаться дѣйствующимъ законодательствомъ, но послужили и служатъ донынѣ идеаломъ для проведенія либеральныхъ началъ въ новѣйшія законодательства Западной Европы. Сообразно съ ними образуется опо нынѣ повсюду. Политическія и гражданскія права отрѣшаются отъ вѣрованія и отъ принадлежности къ той или иной церкви и сектѣ. Государство никого не спрашиваетъ о вѣрѣ. Отъ Церкви отрѣшается и заключеніе брака, и веденіе актовъ гражданскаго состоянія. Провозглашается полная свобода смѣшанныхъ браковъ, а церковное начало неразрывности брака нарушается облегченіемъ развода, отрѣшеннаго отъ судовъ церковныхъ.

Въ виду всѣхъ этихъ измѣненій—достигающихъ въ нынѣшней оффиціальной Франціи до отрицанія вѣры и до насилія надъ церковнымъ вѣрованіемъ, позволительно спросить: можно ли новѣйшее государство признать государствомъ христіанскимъ? Но здѣсь открывается та же непослѣдовательность, какую видимъ въ отдѣльномъ лицѣ, когда опо отрекшись отъ христіанства, въ то же время ведетъ жизнь, въ которой отражаются всѣ христіанскія начала. Подобно тому видимъ, что и новѣйшее государство—отрекаясь отъ органическаго союза съ христіанскою Церковью, не можетъ обойтись безъ формъ и обрядовъ, предполагающихъ христіанское вѣрованіе. Церкви со своими служителями получаютъ содержаніе изъ государственнаго бюджета, общественныя учрежденія, военные полки снабжаются духовными наставниками, христіанскіе праздники удерживаютъ значеніе празд-

никовъ гражданскихъ; въ службѣ государственной, въ судахъ присяга сохраняетъ свою обязательную силу. Въ Германіи нѣтъ уже государственной Церкви, однако главѣ государственной власти принадлежитъ верховенство (Kirchenhoheit) въ церкви Евангелической, и государству въ парламентѣ и во всѣхъ дѣлахъ общественныхъ приходится считаться съ партіями того или иного вѣроисповѣданія. Въ Англіи, при уравненіи вѣроисповѣданій на либеральныхъ началахъ, не только король, но и важнѣйшіе государственные сановники должны обязательно принадлежать къ Англиканской церкви. Сѣверо-Американскій Союзъ есть страна религіознаго равенства. Ко всякой отдѣльной церкви, ко всякому религіозному обществу государство относится не иначе какъ къ частной корпораціи. Въ школахъ завѣдываемыхъ государствомъ, не допускается обученіе Закону Божію и обязательное чтеніе Библіи. И при всемъ томъ конгрессъ открываетъ свои засѣданія молитвою, при участіи духовнаго лица. Духовныя лица содержатся государствомъ при арміи и флотѣ. Президентъ объявляетъ отъ времени до времени установленные дни благодарственные и покаянные. Святость воскреснаго дня охраняется строгимъ закономъ. Въ нѣкоторыхъ штатахъ установлены строгія наказанія за божбу и богохуленіе.'

Не слѣдуетъ ли изъ этого, что государство безвѣрное есть не что иное, какъ утопія невозможная къ осуществленію, ибо безвѣріе есть прямое отрицаніе государства. Религія, и именно христіанство, есть духовная основа всякаго права въ государственномъ и гражданскомъ быту и всякой истинной культуры. Вотъ почему мы видимъ, что политическія партіи самыя враждебныя общественному порядку, партіи радикально отрицающія государство, провозглашаютъ впереди всего, что религія есть одно лишь личное, частное дѣло, одинъ лишь личный и частный интересъ.

VI.

Система „свободной церкви въ свободномъ государствѣ“ основана, покуда, на отвлеченныхъ началахъ, теоретически; въ основаніе ея положено не начало вѣры, а начало религіознаго индифферентизма, или равнодушія къ вѣрѣ, и она поставлена въ необходимую связь съ ученіями, проповѣдующими нерѣдко не терпимость и уваженіе къ вѣрѣ, но явное или подразумѣваемое пренебреженіе къ вѣрѣ, какъ къ пройденному моменту психическаго развитія въ жизни личной и національной. Въ отвлеченномъ построеніи этой системы, составляющей плодъ новѣйшаго раціонализма, Церковь представляется тоже отвлеченно построеннымъ политическимъ учрежденіемъ, съ извѣстною цѣлью, или частнымъ обществомъ для извѣстной цѣли устроеннымъ, подобно другимъ, признаннымъ въ государствѣ, корпораціямъ. Сознаніе этой самой цѣли представляется тоже отвлеченнымъ, ибо на немъ отражаются многообразные оттѣнки связанныхъ съ тѣмъ или другимъ ученіемъ представленій о вѣрѣ, начиная съ отвлеченнаго уваженія къ вѣрѣ, какъ къ высшему моменту психической жизни, до фанатическаго презрѣнія къ вѣрованію, какъ къ низшему моменту и къ началу вреда и разложенія. Такимъ образомъ, въ самомъ построеніи этой системы съ перваго взгляда оказывается двойственность и неясность основанныхъ началъ и представленій.

Что̀ можетъ выйти изъ этой системы на практикѣ—это выяснится опытомъ вѣковъ и поколѣній. Покуда мы имѣемъ передъ собою опытъ—почти ничтожный, если сравнить его съ опытомъ многихъ вѣковъ, въ теченіе коихъ первая система дѣйствовала и дѣйствуетъ. Но не трудно предвидѣть заранѣе, что дѣйствіе новой системы не можетъ быть послѣдовательно, такъ какъ она не согласуется съ первыми

потребностями и условіями человѣческой природы, какъ бы категорически ни выводилось отвлеченнымъ ученіемъ правило: „всѣ церкви и всѣ вѣрованія равны; все равно, что одна вѣра, что другая“,—съ этимъ положеніемъ, въ дѣйствительности, для себя лично, не можетъ согласиться безусловно ни одна душа, хранящая въ глубинѣ своей и испытывающая потребность вѣры. Такая душа непремѣнно отвѣтитъ себѣ: „Да, всѣ вѣры равны, но моя вѣра для меня лучше всѣхъ“. Положимъ, что сегодня провозглашено будетъ въ государствѣ самое строгое и точное уравненіе всѣхъ церквей и вѣрованій передъ закономъ. Завтра же окажутся признаки, по которымъ можно будетъ заключить, что относительная сила вѣрованій совсѣмъ не равная; пройдетъ 30, 50 лѣтъ со времени законнаго уравненія церквей—и тогда обнаружится на самомъ дѣлѣ, можетъ быть, слишкомъ неожиданно для отвлеченнаго представленія, что въ числѣ церквей есть одна, которая въ сущности пользуется преобладающимъ вліяніемъ и господствуетъ надъ умами и рѣшеніями,—или потому, что она ближе къ церковной истинѣ, или потому, что ученіемъ или обрядами болѣе соотвѣтственна съ народнымъ характеромъ, или потому, что организація ея и дисциплина совершеннѣе и даетъ ей болѣе способовъ къ систематической дѣятельности, или потому, что въ средѣ ея возникло больше живыхъ и твердыхъ вѣрою дѣятелей. Примѣровъ этому есть уже немало. Великобританскимъ законодательствомъ установлено уравненіе церквей въ Ирландіи. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что церкви равны? Въ сущности, римско-католическая церковь, именно съ минуты законнаго уравненія, получила полную возможность распространять и утверждать во всей странѣ свое преобладающее вліяніе не только на отдѣльные умы, но на всѣ политическія учрежденія въ странѣ—на суды, на администрацію, на школы.

Сѣверо-Американскій Союзъ поставилъ основнымъ условіемъ своего устройства—не имѣть никакого дѣла до вѣры. Послѣдствіемъ такого юридическаго состоянія выходитъ на дѣлѣ, что преобладающею церковью въ Соединенныхъ Штатахъ становится мало-по-малу римское католичество. Въ Сѣверной Америкѣ пользуется оно такою свободою преобладанія, какой не имѣетъ ни въ одномъ европейскомъ государствѣ. Не стѣсняясь никакимъ отношеніемъ къ государству, не подвергаясь никакому контролю, папа распредѣляетъ въ Сѣверной Америкѣ епархіи, назначаетъ епископовъ, основываетъ во множествѣ духовные ордена и монастыри, окидываетъ всю территорію мало-по-малу частою сѣтью церковныхъ агентовъ и учрежденій. Захватывая подъ свое вліяніе массы католиковъ, ежегодно увеличивающіяся съ прибытіемъ новыхъ эмигрантовъ, папство считаетъ уже нынѣ своею—цѣлую четверть всего населенія, въ виду отдѣльныхъ трехъ четвертей, разбитыхъ на множество сектъ и толковъ. Католическая церковь, пользуясь всѣми средствами обходить законъ, умножила свои недвижимыя имущества до громадныхъ размѣровъ. Въ ея рукахъ и подъ ея вліяніемъ состоятъ уже во многихъ штатахъ цѣлыя управленія, политическаго свойства. Въ иныхъ большихъ городахъ все городское управленіе зависитъ исключительно отъ католиковъ. Католическая церковь располагаетъ милліонами голосовъ въ такомъ государствѣ, гдѣ отъ счета голосовъ зависитъ все направленіе внѣшней и внутренней политики. Ко всѣмъ этимъ явленіямъ государство относится покуда равнодушно, съ высоты своего принципа уравненія церквей и религіознаго равнодушія. Но послѣдующія событія покажутъ, долго ли можетъ устоять и въ Сѣверо-Американскомъ Союзѣ новая, излюбленная теорія.

Защитники ея говорятъ еще покуда: что за дѣло государству до неравенствъ, возникающихъ не въ силу привиллегій

или законныхъ ограниченій, а вслѣдствіе внутренней силы или внутренняго безсилія каждой корпораціи? Законъ не можетъ предупредить такого неравенства.

Но это значитъ обходить затрудненіе, разрѣшая его лишь въ теоріи. На бумагѣ возможно все примирить, все привесть въ стройную систему. На бумагѣ можно отличить опредѣленною чертою и разграничить область политической дѣятельности отъ духовно-нравственной. На самомъ дѣлѣ не то. Людей невозможно считать только умственными машинами, располагая ими такъ, какъ располагаетъ полководецъ массами солдатъ, когда составляетъ планъ баталіи. Всякій человѣкъ вмѣщаетъ въ себѣ міръ духовно-нравственной жизни; изъ этого міра выходятъ побужденія, опредѣляющія его дѣятельность во всѣхъ сферахъ жизни, а главное, центральное изъ побужденій проистекаетъ отъ вѣры, отъ убѣжденія въ истинѣ. Только теорія, отрѣшенная отъ жизни, или не хотящая знать ея, можетъ удовольствоваться ироническимъ вопросомъ? *что есть истина?* У всѣхъ и у каждаго вопросъ этотъ стоитъ въ душѣ основнымъ, серьезнѣйшимъ вопросомъ *цѣлой* жизни, требуя *не отрицательнаго*, а *положительнаго* отвѣта.

Итакъ *свободное государство* можетъ положить, что ему нѣтъ дѣла до *свободной церкви;* только свободная церковь, если она подлинно основана на вѣрованіи, не приметъ этого положенія и не станетъ въ равнодушное отношеніе къ *свободному государству.* Церковь не можетъ отказаться отъ своего вліянія на жизнь гражданскую и общественную; и чѣмъ она дѣятельнѣе, чѣмъ болѣе ощущаетъ въ себѣ внутренней, дѣйственной силы, тѣмъ менѣе возможно для нея равнодушное отношеніе къ государству. Такого отношенія Церковь не приметъ, если вмѣстѣ съ тѣмъ не отречется отъ своего божественнаго призванія, если хранитъ вѣру въ него

и сознаніе долга, съ нимъ связаннаго. На Церкви лежитъ долгъ учительства и наставленія, Церкви принадлежатъ совершеніе таинства и обрядовъ, изъ коихъ нѣкоторые соединяются съ важнѣйшими актами и гражданской жизни. Въ этой своей дѣятельности Церковь, по необходимости, безпрестанно входитъ въ соприкосновеніе съ общественною и гражданскою жизнью (не говоря о другихъ случаяхъ, достаточно указать на вопросы брака и воспитанія). Итакъ, въ той мѣрѣ, какъ государство, отдѣляя себя отъ Церкви, предоставляетъ своему вѣдѣнію исключительно гражданскую часть всѣхъ такихъ дѣлъ и устраняетъ отъ себя вѣдѣніе духовно-нравственной ихъ части, Церковь по необходимости вступитъ въ отправленіе, покинутое государствомъ, и, въ отдѣленіи отъ него, завладѣвъ мало-по-малу вполнѣ и исключительно тѣмъ духовно-нравственнымъ вліяніемъ, которое и для государства составляетъ необходимую, дѣйствительную силу. За государствомъ остается только сила матеріальная и, можетъ быть, еще разсудочная, но и той и другой недостаточно, когда съ ними не соединяется сила вѣры. Итакъ, мало-по-малу, вмѣсто воображеннаго уравненія отправленій государства и Церкви въ политическомъ союзѣ, окажется неравенство и противоположеніе. Состояніе, во всякомъ случаѣ, непормальное, которое должно привести или къ дѣйствительному преобладанію Церкви надъ преобладающимъ, повидимому, государствомъ, или къ революціи.

Вотъ какія дѣйствительныя опасности скрываетъ въ себѣ прославляемая либералами-теоретиками система рѣшительнаго отдѣленія Церкви отъ государства. Система господствующей или установленной церкви имѣетъ много недостатковъ, соединена со множествомъ неудобствъ и затрудненій, не исключаетъ возможности столкновеній и борьбы. Но напрасно полагаютъ, что она отжила уже свое время, и что

формула Кавура одна даетъ ключъ къ разрѣшенію всѣхъ трудностей труднѣйшаго изъ вопросовъ. Формула Кавура есть плодъ политическаго доктринерства, которому вопросы вѣры представляются только политическими вопросами объ уравновѣшиваніи правъ. Въ ней нѣтъ глубины духовнаго вѣдѣнія, какъ не было ея въ другой знаменитой политической формулѣ: *свободы, равенства и братства*, донынѣ тяготѣющей надъ легковѣрными умами роковымъ бременемъ. И здѣсь, такъ же какъ тамъ, страстные провозвѣстники свободы ошибаются, полагая *свободу* въ *равенствѣ*. Или еще мало было горькихъ опытовъ къ подтвержденію того, что свобода не зависитъ отъ равенства, и что равенство совсѣмъ не свобода? Такимъ же заблужденіемъ было бы предположить, что въ *уравненіи* церквей и вѣрованій передъ государствомъ состоитъ и отъ уравненія зависитъ самая *свобода* вѣрованія. Вся исторія послѣдняго времени доказываетъ, что и здѣсь свобода и равенство не одно и то же, и что свобода совсѣмъ не зависитъ отъ равенства.

Новая демократія.

I.

Что такое *свобода*, изъ-за которой такъ волнуются умы въ наше время, столько совершается безумныхъ дѣлъ, столько говорится безумныхъ рѣчей, и народъ такъ бѣдствуетъ? Свобода, въ смыслѣ демократическомъ, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать въ правленіи государствомъ. Это стремленіе всѣхъ и каждаго къ участію въ правленіи не находитъ себѣ до сихъ поръ вѣрнаго исхода и твердыхъ границъ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древнимъ поэтомъ про водяную болѣзнь: „crescit indulgens sibi“. Расширяя свое основаніе, новѣйшая демократія ставитъ ближайшею себѣ цѣлью всеобщую подачу голосовъ—вотъ роковое заблужденіе, одно изъ самыхъ поразительныхъ въ исторіи человѣчества. Политическая власть, которой такъ страстно добивается демократія, раздробляется въ этой формѣ на множество частицъ, и достояніемъ каждаго гражданина становится *безконечно малая* доля этого права. Что онъ съ нею сдѣлаетъ, куда употребитъ ее? Въ результатѣ несомнѣнно оказывается, что въ достиженіи этой цѣли демократія оболжнвила свою священную

формулу *свободы*, нераздѣльно соединенной съ *равенствомъ*. Оказывается, что съ этимъ, повидимому, уравновѣшеннымъ распредѣленіемъ *свободы* между всѣми и каждымъ соединяется полнѣйшее нарушеніе равенства, или сущее *неравенство*. Каждый голосъ, представляя собою ничтожный фрагментъ силы, самъ по себѣ ничего не значитъ: относительное значеніе можетъ имѣть только нѣкоторое число, или группа голосовъ. Происходитъ явленіе, подобное тому, что бываетъ въ собраніи безъименныхъ или акціонерныхъ обществъ. Единицы сами по себѣ безсильны; но тотъ, кто съумѣетъ прибрать къ себѣ самое большое количество этихъ фрагментовъ силы, становится господиномъ силы, слѣдовательно господиномъ правленія и рѣшителемъ воли. Въ чемъ же, спрашивается, дѣйствительное преимущество демократіи передъ другими формами правленія? Повсюду, кто оказывается сильнѣе, тотъ и становится господиномъ правленія: въ одномъ случаѣ—счастливый и рѣшительный генералъ, въ другомъ—монархъ или администраторъ—съ умѣньемъ, ловкостью, съ яснымъ планомъ дѣйствія, съ непреклонною волей. При демократическомъ образѣ правленія, правителями становятся ловкіе подбиратели голосовъ, съ своими сторонниками, механики, искусно орудующіе закулисными пружинами, которыя приводятъ въ движеніе куколъ на аренѣ демократическихъ выборовъ. Люди этого рода выступаютъ съ громкими рѣчами о равенствѣ, но въ сущности любой деспотъ или военный диктаторъ въ такомъ-же, какъ и они, отношеніи *господства* къ гражданамъ, составляющимъ народъ. Расширеніе правъ на участіе въ выборахъ демократія считаетъ прогрессомъ, завоеваніемъ свободы; по демократической теоріи выходитъ, что чѣмъ большее множество людей призывается къ участію въ политическомъ правѣ, тѣмъ болѣе вѣроятность, что *всѣ* воспользуются этимъ правомъ въ интересѣ общаго блага для *всѣхъ*,

и для утвержденія всеобщей свободы. Опытъ доказываетъ совсѣмъ противное. Исторія свидѣтельствуетъ, что самыя существенныя, плодотворныя для народа и прочныя мѣры и преобразованія исходили—отъ центральной воли государственныхъ людей или отъ меньшинства, просвѣтленнаго высокою идеей и глубокимъ знаніемъ; напротивъ того, съ расширеніемъ выборнаго начала происходило принижепіе государственной мысли и вульгаризація мнѣнія въ массѣ избирателей; что расширеніе это—въ большихъ государствахъ—или вводилось съ тайными цѣлями сосредоточенія власти, или само собою приводило къ диктатурѣ. Во Франціи всеобщая подача голосовъ отмѣнена была въ концѣ прошлаго столѣтія съ прекращеніемъ террора; а послѣ того возстановляема была дважды для того, чтобы утвердить на пей—самовластіе двухъ Наполеоновъ. Въ Германіи введеніе общей подачи голосовъ имѣло несомнѣнною цѣлью—утвердить центральную власть знаменитаго правителя, пріобрѣтшаго себѣ великую популярность громадными успѣхами своей политики... Что будетъ послѣ него, одному Богу извѣстно.

Игра въ собраніе голосовъ подъ знаменемъ демократіи составляетъ въ наше время обыкновенное явленіе во всѣхъ почти Европейскихъ государствахъ—и передъ всѣми, кажется, обнаружилась ложь ея; однако никто не смѣетъ явно возстать противъ этой лжи. Несчастный народъ несетъ тяготу; а газеты—глашатаи мнимаго общественнаго мнѣнія—заглушаютъ вопль народный своимъ кликомъ: „велика Артемида Ефесская“! Но для непредубѣжденнаго ума ясно, что вся эта игра не что иное, какъ борьба и свалка партій и подтасовываніе чиселъ и именъ. Голоса,—сами по себѣ ничтожныя единицы,—получаютъ цѣну въ рукахъ ловкихъ агентовъ. Цѣнность ихъ реализируется разными способами, и прежде всего подкупомъ—въ самыхъ разнообразныхъ ви-

дахъ—отъ мелочныхъ подачекъ деньгами и вещами до раздачи прибыльныхъ мѣстъ въ акцизѣ, финансовомъ управленіи и въ администраціи. Образуется мало-по-малу цѣлый контингентъ избирателей, привыкшихъ жить продажей голосовъ своихъ или своей агентуры. Доходитъ до того,—какъ напримѣръ во Франціи, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, въ громадномъ количествѣ вовсе уклоняются отъ выборовъ, чувствуя совершенную невозможность бороться съ шайкою политическихъ агентовъ. На ряду съ подкупомъ пускаются въ ходъ насилія и угрозы, организуется выборный терроръ, посредствомъ коего шайка проводитъ насильно своего кандидата:—извѣстны бурныя картины выборныхъ митинговъ, на коихъ пускается въ ходъ оружіе, и на полѣ битвы остаются убитые и раненые.

Организація партій и подкупъ—вотъ два могучія средства, которыя употребляются съ такимъ успѣхомъ для орудованія массами избирателей, имѣющими голосъ въ политической жизни. Средства эти не новыя. Еще Ѳукидидъ описываетъ рѣзкими чертами дѣйствіе этихъ средствъ въ древнихъ греческихъ республикахъ. Исторія Римской республики представляетъ поистинѣ чудовищные примѣры подкупа, составлявшаго обычное орудіе партій при выборахъ. Но въ наше время изобрѣтено еще новое средство тасовать массы для политическихъ цѣлей и соединять множество людей въ случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласіе мнѣній. Это средство, которое можно приравнять къ политическому передергиванію, состоитъ въ искуствѣ быстраго и ловкаго обобщенія идей, составленія фразъ и формулъ, бросаемыхъ въ публику съ крайнею самоувѣренностью горячаго убѣжденія, какъ послѣднее слово науки, какъ догматъ политическаго ученія, какъ характеристику событій, лицъ и учрежденій. Считалось нѣкогда, что умѣнье анализировать

факты и выводить изъ нихъ общее начало—свойственно немногимъ просвѣщеннымъ умамъ и высокимъ мыслителямъ: нынѣ оно считается общимъ достояніемъ, и общія фразы политическаго содержанія, подъ именемъ убѣжденій, стали какъ-бы ходячею монетой, которую фабрикуютъ газеты и политическіе ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на вѣру общіе выводы, подъ именемъ убѣжденій, распространилась въ массѣ и стала заразительною, особливо между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этою наклонностью массы пользуются съ успѣхомъ политическіе дѣятели, пробивающіеся къ власти: искуство дѣлать обобщенія служитъ для нихъ самымъ подручнымъ орудіемъ. Всякое обобщеніе происходитъ путемъ *отвлеченія*: изъ множества фактовъ—одни, не идущіе къ дѣлу, устраняются вовсе, а другіе, подходящіе, группируются, и изъ нихъ выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т. е. правдивость и вѣрность этой формулы, зависитъ отъ того, насколько имѣютъ рѣшительной важности тѣ факты, изъ коихъ она извлечена, и насколько ничтожны тѣ факты, кои притомъ устранены какъ неподходящіе. Быстрота и легкость, съ которою дѣлаются въ наше время общіе выводы,—объясняется крайнею безцеремонностью въ этомъ процессѣ подбора подходящихъ фактовъ и ихъ обобщенія. Отсюда громадный успѣхъ политическихъ ораторовъ и поразительное дѣйствіе на массу общихъ фразъ, въ нее бросаемыхъ. Толпа быстро увлекается общими мѣстами, облеченными въ громкія фразы, общими выводами и положеніями, не помышляя о повѣркѣ ихъ, которая для нея недоступна: такъ образуется единодушіе въ мнѣніяхъ, единодушіе мнимое, призрачное, но тѣмъ не менѣе дающее рѣшительные результаты. Это называется—гласъ народа,

съ прибавкою—глась Божій. Печальное и жалкое заблужденіе! Легкость увлеченія общими мѣстами—ведетъ повсюду къ крайней деморализаціи общественной мысли, къ ослабленію политическаго смысла цѣлой націи. Нынѣшняя Франція представляетъ наглядный примѣръ этого ослабленія,—по тою же болѣзнью заражается уже и Англія...

На порогѣ двадцатаго столѣтія видится точно сфинксъ, предлагающій новымъ поколѣніямъ мудреныя загадки. Какъ разрѣшить ихъ,—это великій вопросъ.

Какъ разрѣшатъ государства стараго свѣта вопросъ объ устройствѣ своихъ правительствъ? Чѣмъ дальше входимъ мы въ область такъ называемаго прогресса, тѣмъ болѣе задача эта усложняется—нынѣ мы живемъ совсѣмъ не въ тѣхъ условіяхъ общественнаго быта, въ какихъ жили сто лѣтъ тому назадъ.

Политическія преданія наши—изъ древняго міра, изъ Греціи и Рима. Но тогдашняя демократія была совсѣмъ непохожа на нынѣшнюю, основанную на равенствѣ. Въ древнемъ мірѣ устройство правленія вытекало непосредственно изъ обычая, мѣстныхъ обстоятельствъ и религіи. Въ каждой изъ греческихъ республикъ при существованіи рабства въ правленіи участвовали одни граждане, то-есть меньшинство, имущіе и свободные люди,—и въ исторіи каждой изъ нихъ мы видимъ постоянно смѣнявшееся преобладаніе и руководство властнаго лица, законодателя, властителя, направилы государственными дѣлами. Въ Римѣ семья была ячейкою соціальнаго и политическаго устройства: изъ нея выродился первый организованный органъ правленія—Сенатъ, по первоначальному устройству собраніе стариковъ, старшихъ людей: не было рѣчи о выборѣ лучшихъ людей—требовались только старшіе, и они дѣйствительно были лучшіе,

способнѣйшіе править дѣлами государства. Въ новыхъ Европейскихъ государствахъ формы правленія образовались изъ обычая, безъ конструкціи по какому-либо плану, безъ стремленія къ симметріи, примѣняясь въ теченіе времени къ идеаламъ, заимствуемымъ изъ древняго міра; но преобладающее значеніе въ правленіи принадлежало элементу аристократическому, высшимъ служебнымъ, владѣющимъ и богатѣющимъ классамъ. Все это смела революція, и въ концѣ концовъ рукою Наполеона поколебала основы прежняго политическаго устройства на Западѣ Европы.

Теперь, всматриваясь въ современную экономію общества, замѣчаемъ, какъ истощается старое, изъ рода въ родъ передававшееся понятіе о *благородствѣ*, бывшее когда-то прежде ключевымъ сводомъ политическаго зданія. И прежде мало-по-малу подтачивалось оно несоразмѣрнымъ развитіемъ богатства, роскоши и соединеннаго съ нею разврата въ придворной и аристократической сферѣ. Но въ наше время такъ умножились и облегчились разнообразные способы обогащенія, то-есть пріобрѣтенія денегъ, что всѣми овладѣло стремленіе къ этому пріобрѣтенію, и порождаемая имъ деморализація составляетъ самый грозный признакъ упадка въ общественномъ сознаніи. Въ сравненіи съ этою похотью побѣднѣли всѣ старыя понятія о родовой чести и о чести званія. Но тамъ, гдѣ повидимому господствуетъ демократическое начало съ отрицаніемъ аристократіи, водворяется иного рода развращенная аристократія: изо всѣхъ состояній люди стремятся войти въ какой-то особый классъ общества, съ иными потребностями, отличающими ихъ отъ массы, съ претензіею на честь, сопряженную съ достаткомъ, котораго у другихъ нѣтъ, которая составляетъ принадлежность богатства; и эта новая аристократія, вмѣсто прежней, пріобрѣтаетъ значеніе властительнаго элемента въ правительствѣ.

Основное начало демократіи—*равенство* гражданъ. Но одно это слово ничего еще не объясняетъ. Хорошо, если это равенство права на служеніе странѣ своей: каждый, по своей способности и средствамъ, обязанъ къ этому служенію, и въ потребной мѣрѣ участвуетъ въ правительственной дѣятельности. Такъ разумѣлось это понятіе въ древнихъ демократіяхъ, особливо въ малыхъ государствахъ, гдѣ люди могли знать другъ друга, и дѣла общественныя обсуждались на площади. Ради самосохраненія посреди безпрерывныхъ войнъ съ сосѣдями, надобно было звать къ правительству лучшихъ людей, и лучшими являлись способнѣйшіе. Римъ, съ самаго начала ставъ завоевательною республикой, долженъ былъ слѣдовать тому же пути, и Сенатъ его сталъ собраніемъ лучшихъ людей, державшихъ въ рукахъ судьбы государства.

Но въ нынѣшнихъ демократіяхъ равенство означаетъ право всѣхъ и каждаго—править дѣлами страны своей,—право цѣлаго населенія обширной страны принимать участіе въ дѣлѣ правленія. На этомъ основана существующая система выборовъ всеобщею подачею голосовъ: въ большихъ государствахъ это ведетъ къ преобладанію массы, принадлежащей къ классу наименѣе образованному и не имѣющей яснаго сознанія ни о дѣлахъ государственныхъ, ни о людяхъ, способныхъ управлять ими. Очевидно, что при такомъ порядкѣ *достоинство* и способность избираемаго утрачиваетъ свое значеніе: вотъ чѣмъ существенно отличается новая демократія отъ древней,—и вотъ что угрожаетъ ей гибелью. Но при томъ надобно еще принять во вниманіе, что этотъ механизмъ демократіи призванъ дѣйствовать въ эпоху чрезвычайнаго и неслыханнаго прежде усложненія человѣческихъ дѣлъ и отношеній. Даже сто лѣтъ тому назадъ люди не мечтали о нынѣшнемъ развитіи торговли, промышленности, механики, нынѣшнемъ развитіи литературы, печати—съ гро-

мадным ея значеніемъ, о нынѣшней быстротѣ сообщеній, извѣстій и слуховъ всякаго рода. Можно себѣ представить, до чего усложняются при этомъ всѣ отправленія правительственной и финансовой власти, и условія, посреди коихъ они должны дѣйствовать, и съ какимъ безчисленнымъ множествомъ фактовъ и новыхъ идей должна нынѣ считаться власть законодательная.

Въ этомъ состояніи общества демократіи предлежитъ *страшная* задача, съ которою она не въ силахъ справиться. Заступая верховную власть, она должна принять на себя дѣло верховной власти, а главное ея дѣло—выбирать людей на мѣста и должности: въ этомъ дѣлѣ все;—если оно несостоятельно, то становится несостоятельнымъ и теряетъ значеніе всякій законъ, каковъ бы ни былъ,—и основной строй всего государственнаго учрежденія лишается вѣры и колеблется. Правительство представляется для народа отвлеченною идеей, поколику она не воплощается въ агентахъ власти, состоящихъ въ непосредственномъ соприкосновеніи съ народомъ и праведными его нуждами:—если эти агенты набираются случайно или по ложнымъ побужденіямъ, то вся ихъ дѣятельность становится горячимъ предметомъ толковъ, волнующихъ народное мнѣніе, и орудіемъ всѣхъ противниковъ какой бы то ни было твердой власти.

И вотъ, мы видимъ, что съ тѣхъ поръ, какъ въ демократіи потеряли всякое значеніе историческія понятія о лицахъ, по своему сословію и общественному положенію, призываемыхъ на служеніе государству,—служебныя назначенія становятся орудіемъ политическихъ партій, усиливающихъ себя раздачею должностей,—и вмѣстѣ съ тѣмъ число должностей непомѣрно увеличивается не къ пользѣ, а къ отягощенію народа, для службы не столько общему, сколько своему интересу,—въ народѣ же, при общемъ недовольствѣ,

возрастаетъ страстное стремленіе къ полученію оплачиваемыхъ и доходныхъ должностей. Очевидную для всѣхъ картину этого упадка представляютъ новыя демократіи — во Франціи, въ Италіи и въ Соединенныхъ Штатахъ. Этотъ упадокъ отражается въ особенности на высшихъ и на выборныхъ должностяхъ, имѣющихъ политическое значеніе, какъ-то на губернаторахъ, на членахъ законодательныхъ собраній. Выборныя должности имѣютъ значеніе *представительства;* напротивъ того *административныя* должности по существу своему должны быть чужды такого значенія. Но со времени французской революціи совсѣмъ помутилась мысль объ этомъ различіи въ новой демократіи, и напротивъ того вошла въ обиходъ такая мысль, что административныя должности служатъ наградою для лицъ, послужившихъ той или другой властной партіи, или держащихся въ смыслѣ партіи тѣхъ или иныхъ политическихъ и соціальныхъ видовъ и мнѣній,— причемъ и не спрашивается, способенъ ли человѣкъ къ особливому дѣлу его должности или неспособенъ. Въ прежнее время всѣ думали и вѣрили, что правитель долженъ быть превосходнѣе тѣхъ, кѣмъ управляетъ, и опытъ исторіи подтверждаетъ, что всѣ успѣхи цивилизаціи достигнуты желаніями способнѣйшихъ людей *вопреки* противодѣйствію среды, въ которой приходилось имъ дѣйствовать. Но въ новой демократіи, вопреки этой безспорной истинѣ, укореняется такое мнѣніе, что и обширное государство можетъ быть успѣшно управляемо всякими людьми и низшаго достоинства. Все это приводитъ къ деморализаціи, благодаря коей *частный интересъ* партіи или компаніи лицъ получаетъ въ обществѣ преобладающее значеніе на счетъ интереса общественнаго.

Естественнымъ послѣдствіемъ всего этого является полнѣйшій упадокъ законодательныхъ собраній или демократическихъ парламентовъ. По демократической теоріи избранный

представитель народа призванъ подавать свой голосъ не за то, что онъ признаетъ полезнымъ для народа или разумнымъ и справедливымъ, но за то, что признаютъ лучшимъ и нужнымъ люди той партіи, которая выбрала его и прислала,— хотя бы это не согласовалось съ личнымъ его мнѣніемъ. Такимъ образомъ, выборъ представителей превращается въ *игру* партій, столь же страстную, какъ всякое игорное состязаніе,— игру, управляемую интригою, лживыми приманками и подкупомъ. Такъ и законодательство попадаетъ въ руки людей непросвѣщенныхъ, неразсудительныхъ, нерѣдко и корыстныхъ, или равнодушныхъ ко всему, что не соединено съ интересомъ партіи. Мало-по-малу отъ участія въ этой игрѣ устраняются всѣ люди прямой мысли, честнаго духа и высшей культуры, особливо когда каждый изъ нихъ имѣетъ на рукахъ дѣло своего спеціальнаго призванія. Парламентъ превращается въ машину, испускающую изъ себя массу законовъ непродуманныхъ, неразработанныхъ, несоглашенныхъ между собою *и совсѣмъ ненужныхъ*, неограждающихъ свободу, но стѣсняющихъ ее въ интересѣ одной партіи или одной компаніи.

Всѣ болѣе или менѣе чувствуютъ и сознаютъ, что нынѣшняя демократическая система законодательства совсѣмъ несостоятельна и основана на лжи; а когда въ основаніи такого учрежденія лежитъ ложь,—чего ожидать обществу, кромѣ гибели? Сама демократія извѣрилась, можно сказать, въ свой парламентъ, но принуждена мириться съ нимъ, потому что *замѣнить его нечѣмъ*, а что стояло прежде, все разрушено,—всякую же идею диктаторства демократія отвергаетъ по принципу. Фальшиво построенное зданіе очевидно для всѣхъ колеблется, уже пошатнулось,—но когда и какъ падетъ оно, и что возникнетъ на его развалинахъ—вотъ задача сфинкса, стоящаго на порогѣ XX столѣтія.

Какъ же дальше быть? Повсюду уже люди, еще хранящіе совѣсть, чувство правды и любовь къ отечеству, видятъ и ощущаютъ, что господствующая система учрежденія правленіе и правительство страны не обезпечиваетъ свободу и не приводитъ къ порядку, но распространяя и усиливая самовластіе случайнаго большинства, ведетъ прямымъ путемъ—къ анархіи.

Умные и ученые люди, профессоры политическихъ ученій начинаютъ придумывать средства, какъ поправить бѣду. Изобрѣтаютъ новыя комбинаціи властей, новыя системы выборовъ, новыя формы, въ коихъ могли бы выработаться и утвердиться—истинное представительство народнаго разума и народной потребности, истинное правительство и достаточно уполномоченное, и достаточно ограниченное отъ злоупотребленій власти.

Простые люди, не удаленные отъ жизни, спрашиваютъ: какъ намъ быть! Мы бѣжали отъ единовластнаго насилія—и вотъ пришли къ горшему насилію безличной власти случайнаго большинства и своекорыстныхъ партій. Хотѣли, чтобы у кормила правленія стояли лучшіе люди, истинные представители страны, знающіе народъ свой, а вмѣсто того стали у кормила люди партіи, оторванные отъ земли доктринёры и промышленники, ищущіе своего интереса и прибытка, люди подобранные не свободнымъ выборомъ, а лукавою игрою партій и насиліемъ. Надѣялись воспитать дѣтей своихъ, возрастающее поколѣніе, въ духѣ народномъ, въ силѣ добраго преданія, въ началахъ вѣры, чести и правды; надѣялись хоть со временемъ при помощи ихъ организовать на мѣстахъ здоровыя, въ духѣ мира, общины, которыя могли бы лучшихъ людей своихъ высылать представителями народнаго разума. Вмѣсто того правители наши развращаютъ наши общины, подбирая въ нихъ соблазномъ сторонниковъ пар-

тій, стѣсняютъ свободу мѣстной жизни произвольными законами въ духѣ смѣняющихся партій, и вмѣсто школы, образующей людей въ духѣ простоты и добрыхъ нравовъ, навязываютъ намъ школу, отрѣшенную отъ жизни,—школу безъ вѣры, развращающую юношество.

Въ виду общаго недовольства, въ виду очевидныхъ несовершенствъ существующаго порядка раскрываемыхъ критикою,—слышатся голоса людей, неудовлетворяемыхъ однимъ отрицаніемъ и требующихъ положительнаго указанія на средство къ исцѣленію зла. Такъ больной, не терпя своей болѣзни, усиленно ищетъ и требуетъ лекарства.

Не напоминаетъ ли это притчу о человѣкѣ, который всю свою жизнь проводилъ весело, давая волю всякому своему желанію и всякой похоти, безмѣрно ѣлъ, пилъ, развратничалъ, и наконецъ, разстроивъ весь свой организмъ, потерявъ самую способность наслаждаться, требуетъ отъ врача такого лекарства, которое поставило бы его на ноги и возвратило бы ему способность къ наслажденію, то есть—возможность, по прежнему, безмѣрно ѣсть, пить и развратничать. Но разумный врачъ говоритъ ему: нѣтъ такого лекарства. Если хочешь быть здоровъ, войди въ самого себя, обратись къ природѣ, которую ты въ себѣ и для себя оболживилъ, поставь себя на простую мѣру жизни, оставь противоестественныя привычки и желанія. Нѣтъ иного средства выздоровѣть.

Великая ложь нашего времени.

I.

Что основано на лжи, не можетъ быть право. Учрежденіе, основанное на ложномъ началѣ, не можетъ быть иное, какъ лживое. Вотъ истина, которая оправдывается горькимъ опытомъ вѣковъ и поколѣній.

Одно изъ самыхъ лживыхъ политическихъ началъ есть начало народовластія, та, къ сожалѣнію, утвердившаяся со времени французской революціи *идея*, что всякая власть исходитъ отъ *народа* и имѣетъ основаніе въ волѣ народной. Отсюда истекаетъ теорія парламентаризма, которая до сихъ поръ вводитъ въ заблужденіе массу такъ называемой интеллигенціи — и проникла, къ несчастію, въ русскія безумныя головы. Она продолжаетъ еще держаться въ умахъ съ упорствомъ узкаго фанатизма, хотя ложь ея съ каждымъ днемъ изобличается все явственнѣе передъ цѣлымъ міромъ.

Въ чемъ состоитъ теорія парламентаризма? Предполагается, что весь народъ въ народныхъ собраніяхъ творитъ себѣ законы, избираетъ должностныя лица, стало быть изъявляетъ непосредственно свою волю и проводитъ ее въ дѣйствіе. Это идеальное представленіе. Прямое осуществленіе

его невозможно: историческое развитіе общества приводитъ къ тому, что мѣстные союзы умножаются и усложняются, отдѣльныя племена сливаются въ цѣлый народъ или группируются въ разноязычіи подъ однимъ государственнымъ знаменемъ, наконецъ разрастается безъ конца государственная территорія: непосредственное народоправленіе при такихъ условіяхъ немыслимо. Итакъ, народъ долженъ перепоситъ свое право властительства на нѣкоторое число выборныхъ людей и облекать ихъ правительственною автономіей. Эти выборные люди, въ свою очередь, не могутъ править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число довѣренныхъ лицъ,—министровъ, коимъ предоставляется изготовленіе и примѣненіе законовъ, раскладка и собираніе податей, назначеніе подчиненныхъ должностныхъ лицъ, распоряженіе военною силой.

Механизмъ—въ идеѣ своей стройный; но, для того чтобы онъ дѣйствовалъ, необходимы нѣкоторыя существенныя условія. Машинное производство имѣетъ въ основаніи своемъ разсчетъ на непрерывно-дѣйствующія и совершенно равныя, слѣдовательно безличныя силы. И этотъ механизмъ могъ-бы успѣшно дѣйствовать, когда-бы довѣренныя отъ народа лица устранились вовсе отъ своей *личности*; когда-бы на парламентскихъ скамьяхъ сидѣли механическіе исполнители даннаго имъ наказа; когда-бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда-бы притомъ представителями народа избираемы были всегда лица, способныя уразумѣть въ точности и исполнять добросовѣстно данную имъ и математически точно выраженную программу дѣйствій. Вотъ, при такихъ условіяхъ дѣйствительно машина работала-бы исправно и достигла-бы цѣли. Законъ дѣйствительно выражалъ-бы волю народа; управленіе дѣйствительно исходило-бы отъ парламента; опорная точка государственнаго зданія лежала-бы дѣйствительно въ собраніяхъ избирателей,

и каждый гражданинъ явно и сознательно участвовалъ-бы въ правленіи общественными дѣлами.

Такова теорія. Но посмотримъ на практику. Въ самыхъ классическихъ странахъ парламентаризма — онъ не удовлетворяетъ *ни одному* изъ вышепоказанныхъ условій. Выборы никоимъ образомъ не выражаютъ волю избирателей. Представители народные не стѣсняются нисколько взглядами и мнѣніями избирателей, но руководятся собственнымъ произвольнымъ усмотрѣніемъ или разсчетомъ, соображаемымъ съ тактикою противной партіи. Министры въ дѣйствительности самовластны; и скорѣе они насилуютъ парламентъ, нежели парламентъ ихъ насилуетъ. Они вступаютъ во власть и оставляютъ власть не въ силу воли народной, но потому, что ихъ ставитъ къ власти или устраняетъ отъ нея — могущественное личное вліяніе или вліяніе сильной партіи. Они располагаютъ всѣми силами и достатками націи по своему усмотрѣнію, раздаютъ льготы и милости, содержатъ множество праздныхъ людей на счетъ народа, — и притомъ не боятся никакого порицанія, если располагаютъ большинствомъ въ парламентѣ, а большинство поддерживаютъ — раздачей всякой благостыни съ обильной трапезы, которую государство отдало имъ въ распоряженіе. Въ дѣйствительности министры столь-же безотвѣтственны, какъ и народные представители. Ошибки, злоупотребленія, произвольныя дѣйствія — ежедневное явленіе въ министерскомъ управленіи, а часто ли слышимъ мы о серьезной отвѣтственности министра? Развѣ можетъ быть разъ въ пятьдесятъ лѣтъ приходится слышать, что надъ министромъ судъ, и всего чаще результатъ суда выходитъ ничтожный — сравнительно съ шумомъ торжественнаго производства.

Если бы потребовалось истинное опредѣленіе парламента, надлежало бы сказать, что парламентъ есть *учрежде-*

ніе, служащее для удовлетворенія личнаго честолюбія и тщеславія и личныхъ интересовъ представителей. Учрежденіе это служитъ не послѣднимъ доказательствомъ самообольщенія ума человѣческаго. Испытывая въ теченіе вѣковъ гнетъ самовластія въ единоличномъ и олигархическомъ правленіи, и не замѣчая, что пороки единовластія суть пороки самого общества, которое живетъ подъ нимъ,—люди разума и науки возложили всю вину бѣдствій на своихъ властителей и на форму правленія, и представили себѣ, что съ перемѣною этой формы на форму народовластія или представительнаго правленія—общество избавится отъ своихъ бѣдствій и отъ терпимаго насилія. Что же вышло въ результатѣ? Вышло то, что mutato nomine все осталось въ сущности по прежнему, и люди, оставаясь при слабостяхъ и порокахъ своей натуры, перенесли на новую форму всѣ прежнія свои привычки и склонности. Какъ прежде, правитъ имп личная воля и интересъ привилегированныхъ лицъ; только эта личная воля осуществляется уже не въ лицѣ монарха, а въ лицѣ предводителя партіи, и привилегированное положеніе принадлежитъ не родовымъ аристократамъ, а господствующему въ парламентѣ и правленіи большинству.

На фронтонѣ этого зданія красуется надпись: „Все для общественнаго блага“. Но это не что иное, какъ самая лживая формула; парламентаризмъ есть торжество эгоизма, высшее его выраженіе. Все здѣсь разсчитано на служеніе своему *я*. По смыслу парламентской фикціи, представитель отказывается въ своемъ званіи отъ личности и долженъ служить выраженіемъ воли и мысли своихъ избирателей; а въ дѣйствительности избиратели—въ самомъ актѣ избранія отказываются отъ всѣхъ своихъ правъ въ пользу избраннаго представителя. Передъ выборами кандидатъ, въ своей программѣ и въ рѣчахъ своихъ, ссылается постоянно на выше

упомянутую фикцію: онъ твердитъ все о благѣ общественномъ, онъ не что иное, какъ слуга и печальникъ народа, онъ о себѣ не думаетъ и забудетъ себя и свои интересы ради интереса общественнаго. И все это—слова, слова, одни слова, временныя ступеньки лѣстницы, которыя онъ строитъ, чтобы взойти куда нужно и потомъ сбросить ненужныя ступени. Тутъ уже не онъ станетъ работать на общество, а общество станетъ орудіемъ для его цѣлей. Избиратели являются для него стадомъ—для сбора голосовъ, и владѣльцы этихъ стадъ подлинно уподобляются богатымъ кочевникамъ, для коихъ стадо составляетъ капиталъ, основаніе могущества и знатности въ обществѣ. Такъ развивается, совершенствуясь, цѣлое искуство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личныхъ цѣлей честолюбія и власти. Затѣмъ уже эта масса теряетъ всякое значеніе для выбраннаго ею представителя до тѣхъ поръ, пока понадобится снова на нее дѣйствовать: тогда пускаются въ ходъ снова льстивыя и лживыя фразы,—однимъ въ угоду, въ угрозу другимъ: длинная, нескончаемая цѣпь однородныхъ маневровъ, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедія выборовъ продолжаетъ до сихъ поръ обманывать человѣчество и считаться учрежденіемъ, вѣнчающимъ государственное зданіе... Жалкое человѣчество! Поистинѣ можно сказать: mundus vult decipi—decipiatur.

Вотъ какъ практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель самъ выступаетъ передъ согражданами и старается всячески увѣрить ихъ, что онъ, болѣе чѣмъ всякій иной, достоинъ ихъ довѣрія. Изъ какихъ побужденій выступаетъ онъ на это искательство? Трудно повѣрить, что изъ безкорыстнаго усердія къ общественному благу. Вообще, въ наше время рѣдки люди, проникнутые чувствомъ солидарности съ народомъ, готовые на трудъ и самопожертвованіе для общаго

блага; это—натуры идеальныя; а такія натуры не склонны къ соприкосновенію съ пошлостью житейскаго быта. Кто по натурѣ своей способенъ къ безкорыстному служенію общественной пользѣ въ сознаніи долга, тотъ не пойдетъ заискивать голоса, не станетъ воспѣвать хвалу себѣ на выборныхъ собраніяхъ, нанизывая громкія и пошлыя фразы. Такой человѣкъ раскрываетъ себя и силы въ рабочемъ углу своемъ или въ тѣсномъ кругу единомышленныхъ людей, но не пойдетъ искать популярности на шумномъ рынкѣ. Такіе люди, если идутъ въ толпу людскую, то не затѣмъ, чтобы льстить ей и подлаживаться подъ пошлыя ея влеченія и инстинкты, а развѣ затѣмъ, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людскихъ обычаевъ. Лучшимъ людямъ, людямъ долга и чести противна выборная процедура: отъ нея не отвращаются лишь своекорыстныя, эгоистическія натуры, желающія достигнуть личныхъ своихъ цѣлей. Такому человѣку не стоитъ труда надѣть на себя маску стремленія къ общественному благу, лишь бы пріобрѣсть популярность. Онъ не можетъ и не долженъ быть скроменъ,—ибо при скромности его не замѣтятъ, не станутъ говорить о немъ. Своимъ положеніемъ и тою ролью, которую беретъ на себя,—онъ *вынуждается*—лицемѣрить и лгать: съ людьми, которые противны ему, онъ поневолѣ долженъ сходиться, брататься, любезничать, чтобы пріобрѣсть ихъ расположеніе,—долженъ раздавать обѣщанія, зная, что потомъ не выполнитъ ихъ, долженъ подлаживаться подъ самыя пошлыя наклонности и предразсудки массы, для того чтобъ имѣть большинство за себя. Какая честная натура рѣшится принять на себя такую роль? Изобразите ее въ романѣ: читателю противно станетъ; но тотъ же читатель отдастъ свой голосъ на выборахъ живому артисту въ той же самой роли.

Выборы—дѣло искуства, имѣющаго, подобно военному искуству, свою стратегію и тактику. Кандидатъ не состоитъ

въ прямомъ отношеніи къ своимъ избирателямъ. Между нимъ и избирателями посредствуетъ *комитетъ*, самочинное учрежденіе, коего главною силою служитъ — *начальство*. Искатель представительства, если не имѣетъ еще тамъ по себѣ извѣстнаго имени, начинаетъ съ того, что подбираетъ себѣ кружокъ пріятелей и споспѣшниковъ: затѣмъ всѣ вмѣстѣ производятъ около себя ловлю, то есть пріискиваютъ въ мѣстной аристократіи богатыхъ и не крѣпкихъ разумомъ обывателей, и успѣваютъ увѣрить ихъ, что это ихъ дѣло, ихъ право и преимущество стать во главѣ — руководителями общественнаго мнѣнія. Всегда находится достаточно глупыхъ или наивныхъ людей, поддающихся на эту удочку, — и вотъ, за подписью ихъ, появляется въ газетахъ и наклеивается на столбахъ объявленіе, привлекающее массу, всегда падкую на слѣдованіе за именами, титулами и капиталами. Вотъ какимъ путемъ образуется комитетъ, руководящій и овладѣвающій выборами — эта своего рода компанія на акціяхъ, вызванная къ жизни учредителями. Составъ комитета подбирается съ обдуманнымъ искуствомъ: въ немъ одни служатъ дѣйствующею силой — люди энергическіе, преслѣдующіе во что бы ни стало — матеріальную или тенденціозную цѣль: другіе — наивные и легкомысленные статисты — составляютъ балластъ. Организуются собранія, произносятся рѣчи: здѣсь тотъ, кто обладаетъ крѣпкимъ голосомъ и умѣетъ быстро и ловко нанизывать фразы, производитъ всегда впечатлѣніе на массу, получаетъ извѣстность, нарождается кандидатомъ для будущихъ выборовъ, или, при благопріятныхъ условіяхъ, самъ выступаетъ кандидатомъ, сталкивая того, за кого пришелъ вначалѣ работать языкомъ своимъ. Фраза — и не что иное, какъ фраза — господствуетъ въ этихъ собраніяхъ. Толпа слушаетъ лишь того, кто громче кричитъ и искуснѣе поддѣлывается пошлостью и лестью подъ ходячія въ массѣ понятія и наклонности.

Въ день окончательнаго выбора лишь немногіе подаютъ голоса свои сознательно: это отдѣльные вліятельные избиратели, коихъ стоило уговаривать по одиночкѣ. Большинство, т-е. масса избирателей, дастъ свой голосъ стаднымъ обычаемъ, за одного изъ кандидатовъ, выставленныхъ комитетомъ. На билетахъ пишется то имя, которое всего громче натверженно и звенѣло въ ушахъ у всѣхъ въ послѣднее время. Никто почти не знаетъ человѣка, не дастъ себѣ отчета ни о характерѣ его, ни о способностяхъ, ни о направленіи: выбираютъ потому, что много наслышаны объ его имени. Напрасно было бы вступать въ борьбу съ этимъ стаднымъ порывомъ. Положимъ, какой-нибудь добросовѣстный избиратель пожелалъ бы дѣйствовать сознательно въ такомъ важномъ дѣлѣ, не захотѣлъ бы подчиниться насильственному давленію комитета. Ему остается—или уклониться вовсе въ день выбора, или подать голосъ за своего кандидата по своему разумѣнію. Какъ бы ни поступилъ онъ,—все-таки выбранъ будетъ тотъ, кого провозгласила масса легкомысленныхъ, равнодушныхъ или уговоренныхъ избирателей.

По теоріи, избранный долженъ быть излюбленнымъ человѣкомъ большинства, а на самомъ дѣлѣ избирается излюбленникъ меньшинства, иногда очень скуднаго, только это меньшинство представляетъ организованную силу, тогда какъ большинство, какъ песокъ, ничѣмъ не связано, и потому безсильно передъ кружкомъ или партіей. Выборъ долженъ бы падать на разумнаго и способнаго, а въ дѣйствительности падаетъ на того, кто нахальнѣе суется впередъ. Казалось бы, для кандидата существенно требуется—образованіе, опытность, добросовѣстность въ работѣ: а въ дѣйствительности всѣ эти качества могутъ быть и не быть: они не требуются въ избирательной борьбѣ, тутъ важнѣе всего—смѣлость, самоувѣренность въ соединеніи съ ораторствомъ

и даже съ нѣкоторою пошлостью, нерѣдко дѣйствующею на массу. Скромность, соединенная съ тонкостью чувства и мысли,—для этого никуда не годится.

Такъ нараждается народный представитель, такъ пріобрѣтается его полномочіе. Какъ онъ употребляетъ его, какъ имъ пользуется? Если натура у него энергическая, онъ захочетъ дѣйствовать и принимается образовывать партію; если онъ заурядной натуры, то самъ примыкаетъ къ той или другой партіи. Для предводителя партіи требуется прежде всего сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силѣ, и потому не предполагаетъ непремѣнно нравственныя качества. При крайней ограниченности ума, при безграничномъ развитіи эгоизма и самой злобы, при низости и безчестности побужденій, человѣкъ съ сильною волей можетъ стать предводителемъ партіи и становится тогда руководящимъ, господственнымъ главою кружка или собранія, хотя бы къ нему принадлежали люди, далеко превосходящіе его умственными и нравственными качествами. Вотъ какова, по свойству своему, бываетъ руководящая сила въ парламентѣ. Къ ней присоединяется еще другая рѣшительная сила—краснорѣчіе. Это—тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственнаго характера, ни высокаго духовнаго развитія. Можно быть глубокимъ мыслителемъ, поэтомъ, искуснымъ полководцемъ, тонкимъ юристомъ, опытнымъ законодателемъ—и въ то же время быть лишеннымъ дѣйственнаго слова; и наоборотъ: можно, при самыхъ заурядныхъ умственныхъ способностяхъ и знаніяхъ, обладать особливымъ даромъ краснорѣчія. Соединеніе этого дара съ полнотою духовныхъ силъ—есть рѣдкое и исключительное явленіе въ парламентской жизни. Самыя блестящія импровизаціи, прославившія ораторовъ и соединенныя съ важными рѣшеніями, кажутся блѣдными и жалкими въ чтеніи, подобно

описанію сцепъ, разыгранныхъ въ прежнее время знаменитыми актерами и пѣвцами. Опытъ свидѣтельствуетъ непререкаемо, что въ большихъ собраніяхъ рѣшительное дѣйствіе принадлежитъ не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего дѣйствительнѣе на массу—не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящіеся въ существѣ дѣла, но громкія слова и фразы, искусно подобранныя, усильно патверженныя и разсчитанныя на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящіеся въ массѣ. Масса легко увлекается пустымъ вдохновеніемъ декламаціи и, подъ вліяніемъ порыва, часто безсознательнаго, способна приходить къ внезапнымъ рѣшеніямъ, о коихъ приходится сожалѣть при хладнокровномъ обсужденіи дѣла.

Итакъ, когда предводитель партіи съ сильною волей соединяетъ еще и даръ краснорѣчія,—онъ выступаетъ въ своей первой роли на открытую сцену передъ цѣлымъ свѣтомъ. Если-же у него нѣтъ этого дара, онъ стоитъ, подобно режиссеру, за кулисами и направляетъ оттуда весь ходъ парламентскаго представленія, распредѣляя роли, выпуская ораторовъ, которые *говорятъ* за него, употребляя въ дѣло по усмотрѣнію—болѣе тонкіе, по перѣшительные умы своей партіи:—они за него *думаютъ*.

Что такое парламентская партія? По теоріи,—это союзъ людей одинаково мыслящихъ и соединяющихъ свои силы для совокупнаго осуществленія своихъ воззрѣній въ законодательствѣ и въ направленіи государственной жизни. Но таковы бываютъ развѣ только мелкіе кружки: большая, значительная въ парламентѣ партія образуется лишь подъ вліяніемъ личнаго честолюбія, группируясь около одного господствующаго лица. Люди, по природѣ, дѣлятся на двѣ категоріи: одни—не терпятъ надъ собою никакой власти, и потому необходимо стремятся господствовать сами; другіе, по харак-

теру своему, страшась нести на себѣ отвѣтственность, соединенную со всякимъ рѣшительнымъ дѣйствіемъ, уклоняются отъ всякаго рѣшительнаго акта воли; эти послѣдніе какъ-бы рождены для подчиненія и составляютъ изъ себя стадо, слѣдующее за людьми воли и рѣшенія, составляющими меньшинство. Такимъ образомъ, люди самые талантливые подчиняются охотно, съ радостью складывая въ чужія руки направленіе своихъ дѣйствій и нравственную отвѣтственность. Они какъ-бы инстинктивно „ищутъ вождя“ и становятся послушными его орудіями, сохраняя увѣренность, что онъ ведетъ ихъ къ побѣдѣ—и, нерѣдко, къ добычѣ.—Итакъ, всѣ существенныя дѣйствія парламентаризма отправляются вождями партій: они ставятъ рѣшенія, они ведутъ борьбу и празднуютъ побѣду. Публичныя засѣданія суть не что иное какъ представленіе для публики. Произносятся рѣчи для того, чтобы поддержать фикцію парламентаризма: рѣдкая рѣчь вызываетъ, сама по себѣ парламентское рѣшеніе въ важномъ дѣлѣ. Рѣчи служатъ къ прославленію ораторовъ, къ возвышенію популярности, къ составленію карьеры,—но въ рѣдкихъ случаяхъ рѣшаютъ подборъ голосовъ. Каково должно быть большинство,—это рѣшается обыкновенно внѣ засѣданія.

Таковъ сложный механизмъ парламентскаго лицедѣйства, таковъ образъ великой политической лжи, господствующей въ наше время. По теоріи парламентаризма, должно господствовать разумное большинство: на практикѣ господствуютъ пять-шесть предводителей партіи; они, смѣняясь, овладѣваютъ властью. По теоріи, убѣжденіе утверждается ясными доводами во время парламентскихъ дебатовъ; на практикѣ—оно не зависитъ нисколько отъ дебатовъ, но направляется волею предводителей и соображеніями личнаго интереса. По теоріи, народные представители имѣютъ въ виду единственно народное благо; на практикѣ—они, подъ пред-

логомъ народнаго блага, и на счетъ его, имѣютъ въ виду преимущественно личное благо свое и друзей своихъ. По теоріи—они должны быть изъ лучшихъ, излюбленныхъ гражданъ? на практикѣ—это наиболѣе честолюбивые и нахальные граждане. По теоріи—избиратель подаетъ голосъ за своего кандидата потому, что знаетъ его и довѣряетъ ему; на практикѣ—избиратель даетъ голосъ за человѣка, котораго по большей части совсѣмъ не знаетъ, но о которомъ натверженно ему рѣчами и криками заинтересованной партіи. По теоріи—дѣлами въ парламентѣ управляютъ и двигаютъ—опытный разумъ и безкорыстное чувство; на практикѣ—главныя движущія силы здѣсь—рѣшительная воля, эгоизмъ и краснорѣчіе.

Вотъ каково въ сущности это учрежденіе, выставляемое—цѣлью и вѣнцомъ государственнаго устройства. Больно и горько думать, что въ землѣ Русской были и есть люди, мечтающіе о водвореніи этой лжи у насъ; что профессоры наши еще проповѣдуютъ своимъ юнымъ слушателямъ о представительномъ правленіи, какъ объ идеалѣ государственнаго учрежденія; что наши газеты и журналы твердятъ объ немъ въ передовыхъ статьяхъ и фельетонахъ, подъ знаменемъ правоваго порядка; твердятъ—не давая себѣ труда вглядѣться ближе, безъ предубѣжденія, въ дѣйствіе парламентской машины. Но уже и тамъ, гдѣ она издавна дѣйствуетъ,—ослабѣваетъ вѣра въ нее; еще славитъ ее либеральная интеллигенція, но народъ стонетъ подъ гнетомъ этой машины и распознаетъ скрытую въ ней ложь. Едва-ли дождемся мы,—но дѣти наши и внуки несомнѣнно дождутся сверженія этого идола, которому современный разумъ продолжаетъ еще въ самообольщеніи поклоняться...

II.

Много зла надѣлали человѣчеству философы школы Ж. Ж. Руссо. Философія эта завладѣла умами, а между тѣмъ вся она построена на одномъ ложномъ представленіи о совершенствѣ человѣческой природы, и о полнѣйшей способности всѣхъ и каждаго уразумѣть и осуществить тѣ начала общественнаго устройства, которыя эта философія проповѣдывала.

На томъ же ложномъ основаніи стоитъ и господствующее нынѣ ученіе о совершенствахъ демократіи и демократическаго правленія. Эти совершенства предполагаютъ—совершенную способность массы уразумѣть тонкія черты политическаго ученія, явственно и раздѣльно присущія сознанію его проповѣдниковъ. Эта ясность сознанія доступна лишь немногимъ умамъ, составляющимъ аристократію интеллигенціи; а масса, какъ всегда и повсюду, состояла и состоитъ изъ толпы—„vulgus“, и ея представленія по необходимости будутъ „вульгарныя“.

Демократическая форма правленія самая сложная и самая затруднительная изъ всѣхъ извѣстныхъ въ исторіи человѣчества. Вотъ причина—почему эта форма повсюду была преходящимъ явленіемъ и, за немногими исключеніями, нигдѣ не держалась долго, уступая мѣсто другимъ формамъ. И не удивительно. Государственная власть призвана дѣйствовать и распоряжаться; дѣйствія ея суть проявленія единой воли,—безъ этого немыслимо никакое правительство. Но въ какомъ смыслѣ множество людей или собраніе народное можетъ проявлять единую волю? Демократическая фразеологія не останавливается на рѣшеніи этого вопроса, отвѣчая на него извѣстными фразами и поговорками въ родѣ такихъ, напримѣръ: „воля народная“, „общественное мнѣніе“, „верховное рѣшеніе націи“, „гласъ народа—гласъ Божій“ и т. п. Всѣ эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество

людей, по великому множеству вопросовъ, можетъ придти къ одинаковому заключенію и постановить сообразно съ нимъ одинаковое рѣшеніе. Пожалуй, это и бываетъ возможно, но лишь по самымъ простымъ вопросамъ. Но когда съ вопросомъ соединено хотя малѣйшее усложненіе, рѣшеніе его въ многочисленномъ собраніи возможно лишь при посредствѣ людей, способныхъ обсудить его во всей сложности, и затѣмъ убѣдить массу къ принятію рѣшенія. Къ числу самыхъ сложныхъ принадлежатъ, напримѣръ, политическіе вопросы, требующіе крайняго напряженія умственныхъ силъ у самыхъ способныхъ и опытныхъ мужей государственныхъ: въ такихъ вопросахъ, очевидно, нѣтъ ни малѣйшей возможности разсчитывать на объединеніе мысли и воли въ многолюдномъ народномъ собраніи:—рѣшенія массы въ такихъ вопросахъ могутъ быть только гибельныя для государства. Энтузіасты демократіи увѣряютъ себя, что народъ можетъ проявлять свою волю въ дѣлахъ государственныхъ: это пустая теорія,—на дѣлѣ же мы видимъ, что народное собраніе способно только принимать—по увлеченію—мнѣніе, выраженное однимъ человѣкомъ или нѣкоторымъ числомъ людей; напримѣръ, мнѣніе извѣстнаго предводителя партіи, извѣстнаго мѣстнаго дѣятеля, или организованной ассоціаціи, или, наконецъ,—безразличное мнѣніе того или другого вліятельнаго органа печати. Такимъ образомъ, процедура рѣшенія превращается въ игру, совершающуюся на громадной аренѣ множества головъ и голосовъ; чѣмъ ихъ болѣе принимается въ счетъ, тѣмъ болѣе эта игра запутывается, тѣмъ болѣе зависитъ отъ случайныхъ и безпорядочныхъ побужденій.

Къ избѣжанію и обходу всѣхъ этихъ затрудненій изобрѣтено средство—править посредствомъ *представительства*—средство организованное прежде всего, и оправдавшее себя успѣхомъ, въ Англіи. Отсюда, по установившейся модѣ,

перешло оно и въ другія страны Европы, но привилось съ успѣхомъ, по прямому преданію и праву, лишь въ Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Однако и на родинѣ своей, въ Англіи, представительныя учрежденія вступаютъ въ критическую эпоху своей исторіи. Самая сущность идеи этого представительства подверглась уже здѣсь измѣненію, извращающему первоначальное его значеніе. Дѣло въ томъ, что съ самаго начала собраніе избирателей, тѣсно ограниченное, присылало отъ себя въ парламентъ извѣстное число лицъ, долженствовавшихъ представлять мнѣніе страны въ собраніи, но не связанныхъ никакою опредѣленною инструкціей отъ массы своихъ избирателей. Предполагалось, что избраны люди, разумѣющіе истинныя нужды страны своей и способные дать вѣрное направленіе государственной политикѣ. Задача разрѣшалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможнаго предѣла трудность народнаго правленія, ограничивъ малымъ числомъ способныхъ людей — собраніе, призванное къ рѣшенію государственныхъ вопросовъ. Люди эти являлись въ качествѣ свободныхъ представителей народа, а не того или другого мнѣнія, той или другой партіи, не связанные никакою инструкціей. Но, съ теченіемъ времени, мало-по-малу эта система измѣнилась, подъ вліяніемъ того же рокового предразсудка о великомъ значеніи общественнаго мнѣнія, просвѣщаемаго, будто бы, періодическою печатью и дающаго массѣ народной способность имѣть прямое участіе въ рѣшеніи политическихъ вопросовъ. Понятіе о представительствѣ совершенно измѣнило свой видъ, превратившись въ понятіе *о мандатѣ*, или опредѣленномъ порученіи. Въ этомъ смыслѣ каждый избранный въ той или другой мѣстности почитается уже представителемъ *мнѣнія*, въ той мѣстности господствующаго, или партіи, подъ знаменемъ этого мнѣнія одержавшей побѣду на выборахъ, — это

уже не представитель отъ страны или народа, но *делегатъ*, связанный инструкціей отъ своей партіи. Это измѣненіе въ самомъ существѣ идеи представительства послужило началомъ язвы, разъѣдающей всю систему представительнаго правленія. Выборы, съ раздробленіемъ партій, приняли характеръ личной борьбы мѣстныхъ интересовъ и мнѣній, отрѣшенной отъ основной идеи о пользѣ государственной. При крайнемъ умноженіи числа членовъ собранія большинство ихъ, помимо интереса борьбы и партіи, заражается равнодушіемъ къ общественному дѣлу и теряетъ привычку присутствовать во всѣхъ засѣданіяхъ и участвовать непосредственно въ обсужденіи всѣхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, дѣло законодательства и общаго направленія политики, самое важное для государства, — превращается въ игру, состоящую изъ условныхъ формальностей, сдѣлокъ и фикцій. Система представительства сама себя оболгивила на дѣлѣ.

Эти плачевные результаты всего явственнѣе обнаруживаются тамъ, гдѣ населеніе государственной территоріи не имѣетъ цѣльнаго состава, но заключаетъ въ себѣ разнородныя національности. Національизмъ въ наше время можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ обнаруживается лживость и непрактичность парламентскаго правленія. Примѣчательно, что начало національности выступило впередъ и стало движущею и раздражающею силою въ ходѣ событій именно съ того времени, какъ пришло въ соприкосновеніе съ новѣйшими формами демократіи. Довольно трудно опредѣлить существо этой новой силы и тѣхъ цѣлей, къ какимъ она стремится; но несомнѣнно, что въ ней — источникъ великой и сложной борьбы, которая предстоитъ еще въ исторіи человѣчества, и невѣдомо къ какому приведетъ исходу. Мы видимъ теперь, что каждымъ отдѣльнымъ племенемъ, принадлежащимъ къ составу разноплеменнаго государства, овла-

дѣваетъ страстное чувство нетерпимости къ государственному учрежденію, соединяющему его въ общій строй съ другими племенами, и желаніе имѣть свое самостоятельное управленіе со своею, нерѣдко мнимою, культурой. И это происходитъ не съ тѣми только племенами, которыя имѣли свою исторію и, въ прошедшемъ своемъ, отдѣльную политическую жизнь и культуру,—но и съ тѣми, которыя никогда не жили особою политическою жизнью. Монархія неограниченная успѣвала устранять или примирять всѣ подобныя требованія и порывы,—и не одною только силой, но и уравненіемъ правъ и отношеній подъ одною властью. Но демократія не можетъ съ ними справиться, и инстинкты національнаго служатъ для нея разъѣдающимъ элементомъ: каждое племя изъ своей мѣстности высылаетъ представителей—не государственной и народной идеи, но представителей племенныхъ инстинктовъ, племеннаго раздраженія, племенной ненависти—и къ господствующему племени, и къ другимъ племенамъ, и къ связующему всѣ части государства учрежденію. Какой нестройный видъ получаетъ въ подобномъ составѣ народное представительство и парламентское правленіе—очевиднымъ тому примѣромъ служитъ въ наши дни австрійскій парламентъ. Провидѣніе сохранило нашу Россію отъ подобнаго бѣдствія, при ея разноплеменномъ составѣ. Страшно и подумать, что возникло бы у насъ, когда бы судьба послала намъ роковой даръ—всероссійскаго парламента! Да не будетъ.

III.

Указываютъ на Англію, но къ этимъ указаніямъ можно бы, кажется, примѣнить пословицу: „слышали звонъ, да не знаютъ, гдѣ онъ“. Соціальная наука въ послѣднее время

принялась вскрывать историческіе и экономическіе ключи, откуда истекаютъ особливыя учрежденія англосаксонской и отчасти скандинавской расы, сравнительно съ учрежденіями остальныхъ европейскихъ народовъ. Англосаксонское племя, съ тѣхъ поръ какъ заявило себя въ исторіи, и донынѣ отличается крѣпкимъ развитіемъ самостоятельной личности: и въ сферѣ политической и въ экономической этому свойству англосаксонское племя обязано и устойчивостью древнихъ своихъ учрежденій, и крѣпкой организаціей семейнаго быта и мѣстнаго самоуправленія, и тѣми несравненными успѣхами, коихъ оно достигло своею энергическою дѣятельностью и вліяніемъ своимъ въ обоихъ полушаріяхъ. Этою энергіей личности успѣло оно, въ началѣ своей исторіи, осилить чуждые норманскіе обычаи своихъ побѣдителей и утвердить бытъ свой на своихъ началахъ, которыя сохраняются и донынѣ. Существенное отличіе этого быта состоитъ въ отношеніи каждаго гражданина къ государству. Каждый привыкаетъ съ юности самъ собою держаться, самъ устраивать судьбу свою и добывать себѣ хлѣбъ насущный. Родители не обременены заботой объ устройствѣ судьбы дѣтей своихъ и объ оставленіи имъ наслѣдства. Землевладѣльцы держатся своихъ имѣній и сами стремятся вести на нихъ хозяйство и промыслы. Мѣстное управленіе держится личнымъ, сознательнымъ по долгу, участіемъ мѣстныхъ обывателей въ общественномъ дѣлѣ. Учрежденія административныя обходятся безъ полчища чиновниковъ, состоящихъ на содержаніи у государства и чающихъ отъ него обезпеченія и возвышенія. Вотъ на какомъ корнѣ сами собою, исторически выросли представительныя учрежденія свободной Англіи, и вотъ почему ея парламентъ состоитъ изъ дѣйствительныхъ представителей мѣстныхъ интересовъ, тѣсно связанныхъ съ землею:—вотъ почему и голосъ

ихъ можетъ считаться, въ достаточной мѣрѣ, голосомъ земли и органомъ національныхъ интересовъ.

Прочіе народы Европы образовались и выросли совсѣмъ на иномъ основаніи, на основаніи общиннаго быта. Свойство его состоитъ въ томъ, что человѣкъ не столько самъ собою держится, сколько своею солидарностью съ тѣмъ или другимъ общественнымъ союзомъ, къ которому принадлежитъ. Отсюда, съ ходомъ общественнаго и государственнаго развитія, слагается особливая зависимость человѣка отъ того или иного семейнаго или общественнаго союза, и въ концѣ концовъ, отъ государства. Эти союзы—бывъ въ началѣ крѣпкими учрежденіями—семейными, политическими, религіозными, общественными, крѣпко держали человѣка въ его жизни и дѣятельности, и ими, въ свою очередь, держалось все общественное и государственное устройство. Но эти союзы, съ теченіемъ времени, или распались или утратили свое вѣковое господственное значеніе, однако люди продолжаютъ по прежнему искать себѣ опоры и устройства судьбы своей и благосостоянія—въ семьѣ своей, въ своей корпораціи, и наконецъ въ государственной власти (все равно, монархической или республиканской), возлагая на нее же вину своихъ бѣдствій, когда этой опоры, по желанію своему, не находятъ. Словомъ сказать, человѣкъ стремится къ одной изъ этихъ властей пристроить себя и судьбу свою. Отсюда, въ такомъ состояніи общества, оскудѣніе людей самостоятельныхъ и независимыхъ, людей, которые сами держатся на ногахъ своихъ и знаютъ, куда идутъ, составляя въ государствѣ силу служащую ему опорою, и напротивъ того, крайнее умноженіе людей, которые ищутъ себѣ опоры въ государствѣ, питаясь его соками, и не столько даютъ ему силы, сколько отъ него требуютъ.—Отсюда крайнее развитіе въ такихъ обществахъ съ одной стороны чиновничества,

съ другой такъ называемыхъ либеральныхъ профессій. Отсюда, при ослабленіи въ правахъ самодѣятельности, крайнее усложненіе отправленій государственной и законодательной власти, принимающей на себя заботу о многомъ, о чемъ каждый для себя долженъ бы заботиться. Въ такомъ состояніи общество мало по малу подготовляетъ у себя благопріятную почву для развитія соціализма, и привычка возлагать на государство заботу о благосостояніи всѣхъ и каждаго обращается, наконецъ, въ безумную теорію соціализма государственнаго. Въ такихъ то условіяхъ своего соціальнаго развитія всѣ континентальныя государства, съ англосаксонскаго образца, учредили у себя представительное правленіе, иные еще при всеобщей подачѣ голосовъ. Очевидно, что при описанномъ составѣ общества, и при легкомъ отношеніи его къ общественному дѣлу, оно не можетъ выдѣлить изъ себя истинныхъ, вѣрныхъ представителей земли и прямыхъ ея интересовъ. Отсюда, печальная судьба такихъ представительныхъ собраній и тяжкое, безъисходное положеніе власти правительственной, которая неразрывно съ ними связана,—и народа, судьбы коего отъ нихъ зависятъ.

Чтоже сказать о народахъ славянскаго племени, отличающихся особливымъ у себя развитіемъ общиннаго быта, при крайней юности своей культуры, о Румыніи и о несчастной Греціи? Сюда, по истинѣ, представительныя учрежденія внесли сразу разлагающее начало народной жизни, представляя изъ себя въ иныхъ случаяхъ жалкую каррикатуру Запада, напоминающую басню Крылова „Мартышка и очки.“

IV.

Величайшее зло конституціоннаго порядка состоитъ въ образованіи министерства на парламентскихъ или партійныхъ началахъ. Каждая политическая партія одержима

стремленіемъ захватить въ свои руки правительственную власть, и къ ней пробирается. Глава государства уступаетъ политической партіи, составляющей большинство въ парламентѣ; въ такомъ случаѣ министерство образуется изъ членовъ этой партіи и, ради удержанія власти, начинаетъ борьбу съ оппозиціей, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его мѣсто. Но если глава государства склоняется не къ большинству, а къ меньшинству, и изъ него избираетъ свое министерство, въ такомъ случаѣ новое правительство распускаетъ парламентъ и употребляетъ всѣ усилія къ тому, чтобы составить себѣ большинство при новыхъ выборахъ и съ помощью его вести борьбу съ оппозиціей. Сторонники министерской партіи подаютъ голосъ всегда за правительство; имъ приходится во всякомъ случаѣ стоять за него—не ради поддержанія власти, не изъ-за внутренняго согласія въ мнѣніяхъ, но потому, что это правительство само держитъ членовъ своей партіи во власти и во всѣхъ сопряженныхъ со властью преимуществахъ, выгодахъ и прибыляхъ. Вообще—существенный мотивъ каждой партіи—стоять за своихъ во что бы то ни стало, или изъ-за взаимнаго интереса, или просто въ силу того стаднаго инстинкта, который побуждаетъ людей раздѣляться на дружины и лѣзть въ бой стѣна на стѣну. Очевидно, что согласіе въ мнѣніяхъ имѣетъ въ этомъ случаѣ очень слабое значеніе, а забота объ общественномъ благѣ служитъ прикрытіемъ вовсе чуждыхъ ему побужденій и инстинктовъ. И это называется идеаломъ парламентскаго правленія. Люди обманываютъ себя, думая, что оно служитъ обезпеченіемъ свободы. Вмѣсто неограниченной власти монарха мы получаемъ неограниченную власть парламента, съ тою разницей, что въ лицѣ монарха можно представить себѣ единство разумной воли; а въ парламентѣ нѣтъ его, ибо здѣсь все зависитъ отъ случайности, такъ какъ

воля парламента опредѣляется большинствомъ: но какъ скоро при большинствѣ, составляемомъ подъ вліяніемъ игры въ партію, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля цѣлаго парламента: тѣмъ еще менѣе можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимаетъ никакого участія въ игрѣ партій и даже уклоняется отъ нея. Напротивъ того, именно нездоровая часть населенія мало-помалу вводится въ эту игру и ею развращается; ибо главный мотивъ этой игры есть стремленіе къ власти и къ наживѣ. Политическая свобода становится фикціей, поддерживаемою на бумагѣ, параграфами и фразами конституціи; начало монархической власти совсѣмъ пропадаетъ; торжествуетъ либеральная демократія, водворяя безпорядокъ и насиліе въ обществѣ, вмѣстѣ съ началами безвѣрія и матеріализма, провозглашая свободу, равенство и братство — тамъ, гдѣ нѣтъ уже мѣста ни свободѣ, ни равенству. Такое состояніе ведетъ неотразимо къ анархіи, отъ которой общество спасается одною лишь диктатурой, т. е. возстановленіемъ единой воли и единой власти въ правленіи.

Первый образецъ народнаго, представительнаго правленія, явила новѣйшей Европѣ Англія. Съ половины прошлаго столѣтія французскіе философы стали прославлять англійскія учрежденія и выставлять ихъ примѣромъ для всеобщаго подражанія. Но въ ту пору не столько политическая свобода привлекала французскіе умы, сколько привлекали начала религіозной терпимости, или лучше сказать, начала безвѣрія, бывшія тогда въ модѣ въ Англіи и пущенныя въ обращеніе англійскими философами того времени. Вслѣдъ за Франціей, которая давала тонъ и нравамъ и литературѣ во всей западной интеллигенціи, мода на англійскія учрежденія распространилась по всему Европейскому материку. Между тѣмъ произошли два великія событія, изъ коихъ одно

утверждало эту вѣру, а другое — чуть было совсѣмъ не поколебало ее. Возникла республика Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и ея учрежденія, скопированныя съ англійскихъ (кромѣ королевской власти и аристократіи), привились на новой почвѣ прочно и плодотворно. Это произвело восторгъ въ умахъ, и прежде всего во Франціи. Съ другой стороны — явилась Французская республика, и скоро явила міру всѣ гнусности, безпорядки и насилія революціоннаго правительства. Повсюду произошелъ взрывъ негодованія и отвращенія противъ французскихъ и, стало быть, вообще противъ демократическихъ учрежденій. Ненависть къ революціи отразилась даже на внутренней политикѣ самого британскаго правительства. Чувство это начало ослабѣвать къ 1815 году, подъ вліяніемъ политическихъ событій того времени — въ умахъ проснулось желаніе, съ свѣжею надеждой, соединить политическую свободу съ гражданскимъ порядкомъ въ формахъ, подходящихъ къ англійской конституціи: вошла въ моду опять политическая англоманія. Затѣмъ послѣдовалъ рядъ попытокъ осуществить британскій идеалъ, сначала во Франціи, потомъ въ Испаніи и Португаліи, потомъ въ Голландіи и Бельгіи, наконецъ, въ послѣднее время, въ Германіи, въ Италіи и въ Австріи. Слабый отголосокъ этого движенія отразился и у насъ въ 1825 году, въ безумной попыткѣ аристократовъ мечтателей, не знавшихъ ни своего народа, ни своей исторіи.

Любопытно прослѣдить исторію новыхъ демократическихъ учрежденій: долговѣчны-ли оказались они, каждое на своей почвѣ, въ сравненіи съ монархическими учрежденіями, коихъ продолженіе исторія считаетъ рядомъ столѣтій.

Во Франціи, со времени введенія политической свободы, правительство, во всей силѣ государственной своей власти, было *три раза* ниспровергнуто парижскою уличною толпою: въ 1792 г., въ 1830 и въ 1848 году. *Три раза* было ниспро-

вергнуто арміей, или военной силой: въ 1797 году 4 сентября (18 Фруктидора), когда большинствомъ членовъ директоріи, при содѣйствіи военной силы, были уничтожены выборы, состоявшіеся въ 48 департаментахъ, и отправлены въ ссылку 56 членовъ законодательныхъ собраній. Въ другой разъ, въ 1797 году 9 ноября (18 Брюмера) правительство ниспровергнуто Бонапартомъ, и наконецъ въ 1851 г. 2 декабря другимъ Бонапартомъ, младшимъ. Три раза правительство было ниспровергнуто внѣшнимъ нашествіемъ непріятеля: въ 1814, въ 1815 и въ 1870. Въ общемъ счетѣ, съ начала своихъ политическихъ экспериментовъ по 1870 годъ, Франція имѣла 44 года свободы и 37 годовъ суроваго диктаторства. Притомъ еще стоитъ примѣтить странное явленіе: монархи старшей Бурбонской линіи, оставляя много мѣста дѣйствію политической свободы, никогда не опирались на чистомъ началѣ новѣйшей демократіи; напротивъ того, оба Наполеона, провозгласивъ безусловно эти начала, управляли Франціей деспотически.

Въ Испаніи народное правленіе провозглашено было въ эпоху окончательнаго паденія Наполеона. Чрезвычайное собраніе кортесовъ утвердило въ Кадиксѣ конституцію, провозгласивъ въ первой статьѣ оной, что верховенство власти принадлежитъ націи. Фердинандъ VII, вступивъ въ Испанію чрезъ Францію, отмѣнилъ эту конституцію и сталъ править самовластно. Черезъ 6 лѣтъ генералъ Ріего, во главѣ военнаго возстанія, принудилъ короля возстановить конституцію. Въ 1823 году французская армія, подъ впушеніемъ Священнаго союза, вступила въ Испанію и возстановила Фердинанда въ самовластіи. Вдова его, въ качествѣ регентши, для охраненія правъ дочери своей Изабеллы противъ Донъ-Карлоса, вновь приняла конституцію. Затѣмъ начинается для Испаніи послѣдовательный рядъ мятежей и возстаній, изрѣдка

прерываемыхъ краткими промежутками относительнаго спокойствія. Достаточно указать, что съ 1816 года до вступленія на престолъ Альфонса было въ Испаніи до 40 серьезныхъ военныхъ возстаній, съ участіемъ народной толпы. Говоря объ Испаніи, нельзя не упомянуть о томъ чудовищномъ и поучительномъ зрѣлищѣ, которое представляютъ многочисленныя республики Южной Америки, республики испанскаго происхожденія и испанскихъ правовъ. Вся ихъ исторія представляетъ непрестанную смѣну ожесточенной рѣзни между народною толпою и войсками,—прерываемую правленіемъ деспотовъ, напоминающихъ Коммода или Калигулу. Довольно привести въ примѣръ хотя Боливію, гдѣ изъ числа 14 президентовъ республики, тринадцать кончили свое правленіе насильственною смертью или ссылкой.

Начало народнаго или представительнаго правленія въ Германіи и въ Австріи не ранѣе 1848 года. Правда, начиная съ 1815 года, поднимается глухой ропотъ молодой интеллигенціи на Германскихъ владѣтельныхъ князей за неисполненіе обѣщаній, данныхъ народу въ эпоху великой войны за освобожденіе. За немногими, мелкими исключеніями, въ Германіи не было представительныхъ учрежденій до 1847 года, когда Прусскій король учредилъ у себя особенную форму конституціоннаго правленія; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартію и низложить конституціоннаго короля, какъ поднялось и въ Германіи уличное движеніе, съ участіемъ войскъ. Въ Берлинѣ, въ Вѣнѣ, во Франкфуртѣ устроились національныя собранія, по французскому шаблону. Едва прошелъ годъ, какъ правительство разогнало ихъ военною силой. Новѣйшія германскія и австрійскія конституціи всѣ исходятъ отъ монархической власти, и еще ждутъ суда своего отъ исторіи.

Судъ присяжныхъ.

Вотъ что говоритъ знаменитый англійскій писатель, глубокій знатокъ исторіи (С. Ч. Мэнъ), о судѣ присяжныхъ своей родины:

„Народное правленіе вначалѣ было тождественно съ народнымъ судомъ. Древнія демократіи занимались судомъ въ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ больше чѣмъ дѣлами политической администраціи, и на самомъ дѣлѣ, историческое развитіе народнаго правосудія несравненно непрерывнѣе и послѣдовательнѣе, чѣмъ развитіе формъ народнаго правленія... Мы у себя, въ Англіи, имѣемъ живой памятникъ и слѣдъ народнаго суда въ отправленіи суда присяжныхъ. Судъ присяжныхъ есть не что иное, какъ древняя, творящая судъ демократія, но только поставленная въ предѣлы, въ измѣненныхъ и улучшенныхъ формахъ, соотвѣтственно съ началами, выработанными опытомъ цѣлыхъ столѣтій, — согласованная съ новою идеей судебнаго процесса. И тѣ измѣненія, коимъ подверглось при томъ учрежденіе народнаго суда, въ высшей степени поучительны. Вмѣсто собранія народнаго — двѣнадцать присяжныхъ. Все ихъ дѣло состоитъ въ томъ,

чтобы отвѣтить „да“ или „нѣтъ“ на вопросы, конечно, весьма важные, но имѣющіе отношеніе къ предметамъ ежедневнаго быта. Для того, чтобы эти люди могли придти къ заключенію, въ помощь имъ существуетъ цѣлая система приспособленій и правилъ, выработанная до тонкости и достигающая высшей искуственности. Въ изслѣдованіи дѣла они не предоставлены сами себѣ, но совершаютъ его подъ предсѣдательствомъ свѣдущаго лица—судьи, представителя королевскаго правосудія; образовалась цѣлая громадная литература руководственныхъ правилъ, подъ условіемъ коихъ предлагаются имъ доказательства спорныхъ фактовъ, подлежащихъ ихъ осужденію. Съ неуклонною строгостью устраняются отъ нихъ всякія свидѣтельскія показанія, обличающія намѣреніе склонить ихъ въ ту или другую сторону. Къ нимъ обращаются и теперь, какъ бывало въ старину, на народномъ судѣ, стороны или представители сторонъ, но для охраненія безпристрастія установлено новое дѣйствіе, вовсе неизвѣстное на прежнемъ народномъ судѣ, именно—все изслѣдованіе заключается самымъ тщательнымъ изложеніемъ фактовъ, которое произноситъ искусный и опытный судья, обязанный званіемъ своимъ къ самому строгому безпристрастію. Если онъ самъ впадаетъ притомъ въ ошибку, или въ отвѣтѣ присяжныхъ обличается заблужденіе,—вся процедура можетъ быть уничтожена высшимъ судомъ свѣдущихъ людей. Таковъ настоящій видъ суда народнаго, выработанный цѣлыми столѣтіями заботливой культуры.

Посмотримъ же теперь, каковъ представляется народный судъ въ первоначальномъ видѣ, какъ его описываетъ, конечно съ натуры, древнѣйшій греческій поэтъ. Открывается засѣданіе; предлагается вопросъ: виновенъ или не виновенъ. Старѣйшины высказываютъ по очереди свое мнѣніе; а вокругъ стоящее и судящее демократическое сборище зая-

влять рукоплесканіями свое сочувствіе тому или другому мнѣнію,—и взрывомъ рукоплесканій опредѣляется рѣшеніе. Вотъ какой характеръ носило на себѣ народное правосудіе въ древнихъ республикахъ. Производившая судъ демократія просто принимала, такъ сказать, съ бою, то мнѣніе, которое сильнѣе на нее дѣйствовало въ рѣчи тяжущагося, подсудимаго и адвоката. И нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что когда-бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти въ лицѣ предсѣдателя-судьи, англійскіе присяжные нашего времени слѣпо потянули бы съ своимъ вердиктомъ на сторону того или другого адвоката, кто съумѣлъ бы на нихъ подѣйствовать".

Вотъ что говоритъ англичанинъ, глубокій знатокъ своей исторіи и глубокій мыслитель. Мысль невольно переносится къ несчастному учрежденію суда присяжныхъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ тѣхъ историческихъ и культурныхъ условій, при коихъ онъ образовался въ Англіи. Очевидно, многіе, вводя это учрежденіе, только „слышали звонъ, да не знали, гдѣ онъ". Неразумно и легкомысленно было ввѣрять приговоръ о винѣ подсудимаго народному правосудію, не обдумавъ практическихъ мѣръ и способовъ, какъ его поставить въ надлежащую дисциплину, и не озаботившись изслѣдовать предварительно чужеземное учрежденіе въ исторіи его родины, и со сложною его обстановкой.

И вотъ, по прошествіи долголѣтняго опыта, всюду, гдѣ введенъ съ примѣра Англіи судъ присяжныхъ, возникаютъ уже вопросы о томъ, какъ замѣнить его, для устраненія той случайности приговоровъ, которая изъ года въ годъ усиливается. Эти вопросы возникаютъ и обостряются и въ тѣхъ государствахъ, гдѣ есть крѣпкое судебное сословіе, вѣками воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практической дисциплины.

Можно себѣ представить, во что обращается это народное правосудіе тамъ, гдѣ, въ юномъ государствѣ, нѣтъ и этой крѣпкой руководящей силы, но въ замѣнъ того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатовъ, которымъ интересъ самолюбія и корысти самъ собою помогаетъ достигать вскорѣ значительнаго развитія въ искуствѣ софистики и логомахіи, для того чтобы дѣйствовать на массу; гдѣ дѣйствуетъ пестрое, смѣшанное стадо присяжныхъ, собираемое или случайно, или искуственнымъ подборомъ изъ массы, коей недоступны ни сознаніе долга судьи, ни способность осилить массу фактовъ, требующихъ анализа и логической разборки; наконецъ — смѣшанная толпа публики, приходящей на судъ какъ на зрѣлище, посреди праздной и бѣдной содержаніемъ жизни: и эта публика, въ сознаніи идеалистовъ, должно означать *народъ*. Мудрено-ли, что въ такой обстановкѣ оказывается тотъ же печальный результатъ, на который указываютъ вышеприведенныя слова Чарльза Мэна: „присяжные слѣпо тянутъ со своимъ вердиктомъ на сторону того или другого адвоката, кто съумѣетъ на нихъ подѣйствовать“.

Печать.

I.

Съ тѣхъ поръ какъ пало человѣчество, ложь водворилась въ мірѣ, въ словахъ людскихъ, въ дѣлахъ, въ отношеніяхъ и учрежденіяхъ. Но никогда еще, кажется, отецъ лжи не изобрѣталъ такого сплетенія лжей всякаго рода, какъ въ наше смутное время, когда столько слышится отовсюду *лживыхъ* рѣчей *о правдѣ*. По мѣрѣ того какъ усложняются формы быта общественнаго, возникаютъ новыя лживыя отношенія и цѣлыя учрежденія, насквозь пропитанныя ложью. На всякомъ шагу встрѣчаешь великолѣпное зданіе, на фронтонѣ коего написано: *„Здѣсь истина“*. Входишь, и ничего не видишь кромѣ лжи. Выходишь, и когда пытаешься разсказывать о лжи, которою душа возмущалась, — люди негодуютъ, и велятъ вѣрить и проповѣдывать, что это истина, внѣ всякаго сомнѣнія.

Такъ намъ велятъ вѣрить, что голосъ журналовъ и газетъ — или такъ называемая *пресса*, есть выраженіе общественнаго мнѣнія... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно изъ самыхъ лживыхъ учрежденій нашего времени.

Кто станетъ спорить противъ силы *мнѣнія*, которое люди имѣютъ о человѣкѣ или учрежденіи? Такова уже натура человѣческая, что всякій изъ насъ,—что ни говоритъ, что ни дѣлаетъ, оглядывается, какъ это кажется и что люди думаютъ. Не было и нѣтъ человѣка, кто бы могъ считать себя свободнымъ отъ дѣйствія этой силы.

Эта сила въ наше время принимаетъ организованный видъ и называется общественнымъ мнѣніемъ. Органомъ его и представителемъ считается печать. И подлинно, значеніе печати громадное и служитъ самымъ характернымъ признакомъ нашего времени, болѣе характернымъ, нежели всѣ изумительныя открытія и изобрѣтенія въ области техники. Нѣтъ правительства, нѣтъ закона, нѣтъ обычая, которые могли-бы противостать разрушительному дѣйствію печати въ государствѣ, когда всѣ газетные листы его изо дня въ день, въ теченіе годовъ, повторяютъ и распространяютъ въ массѣ одну и ту же мысль, направленную противъ того или другого учрежденія.

Что-же придаетъ печати такую силу? Совсѣмъ не интересъ новостей, извѣстій и свѣдѣній, которыми листки наполняются,—но извѣстная тенденція журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается въ статьяхъ его, въ подборѣ и расположеніи извѣстій и слуховъ, и въ освѣщеніи подбираемыхъ фактовъ и слуховъ. Печать ставитъ себя въ положеніе судящаго наблюдателя ежедневныхъ явленій; она обсуждаетъ не только дѣйствія и слова людскія, но испытуетъ даже невысказанныя мысли, намѣренія и предположенія, по произволу клеймитъ ихъ или восхваляетъ, возбуждаетъ однихъ, другимъ угрожаетъ, однихъ выставляетъ на позоръ, другихъ ставитъ предметомъ восторга и примѣромъ подражанія. Во имя общественнаго мнѣнія, она раздаетъ награды однимъ, другимъ готовитъ казнь, подобную средневѣковому отлученію...

Самъ собою возникаетъ вопросъ: кто же представители этой страшной власти, именующей себя общественнымъ мнѣніемъ? Кто далъ имъ право и полномочіе — во имя цѣлаго общества — править, ниспровергать существующія учрежденія, выставлять новые идеалы нравственнаго и положительнаго закона?

Никто не хочетъ вдуматься въ этотъ совершенно законный вопросъ и дознаться въ немъ до истины; но всѣ кричатъ о такъ-называемой свободѣ печати, какъ о первомъ и главнѣйшемъ основаніи общественнаго благоустройства. Кто не вопіетъ объ этомъ и у насъ въ несчастной, оболганной и оболживленной чужеземною ложью Россіи? Вопіютъ въ удивительной непослѣдовательности и такъ-называемые славянофилы, мнящіе возстановить и водворить историческую правду учрежденій въ землѣ Русской. И они, присоединяясь въ этомъ къ хору либераловъ, совокупленныхъ съ поборниками началъ революцій, говорятъ, совершенно по западному: „общественное мнѣніе, то есть, соединенная мысль, съ чувствомъ и юридическимъ сознаніемъ всѣхъ и каждаго, служитъ окончательнымъ рѣшеніемъ въ дѣлахъ общественнаго быта; итакъ, всякое стѣсненіе свободы слова не должно быть допускаемо, ибо въ стѣсненіи сего выражается насиліе меньшинства надъ всеобщею волею.“

Таково ходячее положеніе новѣйшаго либерализма. Оно принимается на вѣру многими, и мало кто, вдумываясь въ него, примѣчаетъ, сколько въ немъ лжи и легкомысленнаго самообольщенія.

Оно противорѣчитъ первымъ началамъ логики, ибо основано на вполнѣ ложномъ предположеніи, будто общественное мнѣніе тождественно съ печатью.

Чтобъ удостовѣриться въ этой лживости, стоитъ только представить себѣ, что такое газета, какъ она возникаетъ и кто ее дѣлаетъ.

Любой уличный проходимецъ, любой болтунъ изъ непризнанныхъ геніевъ, любой искатель гешефта можетъ, имѣя свои или доставъ для наживы и спекуляціи чужія деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писакъ, фельетонистовъ, готовыхъ разглагольствовать о чемъ угодно, репортеровъ, поставляющихъ безграмотныя сплетни и слухи.—и штабъ у него готовъ, и онъ можетъ съ завтрашняго дня стать въ положеніе власти судящей всѣхъ и каждаго, дѣйствовать на министровъ и правителей, на искуство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый видъ учредительства и грюндерства, и притомъ самаго дешеваго свойства. Разумѣется, новая газета тогда только пріобрѣтаетъ силу, когда пошла въ ходъ на рынкѣ, т. е. распространена въ публикѣ. Для этого требуются таланты, требуется содержаніе привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тутъ есть нѣкоторая гарантія нравственной солидности предпріятія: талантливые люди пойдутъ-ли въ службу къ ничтожному или презрѣнному издателю и редактору? Читатели станутъ-ли брать такую газету, которая не будетъ вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія? Но это гарантія только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опытъ показываетъ, что тотъ-же рынокъ привлекаетъ за деньги какіе угодно таланты, если они есть на рынкѣ—и таланты пишутъ что угодно редактору. Опытъ показываетъ, что самые ничтожные люди—какой-нибудь бывшій ростовщикъ, жидъ факторъ, газетный разносчикъ, участникъ банды червонныхъ валетовъ, разорившійся содержатель рулетки—могутъ основать газету, привлечь талантливыхъ сотрудниковъ, и пустить свое изданіе на рынокъ въ качествѣ органа общественнаго мнѣнія. Нельзя положиться и на здравый вкусъ публики. Въ массѣ читателей—большею частью праздныхъ—господствуютъ, на-

ряду съ нѣкоторыми добрыми, жалкіе и низкіе инстинкты праздпаго развлеченія, и любой издатель можетъ привлечь къ себѣ массу разсчетомъ на удовлетвореніе именно такихъ инстинктовъ, на охоту къ скандаламъ и пряностямъ всякаго рода. Мы видимъ у себя ежедневные тому примѣры, и въ нашей столицѣ недалеко ходить за ними: стоитъ только присмотрѣться къ спросу и предложенію у газетныхъ разносчиковъ возлѣ людныхъ мѣстъ и на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Всѣмъ извѣстенъ недостатокъ серьезности въ нашей общественной бесѣдѣ: въ уѣздномъ городѣ, въ губерніи, въ столицѣ—извѣстно, чѣмъ она пробавляется—картами и сплетней всякаго рода—и анекдотомъ, во всѣхъ возможныхъ его формахъ. Самая бесѣда о такъ-называемыхъ вопросахъ общественныхъ и политическихъ является большею частью въ формѣ *пересуда* и отрывочной фразы, пересыпаемой тою-же сплетней и анекдотомъ. Вотъ почва необыкновенно богатая и благодарная для литературнаго промышленника, и на ней-то родятся, подобно ядовитымъ грибамъ, и эфемерные, и успѣвшіе стать на ноги, органы общественной сплетни, нахально выдающіе себя за органы общественнаго мнѣнія. Ту же самую гнусную роль, которую посреди праздной жизни какого-нибудь губернскаго города играютъ безъименныя письма и пасквили, къ сожалѣнію, столь распространенные у насъ,—ту же самую роль играютъ въ такой газетѣ *корреспонденціи*, присылаемыя изъ разныхъ угловъ и сочиняемыя въ редакціи. Не говоримъ уже о массѣ слуховъ и извѣстій, сочиняемыхъ невѣжественными репортерами, не говоримъ уже о гнусномъ промыслѣ *шантажа*, орудіемъ коего нерѣдко становится подобная газета. И она можетъ процвѣтать, можетъ считаться органомъ общественнаго мнѣнія и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое изданіе, основанное на твердыхъ нравственныхъ нача-

лахъ и разсчитанное на здравые инстинкты массы,—не въ силахъ будетъ состязаться съ нею.

Стоитъ всмотрѣться въ это явленіе: мы распознаемъ въ немъ одно изъ безобразнѣйшихъ логическихъ противорѣчій новѣйшей культуры, и всего безобразнѣе является оно именно тамъ, гдѣ утвердились начала новѣйшаго либерализма,—именно тамъ, гдѣ требуется для каждаго учрежденія санкція выбора, авторитетъ всенародной воли, гдѣ правленіе сосредоточивается въ рукахъ лицъ, опирающихся на мнѣніе большинства въ собраніи представителей народныхъ. Отъ одного только журналиста, власть коего практически на все простирается,—не требуется никакой санкціи. Никто не выбираетъ его и никто не утверждаетъ. Газета становится авторитетомъ въ государствѣ, и для этого единственнаго авторитета не требуется никакого признанія. Всякій, кто хочетъ, первый встрѣчный можетъ стать органомъ этой власти, представителемъ этого авторитета,—и притомъ вполнѣ *безотвѣтственнымъ*, какъ никакая иная власть въ мірѣ. Это такъ, безъ преувеличенія: примѣры живые на лицо. Мало-ли было легкомысленныхъ и безсовѣстныхъ журналистовъ, по милости коихъ подготовлялись революціи, закипало раздраженіе до ненависти между сословіями и народами, переходившее въ опустошительную войну. Иной монархъ за дѣйствія этого рода потерялъ бы престолъ свой; министръ подвергся бы позору, уголовному преслѣдованію и суду; но журналистъ выходитъ сухъ какъ изъ воды, изъ всей заведенной имъ смуты, изъ всякаго погрома и общественнаго бѣдствія, коего былъ причиною, выходитъ съ торжествомъ, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имѣя право карать нашу честь, лишать насъ имущества и свободы, пріемлетъ его отъ го-

сударства и долженъ продолжительнымъ трудомъ и испытаніемъ готовиться къ своему званію. Онъ связанъ строгимъ закономъ; всякія ошибки его и увлеченія подлежатъ контролю высшей власти, и приговоръ его можетъ быть измѣненъ и исправленъ. А журналистъ имѣетъ полнѣйшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественныя права; можетъ даже стѣснить мою свободу, затруднивъ своими нападками или сдѣлавъ невозможнымъ для меня пребываніе въ извѣстномъ мѣстѣ. Но эту судейскую власть надо мною самъ онъ себѣ присвоилъ: ни отъ какого высшаго авторитета онъ не пріялъ этого званія, не доказалъ никакимъ испытаніемъ, что онъ къ нему приготовленъ, ничѣмъ не удостовѣрилъ личныхъ качествъ благонадежности и безпристрастія, въ судѣ своемъ надо мною не связанъ никакими формами процесса, и не подлежитъ никакой аппелляціи въ своемъ приговорѣ. Правда, защитники печати утверждаютъ, будто она сама излѣчиваетъ наносимыя ею раны; но вѣдь всякому разумному понятно, что это одно лишь праздное слово. Нападки печати на частное лицо могутъ причинить ему вредъ неисправимый. Всѣ возможныя опроверженія и объясненія не могутъ дать ему полнаго удовлетворенія. Не всякій изъ читателей, кому попалась на глаза первая поносительная статья, прочтетъ другую оправдательную или объяснительную, а при легкомысліи массы читателей — позорящее внушеніе или наругательство оставляютъ во всякомъ случаѣ ядъ въ мнѣніи и расположеніи массы. Судебное преслѣдованіе за клевету, какъ извѣстно,—даетъ плохую защиту, и процессъ по поводу клеветы служитъ почти всегда средствомъ не къ обличенію обидчика, но къ новымъ оскорбленіямъ обиженнаго; а притомъ журналистъ имѣетъ всегда тысячу средствъ уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямыхъ поводовъ къ возбужденію судебнаго преслѣдованія.

Итакъ—можно-ли представить себѣ деспотизмъ болѣе насильственный, болѣе безответственный, чѣмъ деспотизмъ печатнаго слова? И не странно-ли, не дико-ли и безумно, что о поддержаніи и охраненіи именно этого деспотизма хлопочутъ всего болѣе—ожесточенные поборники *свободы*. вопіющіе съ озлобленіемъ противъ всякаго насилія, противъ всякихъ законныхъ ограниченій, противъ всякаго стѣснительнаго распоряженія *установленной власти?* Невольно приходитъ на мысль вѣковѣчное слово объ умникахъ, которые совсѣмъ обезумѣли отъ того, что возмнили себя мудрыми.

II.

Въ нашемъ вѣкѣ распространенія изобрѣтеній всего удивительнѣе быстрое распространеніе газетной литературы, ставшей въ короткое время страшно дѣйствительною общественною силой. Значеніе газеты возросло въ первый разъ послѣ Іюльской революціи 1830 года, усугубилось еще послѣ революціи 1848 года и затѣмъ стало возрастать не годами только, но днями. Нынѣ съ этою силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себѣ не только общественную, но и частную жизнь безъ газеты. и прекращеніе выхода газетъ, еслибъ возможно было бы представить его себѣ, было бы однозначительно съ прекращеніемъ всякаго дѣйствія желѣзныхъ дорогъ.

Газета несомнѣнно служитъ для человѣчества важнѣйшимъ орудіемъ культуры. Но, признавая все удобство и пользу отъ распространенія массы свѣдѣній и отъ обмѣна мыслей и мнѣній путемъ газеты, нельзя не видѣть и того вреда, который происходитъ для общества отъ безграничнаго распространенія газеты, нельзя не признать съ чувствомъ пѣ-

котораго страха, что въ ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая надъ человѣчествомъ.

Каждый день, поутру, газета приноситъ намъ кучу разнообразныхъ новостей. Въ этомъ множествѣ—многое-ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательнаго развитія? Многое-ли способно поддерживать въ душѣ нашей священный огонь одушевленія на добро? И напротивъ—сколько здѣсь такого, что льститъ самымъ низменнымъ нашимъ склонностямъ и побужденіямъ! Могутъ сказать, что намъ даютъ то, что требуется вкусомъ читателей, что̀ отвѣчаетъ на спросъ. Но это возраженіе можно обернуть: спросъ былъ бы не такой, еслибъ не такъ ретиво было предложеніе.

Но пускай бы еще предлагались однѣ новости: нѣтъ, онѣ предлагаются въ особливой формѣ, окрашенныя особливымъ мнѣніемъ, соединенныя съ безъименнымъ, но очень рѣшительнымъ сужденіемъ. Есть, конечно, серьезные умы, руководящіе газетой; такихъ немного; а газетъ великое множество, и всякое утро нѣкто, совсѣмъ незнаемый мною, и можетъ быть такой, какого я и знать не хотѣлъ бы, навязываетъ мнѣ свое сужденіе, выдавая его авторитетно за голосъ общественнаго мнѣнія. Но всего важнѣе то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не къ извѣстному кругу людей, но ко всему люду, умѣющему лишь разбирать печатное, предлагаетъ каждому готовыя сужденія обо всемъ, и такимъ образомъ, мало-по-малу, силою привычки, отучаетъ своихъ читателей отъ желанія и отъ всякаго старанія имѣть свое собственное мнѣніе; иной не имѣетъ возможности самъ себѣ составить его и воспринимаетъ механически мнѣніе своей газеты; иной и могъ бы самъ разсудить основательно, но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думаетъ газета. Очевидно, какой

происходитъ отъ этого вредъ, именно въ наше время, когда повсюду дѣйствуютъ сильныя теченія тенденціозной мысли, и стремятся уравнять всякіе углы и отличія индивидуальнаго мышленія и свесть ихъ къ единообразному уровню такъ называемаго *общественнаго* мнѣнія: въ этихъ условіяхъ газета служитъ сильнѣйшимъ орудіемъ такого уравненія, ослабляющаго всякое самостоятельное развитіе мысли, воли и характера. А притомъ, для какого множества людей газета служитъ почти единственнымъ источникомъ образованія, жалкаго, мнимаго образованія,—когда масса разныхъ свѣдѣній и извѣстій, приносимая газетой, принимается читателемъ за *дѣйствительное знаніе*, которымъ онъ съ самоувѣренностью вооружаетъ себя. Вотъ одна изъ причинъ, почему наше время такъ бѣдно *цѣльными* людьми, характерными дѣятелями. Новѣйшая печать похожа на сказочнаго богатыря, который, написавъ на челѣ своемъ таинственныя буквы—символъ божественной истины, поражалъ всѣхъ своихъ противниковъ дотолѣ, пока не явился безстрашный боецъ, который стеръ съ чела его таинственныя буквы.—На челѣ нашей печати написаны доселѣ знамена общественнаго мнѣнія, дѣйствующія неотразимо.

III.

Въ настоящемъ состояніи общества и при нынѣшнемъ его устройствѣ, печать стала *учрежденіемъ*, съ которымъ необходимо считаться, и крѣпко считаться, въ ряду другихъ учрежденій, связанныхъ государственною властію и подлежащихъ контролю и отвѣтственности,—ибо нѣтъ учрежденія, которое могло бы считать себя безконтрольнымъ и безотвѣтственнымъ.—Но чѣмъ дальше разрастается это

учрежденіе печати, тѣмъ явственнѣе становятся, на ряду съ очевидными выгодами разумной и совѣстливой гласности, и тѣ общественныя язвы, которыя имъ порождаются. Одна изъ этихъ язвъ печати состоитъ въ томъ, что она производитъ и плодитъ до безмѣрности цѣлое сословіе журналистовъ, предпринимателей и писателей, „кормящихся и богатѣющихъ перомъ“. Самые серьезные дѣятели серьезной печати не перестаютъ горько жаловаться на умноженіе числа этихъ собратій, съ которыми стыдно, но приходится считаться въ составѣ одного учрежденія. Во всѣхъ большихъ государствахъ, на всѣхъ большихъ рынкахъ, изъ этого сброда нищущей братіи образовалось сословіе, которое не напрасно будетъ назвать паразитами общества.

Въ самомъ дѣлѣ, это—люди стоящіе на какой то особой почвѣ въ отношеніи къ благу общественному, которое должно-бы связывать и одушевлять всѣ учрежденія. Эти люди не заинтересованы прямо въ охраненіи общественнаго порядка, въ умиротвореніи мятущихся умовъ и враждующихъ партій. И естественно. Всякая газета живетъ и питается ежедневными событіями, новостями всякаго рода. Расходъ ея усиливается именно въ смутное время, и тутъ именно все стараніе направлено къ распространенію новостей и слуховъ, раздражающихъ и смущающихъ умы; напротивъ того, въ тихое время расходъ газеты значительно уменьшается. Лишь только поднимается смута, тотчасъ появляются на рынкѣ новыя газеты, чтобы покормиться ею, до тихой поры, когда онѣ сокращаются и исчезаютъ. Но и въ тихое время надобно кормиться, а для этого требуется возбудить новое волненіе умовъ, развесть новые интересы: изобрѣтаются сенсаціонныя новости, раскрашиваются, преувеличиваются.

Пищею для журналовъ, претендующихъ на серьезность, служитъ политика, и обсужденіе политическихъ вопросовъ,

вспѣняемыхъ полемикой, происходитъ ежедневно. Любой журналистъ готовъ сразу разсуждать о какомъ угодно политическомъ вопросѣ, но, по своему положенію, обязанъ разсудить и рѣшить его немедля, сейчасъ—ибо онъ долженъ быть борзописцемъ, слугою не мысли, не разума, но—настоящаго дня. Едва вскочила въ головѣ мысль его, какъ она уже летитъ на бумагу, на печатный станокъ: некогда ждать, некогда дать созрѣть зародившейся мысли. Спросите этихъ людей, стыдно-ли имъ? Нисколько. Они развѣ посмѣются въ глаза на такой вопросъ: они убѣждены, что совершаютъ великое служеніе общественное. Развѣ, кои поумнѣе, тѣ, между собою, подобно древнимъ авгурамъ, сами подсмѣиваются надъ собой и надъ публикой.

Притомъ журнальный писатель, для того чтобъ его услышали, чтобы обратили на него вниманіе, долженъ всячески напрягать свой голосъ; если можно,—кричать. Этого требуетъ ремесло его: преувеличеніе, способное переходить въ пафосъ, становится для него второю натурой. Вотъ почему, пускаясь въ полемику съ противнымъ мнѣніемъ, онъ готовъ назвать своего противника дуракомъ, подлецомъ, невѣждою—взвалить на него всевозможные пороки: это ничего ему не стоитъ—это требуется журнальною акустикой. Это—искуство крика, подобнаго крику торговца на рынкѣ, когда онъ заманиваетъ покупателя.

Вотъ какія привычки и качества развиваетъ, къ несчастію, печать, въ своихъ дѣятеляхъ. И все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ вредно. Вредно потому, что печать стала нынѣ ареною, на которой не только обсуждаются, но и рѣшаются важнѣйшіе вопросы и внутренней и внѣшней политики государства, вопросы экономіи и администраціи, связанные съ самыми жизненными національными интересами. Для всего этого мало одного задора; нужна

мудрая разсудительность, зрѣлость мысли, нуженъ здравый смыслъ, нужно знаніе своей исторіи, и своего народа, знаніе практической жизни. А между тѣмъ, нынѣ въ Европѣ дошло уже до того, что изъ рядовъ журнальныхъ ораторовъ выходятъ ораторы государственные, и составляютъ въ парламентахъ преобладающую силу, вмѣстѣ съ адвокатами, кои раздѣляютъ съ ними искуство орудовать словомъ во всякую сторону. Такъ нынѣ во Французской камерѣ лишь 22 представителя крупной и 50 мелкой поземельной собственности, но всл говорильная сила у журналистовъ, коихъ 59, и у адвокатовъ, коихъ 107.

И эти люди считаются представителями страны своей и судьями народной жизни и ея потребностей. И народъ стонетъ отъ законодательнаго смѣшенія голосовъ, правящаго судьбами государства, но не можетъ отъ него освободиться.

Народное просвѣщеніе.

I.

Когда разсужденіе отдѣлилось отъ жизни, оно становится искуственнымъ, формальнымъ и, вслѣдствіе того, мертвымъ. Къ предмету подходятъ и вопросы рѣшаютъ съ точки зрѣнія общихъ положеній и началъ, на вѣру принятыхъ: скользятъ по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь въ явленія дѣйствительной жизни,—даже отказываясь всматриваться въ нихъ. Такихъ общихъ началъ и положеній расплодилось у насъ множество, особливо съ конца прошлаго столѣтія—они заполонили нашу жизнь, совсѣмъ отрѣшили отъ жизни наше законодательство, и самую науку ставятъ нерѣдко въ противоположность съ жизнью и ея явленіями. Вслѣдъ за доктринерами науки, доходящими до фанатизма въ своемъ доктринерствѣ, и за школьными адептами натверженныхъ ученій—идетъ стаднымъ обычаемъ толпа интеллигенціи. Общія положенія пріобрѣтаютъ значеніе непререкаемой аксіомы, борьба съ коею становится

крайне тягостна, иногда совсѣмъ невозможна. Трудно исчислить и взвѣсить, сколько ломки произвели эти аксіомы въ законодательствѣ, какъ опутали онѣ по рукамъ и по ногамъ живой организмъ народнаго быта искуственными, силою навязанными формами! Впереди этого движенія пошла Франція: она ввела въ моду нивеллировку быта народнаго посредствомъ общихъ началъ, выведенныхъ изъ отвлеченной теоріи. За нею потянулись всѣ—даже государства, соединяющія въ себѣ безконечное разнообразіе условій быта, племеннаго состава, пространства и климата. Сколько пострадало отъ того и наше отечество—не перечтешь.

Вотъ, напримѣръ, слова—натверженныя до пресыщенія у насъ и повсюду: даровое обученіе, обязательное обученіе, ограниченіе работы малолѣтныхъ обязательнымъ школьнымъ возрастомъ... Нѣтъ спора, что ученье свѣтъ, а неученье—тьма; но въ примѣненіи этого правила необходимо знать мѣру и руководствоваться здравымъ смысломъ, а главное—не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердятъ и которую такъ рѣшительно нарушаютъ наши законодатели. Повторяя на всѣ лады пошлое изреченіе, что школьный учитель побѣдилъ подъ Садовою, мы разводимъ по казенному лекалу школу и школьнаго учителя, пригибая подъ него потребности быта дѣтей и родителей, и самую природу и климатъ. Мы знать не хотимъ, что школа (какъ показываетъ опытъ) становится одною обманчивою формой, если не вросла самыми корнями своими въ народъ, не соотвѣтствуетъ его потребностямъ, не сходится съ экономіей его быта. Только та школа прочна въ народѣ, которая люба ему, которой просвѣтительное значеніе видитъ онъ и ощущаетъ; противна ему та школа, въ которую пихаютъ его насиліемъ, подъ угрозою еще наказанія, устроивая самую школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазіи доктринеровъ

школъ. Тогда дѣло становится механически: школа уподобляется канцеляріи, со всею тяготой канцелярскаго производства. Законодатель доволенъ, когда заведено и расположено по намѣченнымъ пунктамъ извѣстное число однообразныхъ помѣщеній съ надписью: *школа*. И на эти заведенія собираются деньги—и уже грозятъ загонять въ нихъ подъ страхомъ штрафа; и учреждаются съ великими издержками наблюдатели за тѣмъ, чтобы родители, и бѣдные, и рабочіе люди, высылали дѣтей своихъ въ школу со школьнаго возраста... Но, кажется, всѣ государства далеко перешли уже черту, за которою школьное ученье показываетъ въ народномъ бытѣ оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счетъ той дѣйствительной, воспитательной школы, которою должна служить для каждаго сама жизнь въ обстановкѣ семейнаго, профессіональнаго и общественнаго быта.

Сколько надѣлало вреда смѣшеніе понятія о *знаніи* съ понятіемъ объ *умѣніи!* Увлекшись мечтательною задачей всеобщаго просвѣщенія, мы назвали просвѣщеніемъ извѣстную сумму *знаній*, предположивъ, что она пріобрѣтается прохожденіемъ школьной программы, искуственно скомпанованной кабинетными педагогами. Устроивъ такимъ образомъ школу, мы отрѣзали ее отъ жизни и задумали насильственно загонять въ нее дѣтей для того, чтобы подвергать ихъ процессу умственнаго развитія, по нашей программѣ. Но мы забыли или не хотѣли сознать, что масса дѣтей, которыхъ мы просвѣщаемъ, должна жить насущнымъ хлѣбомъ, для пріобрѣтенія коего требуется не сумма голыхъ знаній, коими программы наши напичканы, а *умѣніе* дѣлать извѣстное дѣло, и что отъ этого умѣнія мы можемъ отбить ихъ искуственно, на воображаемомъ знаніи, построенною школой. Таковы и бываютъ послѣдствія школы, мудрено устроенной,

и вотъ причина, почему народъ не любитъ такой школы, не видя въ ней толку.

Понятіе народное о школѣ есть истинное понятіе, но, къ несчастью, его перемудрили повсюду въ устройствѣ новой школы. По народному понятію, школа учитъ читать, писать и считать, но въ нераздѣльной связи съ этимъ, учитъ знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вотъ сумма знаній, умѣній и ощущеній, которыя въ совокупности своей образуютъ въ человѣкѣ *совѣсть* и даютъ ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновѣсіе въ жизни и выдерживать борьбу съ дурными побужденіями природы, съ дурными внушеніями и соблазнами мысли.

Плохо дѣло, когда школа отрываетъ ребенка отъ среды его, въ которой онъ привыкаетъ къ дѣлу своего званія—упражненіемъ съ юныхъ лѣтъ и примѣромъ, пріобрѣтая безсознательно искуство и вкусъ въ работѣ. Кто готовится быть кандидатомъ или магистромъ, тому необходимо начинать ученіе въ извѣстный срокъ и проходить послѣдовательно извѣстный рядъ наукъ; но масса дѣтей готовится къ труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовленіе физическое съ ранняго возраста. Закрывать путь къ этому приготовленію, чтобы не потерять времени для школьныхъ цѣлей, значитъ—затруднять способы къ жизни массѣ людей, бьющихся въ жизни изъ-за насущнаго хлѣба, и стѣснять посреди семьи естественное развитіе экономическихъ силъ ея, составляющихъ въ совокупности капиталъ общественнаго благосостоянія. Морякъ воспитывается для морского дѣла, съ дѣтства выростая на водѣ; рудокопъ привыкаетъ къ своему дѣлу и пріучаетъ къ нему свои легкія—не иначе, какъ опускаясь съ юныхъ лѣтъ въ подземныя мины. Тѣмъ болѣе земледѣлецъ—привыкаетъ къ своему труду и получаетъ

любовь къ нему, когда съ дѣтства живетъ, не отрываясь отъ природы, возлѣ домашней скотины, возлѣ сохи и плуга, возлѣ поля и луга.

А мы все препираемся о курсѣ для народной школы, о курсѣ обязательномъ, съ коимъ будто бы соединяется полное развитіе. Иной хочетъ вмѣстить въ него энциклопедію знаній подъ дикимъ названіемъ Родиновѣдѣнія; иной настаиваетъ на необходимости поселянину знать физику, химію, сельское хозяйство, медицину: иной требуетъ энциклопедію политическихъ наукъ и правовѣдѣніе... Но мало кто думаетъ, что, отрывая дѣтей отъ домашняго очага на школьную скамью съ такими мудреными цѣлями, мы лишаемъ родителей и семью рабочей силы, которая *необходима* для поддержанія домашняго хозяйства, а дѣтей развращаемъ, наводя на нихъ миражъ мнимаго или фальшиваго и отрѣшеннаго отъ жизни знанія, подвергая ихъ соблазну мелькающихъ передъ глазами образовъ суеты и тщеславія.

II.

Новѣйшая школа народныхъ просвѣтителей предлагаетъ одно средство, одинъ рецептъ для блага человѣчества: войну съ предразсудками и невѣжествомъ массы народной. Всѣ бѣдствія человѣчества, по мнѣнію писателей этой школы, происходили отъ того, что въ массѣ народной держались слишкомъ упорно въ теченіе вѣковъ нѣкоторыя безотчетныя ощущенія и мнѣнія, которыя необходимо во чтобы то ни стало разрушить, вырвать съ корнемъ. Къ такимъ вреднымъ ощущеніямъ и мнѣніямъ они относятъ все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы,—такъ разсуждаютъ эти философы,—всѣ люди могли привести въ дви-

женіе свою умственную силу, развить свое мышленіе и имъ руководствовались бы,—вмѣсто того, чтобы думать, чувствовать и жить по мнѣніямъ, принятымъ на вѣру,—тогда начался бы золотой вѣкъ для человѣчества. Въ одно поколѣніе человѣчество подвинулось бы такъ, какъ доныпѣ не подвигалось и въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій. Когда бы хоть на одинъ градусъ поднялся уровень мыслительной силы въ массѣ, отъ этого произошли бы послѣдствія неисчислимыя. У всѣхъ почти есть какой-нибудь одинъ силлогизмъ, который слагается въ головѣ по непосредственному впечатлѣнію съ первыхъ лѣтъ юности. Если бы къ этому запасу прибавился у всѣхъ еще другой силлогизмъ, и мысль у каждаго стала бы способна связать оба въ одну цѣпь мышленія, отъ этого одного измѣнился бы видъ вселенной, преобразовалась бы судьба всего человѣчества. Вотъ цѣль, къ которой хотятъ вести насъ, вотъ задача просвѣщенія и прогресса, которую ставятъ новые философы 19-му столѣтію.

Кажется,—какъ спорить противъ этого? А между тѣмъ у предлагаемой задачи есть и другая сторона, оборотная и темная, которую обыкновенно упускаютъ изъ виду.

Есть въ человѣчествѣ натуральная, земляная сила инерціи, имѣющая великое значеніе. Ею, какъ судно балластомъ, держится человѣчество въ судьбахъ своей исторіи—и сила эта столь необходима, что безъ нея поступательное движеніе впередъ становится невозможно. Сила эта, которую близорукіе мыслители новой школы безразлично смѣшиваютъ съ невѣжествомъ и глупостью,—безусловно необходима для благосостоянія общества. Разрушить ее—значило бы лишить общество той *устойчивости*, безъ которой негдѣ найти и точку опоры для дальнѣйшаго движенія. Въ пренебреженіи или забвеніи этой силы—вотъ въ чемъ главный порокъ новѣйшаго прогресса.

Что такое предразсудокъ? Предразсудокъ, говорятъ, есть мнѣніе, не имѣющее разумнаго основанія, не допускающее логической аргументаціи; всѣ такія мнѣнія предполагается искоренить; какимъ способомъ?—возбудивъ въ каждомъ человѣкѣ мыслительную дѣятельность и поставивъ мнѣніе у каждаго человѣка въ зависимость отъ *логическаго вывода.* Прекрасно, но прекрасно лишь въ отвлеченной теоріи. Въ дѣйствительной жизни мы видимъ, что въ большей части случаевъ невозможно довѣриться дѣйствію одной *способности логическаго мышленія* въ человѣкѣ: что во всякомъ дѣлѣ жизни дѣйствительной мы болѣе полагаемся на человѣка, который держится упорно и безотчетно мнѣній, непосредственно принятыхъ и удовлетворяющихъ инстинктамъ и потребностямъ природы, нежели на того, кто способенъ измѣнять свои мнѣнія по выводамъ своей логики, которые въ данную минуту представляются ему неоспоримымъ гласомъ разума. Въ такомъ расположеніи человѣку легко сдѣлаться послушнымъ рабомъ *всякаго разсужденія, на которое онъ не умѣетъ* въ данную минуту отвѣтить, сдаваться безусловно, со всѣмъ своимъ міровоззрѣніемъ, на всякій новый пріемъ логической аргументаціи по какому угодно предмету. Онъ становится беззащитенъ противъ всякой теоріи, противъ всякаго вывода, если не обладаетъ самъ такимъ арсеналомъ логическаго оружія, какимъ располагаетъ въ данную минуту противникъ его. Стоитъ только признать силлогизмъ высшимъ, безусловнымъ мѣриломъ истины,—и жизнь дѣйствительная попадетъ въ рабство къ отвлеченной формулѣ разсудочнаго мышленія, умъ со здравымъ смысломъ долженъ будетъ покориться пустотѣ и глупости, владѣющей орудіемъ формулы, и искуство, испытанное жизнью, должно будетъ смолкнуть предъ разсужденіемъ перваго попавшагося юноши, знакомаго съ азбукою формальнаго разсужденія. Можно себѣ представить, что

сталось бы съ массою, если-бъ удалось, наконецъ, нашимъ реформаторамъ привить къ массѣ вѣру въ безусловное, руководительное значеніе логической формулы мышленія. Въ массѣ исчезло бы то драгоцѣнное свойство устойчивости, съ помощью коего общество успѣвало до сихъ поръ держаться на твердомъ основаніи.

Притомъ, справедливо ли признать, что упорство въ мнѣніи, на вѣру принятомъ, состоитъ необходимо и всегда въ противорѣчіи съ логикой, что такъ называемый предразсудокъ означаетъ всегда тупость или педѣтельность мышленія? Нѣтъ, несправедливо. Если человѣкъ склоненъ сдаться со своимъ мнѣніемъ и вѣрованіемъ на доказательную аргументацію логики, это совсѣмъ еще не означаетъ, что онъ логичнѣе, послѣдовательнѣе того, кто, не уступая аргументаціи, упорно держится въ своемъ мнѣніи. Напротивъ того, приверженность простого человѣка къ принятому на вѣру мнѣнію происходитъ, хотя большею частью и безсознательно для него самого, отъ инстинктивнаго, по *въ высшей степени логическаго побужденія.* Простой человѣкъ инстинктивно чувствуетъ, что съ перемѣною одного мнѣнія объ одномъ предметѣ, которую хотятъ произвесть въ немъ посредствомъ неотразимой, повидимому, аргументаціи, соединяется перемѣна въ цѣлой цѣпи воззрѣній его на міръ и на жизнь, въ которыхъ онъ не отдаетъ себѣ отчета, но которыя неразрывно связаны со всѣмъ его мышленіемъ и бытомъ, и составляютъ духовную жизнь его. Эту-то цѣль и стремится разорвать по звеньямъ лукавая діалектика современныхъ просвѣтителей и, къ несчастію, легко иногда успѣваетъ. Но простой человѣкъ съ здравымъ смысломъ чувствуетъ, что, уступивъ беззащитно въ одномъ—первому нападенію логической аргументаціи, онъ поступился бы всѣмъ, а цѣлымъ міромъ своего духовнаго представленія онъ не можетъ

поступиться изъ-за того только. что не въ состояніи логически опровергнуть аргументацію, направленную противъ одного изъ фактовъ этого міра. Напрасно лукавый совопросникъ сталъ бы стыдить такого простого человѣка и уличать его въ глупости: въ этомъ простой человѣкъ совсѣмъ не глупъ, а разумнѣе своего противника: онъ не умѣетъ еще осмыслить во всей совокупности явленія и факты своего духовнаго міра, и не располагаетъ діалектическимъ искуствомъ своего противника, но, упираясь на своемъ, тѣмъ самымъ показываетъ, что дорожитъ своимъ мнѣніемъ, бережетъ его и цѣнитъ истину убѣжденія—не въ формѣ разсудочнаго выраженія, а во всей ея цѣлости.

А такъ хотятъ нынче просвѣщать простого человѣка. Про всѣ подобные пріемы просвѣщенія можно сказать, что они—отъ *лукаваго*. Ночью, когда люди спятъ или въ просонкахъ безсильны, приходитъ лукавый и потихоньку, подъ видомъ добраго и благонамѣреннаго человѣка, сѣетъ свои плевелы. И совсѣмъ не нужно для этого быть ни умнымъ, ни ученымъ человѣкомъ—нужно быть только *лукавымъ*. Требуется ли много ума, напримѣръ, чтобы подойти въ удобную минуту къ простому человѣку и пустить въ него смуту: „Что ты молишься своему Николѣ? развѣ видалъ когда-нибудь, чтобы Никола помогалъ тому, кто ему молится?“ Или подольститься къ дѣвушкѣ въ простой семьѣ такою рѣчью: „Кто тебѣ докажетъ, что доля твоя—всегда зависѣть отъ другихъ и быть рабою мужчины? Разумъ говоритъ тебѣ, что ты равна ему во всемъ и на все рѣшительно одинаково съ нимъ имѣешь право“. Или—прокрасться между родителями и юношею-сыномъ съ такою рѣчью: „По какой логикѣ обязанъ ты повиноваться родителямъ? Кто тебѣ велѣлъ уважать ихъ, когда они по твоему разумѣнію того не стоятъ? Что, какъ не случайное явленіе природы, связь твоя съ ними

и развѣ ты не свободный человѣкъ, прежде всего равный всѣмъ и каждому?“ съ такими рѣчами и множествомъ подобныхъ бродитъ уже *лукавый* между *простыми и малыми* въ близкихъ и дальныхъ мѣстахъ земли нашей, отбиваетъ отъ стада овецъ и велитъ звать себя *учителемъ*, и уводитъ и выгоняетъ въ пустыню...

Гербертъ Спенсеръ о народномъ воспитаніи.

The Study of Sociology. XV.

Правильное законодательство не должно отступать отъ психологической истины. Не подлежитъ сомнѣнію слѣдующая истина, которую такъ часто упускаютъ изъ виду. Дѣйствія человѣческія зависятъ непосредственно отъ *ощущенія*, а не отъ *вѣдѣнія*. Вѣдѣніе, само по себѣ, не производитъ дѣйствія. Когда я нечаянно накалываюсь на булавку или попадаю пальцемъ въ кипятокъ, я невольно вздрагиваю. Отъ сильнаго ощущенія происходитъ движеніе непосредственно, безо всякой мысли. Напротивъ того, одно сознаніе, что булавка колетъ, что кипятокъ обжигаетъ—не производитъ во мнѣ никакого движенія. Безъ сомнѣнія, если съ этимъ сознаніемъ соединяется мысль о близкой опасности отъ булавки или отъ кипятку, то возникаетъ болѣе или менѣе рѣшительное побужденіе отпрянуть. Но къ этому побуждаетъ меня воображаемая боль. Голое сознаніе, что отъ укола или отъ обжога бываетъ боль—не производитъ дѣйствія; дѣйствіе начинается съ той минуты, когда боль словесно утверждаемая, или идеально сознаваемая, становится дѣйствительно сознаваемою или угро-

жающею болью, когда въ сознаніи возникаетъ живое представленіе боли, какъ смутный образъ боли, уже испытанной прежде. Стало быть причиною дѣйствія, въ этомъ случаѣ, равно какъ и въ другихъ, служитъ не вѣдѣніе, а ощущеніе. То же самое, что видно въ этомъ простомъ дѣйствіи, оказывается и въ дѣйствіяхъ самыхъ сложныхъ. Двигателемъ дѣятельности служитъ не вѣдѣніе само по себѣ, но не иначе какъ въ соединеніи съ возбуждающимъ его ощущеніемъ. Пьяница очень хорошо знаетъ, что послѣ сегодняшняго распутства завтра утромъ явится головная боль съ тяжестью; но сознаніе этой истины не устрашаетъ его, пока не возникнетъ въ немъ живое представленіе угрожающей ему тягости, покуда ощущеніе, противодѣйствующее пьяной похоти, не достигаетъ такой силы, которая могла бы уравновѣсить эту похоть. То же вообще слѣдуетъ примѣнить ко всякой безпечности. Когда угрожающее зло явственно представляется воображенію, и угрожающее страданіе вполнѣ ощутительно въ духѣ, тогда налагается дѣйствительная узда на стремленіе къ немедленному удовлетворенію настоящаго желанія; но когда нѣтъ явственнаго сознанія объ угрожающемъ страданіи,—настоящее желаніе не встрѣчаетъ достаточнаго себѣ противодѣйствія. Умственно сознается вполнѣ та истина, что безпечность приводитъ къ бѣдственному положенію, къ лишеніямъ; но это сознаніе остается безъ дѣйствія, покуда бѣдствіе не представляется въ воображеніи живою картиной. На берегу стоитъ толпа народу. Въ воду опрокинулась лодка, человѣкъ тонетъ. Всѣ видятъ ясно, какъ дважды два четыре, что онъ утонетъ, если не подадутъ помощи. Всѣ знаютъ, что его можно спасти, если какой-нибудь пловецъ бросится въ воду и поплыветъ къ нему. Всѣмъ натверждено отъ рожденья, что на каждомъ лежитъ долгъ помочь ближнему въ опасности; всѣ сознаютъ, что рискнуть

собою для того, чтобы спасти человѣка отъ смерти — дѣло честное и славное. Многіе умѣютъ и плавать, но отчего же никто не бросается въ воду, а всѣ только зовутъ: помогите! или кричатъ совѣты утопающему? Но вотъ—выходитъ одинъ, сбрасываетъ верхнее платье, бросается и плыветъ на помощь. Этотъ одинъ чѣмъ отличается отъ остальныхъ? Неужели вѣдѣніемъ? Нисколько. Сознаніе у него то же самое, что и у всѣхъ; и онъ также, какъ всѣ, знаетъ, что жизнь человѣка въ опасности, знаетъ, какъ можно помочь ему. Но у него вмѣстѣ съ этимъ сознаніемъ возбуждаются нѣкоторыя соотносительныя ощущенія, и возбуждаются сильнѣе, чѣмъ у другихъ. Во всѣхъ возбуждается по нѣсколько соотносительныхъ ощущеній; но у другихъ преобладаютъ отвращающія ощущенія страха и т. п., а у него избытокъ ощущенія произведенъ сочувствіемъ, въ совокупности, можетъ быть, съ другими ощущеніями низшаго разряда. Въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣйствіе опредѣлилось не вѣдѣніемъ, а ощущеніемъ. Чѣмъ же, стало быть, можно произвесть перемѣну въ бездѣйственномъ отношеніи зрителей къ бѣдственному событію? Очевидно, не уясненіемъ въ нихъ вѣдѣнія, а усиленіемъ въ нихъ *высшихъ ощущеній*.

Вотъ, повидимому, основная психологическая истина, съ которою должна бы сообразоваться всякая разумная система человѣческой дисциплины. Не явно ли, что когда законодатель оставляетъ безъ вниманія эту истину, но держится противоположнаго съ нею представленія,—онъ неизбѣжно впадаетъ въ ошибку. А нынѣшнее законодательство по большей части такъ и поступаетъ; обманываясь заодно съ общественнымъ мнѣніемъ, оно съ горячностью стремится къ принятію мѣръ, основанныхъ на томъ предположеніи, что человѣческая дѣятельность опредѣляется не ощущеніемъ, но вѣдѣніемъ.

Развѣ не это самое предположеніе лежитъ въ основѣ всѣхъ мѣръ, съ такою настоятельностью вводимыхъ для организаціи школьнаго обученія? И у той, и у другой изъ обѣихъ партій, препирающихся по этому вопросу, основное понятіе одно и то же,—что для улучшенія правовъ и дѣятельности единственнымъ средствомъ служитъ распространеніе знанія. Всѣ обольщены разными обманчивыми статистическими цифрами и упорно стоятъ на томъ, что отъ государственнаго школьнаго воспитанія прямо зависитъ сокращеніе преступленій и улучшеніе общественной нравственности. Всѣ находятъ въ газетахъ сравнительные выводы о числѣ неграмотныхъ преступниковъ съ числомъ грамотныхъ, видятъ, что первое гораздо больше послѣдняго числа, и заключаютъ отсюда безъ разсужденій, что источникъ преступленій—невѣжество. Имъ не приходитъ въ голову, что изъ статистики можно прибрать какія угодно цифры и доказывать ими, точно съ такою же достовѣрностью, что число преступленій зависитъ, напримѣръ, отъ того, сколько разъ въ день люди моются, часто ли перемѣняютъ бѣлье, какова у нихъ въ квартирѣ вентиляція, есть ли у нихъ особая спальня, и т. п. Стоитъ сходить въ тюрьму и справиться, сколько преступниковъ изъ такихъ, которые имѣли привычку брать по утрамъ ванну, мыться по столько-то разъ въ день; тотчасъ явится представленіе о томъ, что преступное расположеніе состоитъ въ связи съ состояніемъ кожи—въ грязи или въ опрятности. Сочтите всѣхъ тѣхъ, у кого было больше одной пары платья, и сравненіе чиселъ сейчасъ покажетъ вамъ, что подъ привычку перемѣнять платье подходитъ очень небольшой процентъ преступниковъ. Справьтесь, гдѣ они жили, на большихъ улицахъ или въ закоулкахъ, и вы увидите, что городскія преступленія—безъ малаго всѣ исходятъ изъ угловъ и подваловъ. Точно также, фанатическій членъ общества воз-

держанія, поборникъ санитарныхъ мѣръ всякаго рода — найдетъ въ статистическихъ цифрахъ сколько угодно сильныхъ доказательствъ своей доктринѣ. Но кто не принимаетъ на вѣру предлагаемое ему положеніе принятой доктрины, что невѣжество — причина, а преступленіе — слѣдствіе, и захочетъ удостовѣриться, нѣтъ-ли разныхъ другихъ причинъ, отъ которыхъ въ равной мѣрѣ зависитъ преступность — тотъ увидитъ ясно, что преступленіе въ дѣйствительности зависитъ отъ *нашего образа жизни*, соединеннаго большею частью съ *низшими свойствами* прирожденнаго естества. Тогда необходимо будетъ признать, что невѣжество есть лишь одно изъ многихъ и разнообразныхъ обстоятельствъ, коими обыкновенно сопровождается преступленіе.

Казалось бы, какъ можно отвергать эту критическую повѣрку существующаго мнѣнія и выводъ, изъ нея слѣдующій. Но существующее мнѣніе знать не хочетъ этого вывода и отвергаетъ его упорно; до того въѣлось въ умы принятое понятіе. Его можетъ измѣнить и оболживить въ умахъ только дѣйствительность, когда она покажетъ, какія вышли послѣдствія. Когда волна принятаго мнѣнія достигла извѣстной высоты, ее не отразишь никакимъ убѣжденіемъ, никакою очевидностью; надо, чтобъ она истощила свою силу въ постепенномъ теченіи дѣлъ человѣческихъ: лишь съ этой поры, не прежде, возникаетъ поворотъ въ мнѣніи. Это вѣрно. Иначе было бы совершенно не понятно, какъ эта увѣренность въ цѣлительной силѣ школьнаго обученія, въ которую люди вдались, наслушавшись безъ разсужденія всего, что имъ каждый день толкуютъ политическіе *доктринеры*, — какъ эта увѣренность могла устоять предъ очевидными свидѣтельствами ежедневнаго житейскаго опыта. Любая мать, любая гувернантка приходитъ каждый день въ смущеніе отъ того, что рѣчи ея не дѣйствуютъ, хотя она твердитъ безпрестанно

о томъ, что хорошо, что дурно. Отовсюду слышатся постоянныя жалобы, что убѣжденіе, толкованіе, разъясненіе очевидныхъ послѣдствій—не оказываетъ на нѣкоторыя натуры ровно никакого дѣйствія; что если оно дѣйствуетъ на иныя натуры, то лишь благодаря воспріимчивости ощущенія; а гдѣ оно, бывъ сначала безплодно, начинаетъ оказывать дѣйствіе, тамъ причиною оказывается не столько уясненіе понятія, сколько измѣненіе въ ощущеніи. Въ каждомъ хозяйствѣ услышите, что всѣ возможныя замѣчанія не производятъ дѣйствія на прислугу; сколько имъ ни толкуй, они упорно держатся старыхъ своихъ привычекъ, хотя бы самыхъ нелѣпыхъ; исправить прислугу возможно не наставленіями, а страхомъ штрафовъ и взысканій—то есть, возбужденіемъ ощущенія. Обратимся въ сферу совсѣмъ иныхъ отношеній—увидимъ то же самое. Злостные банкроты, учредители лутыхъ компаній, производители поддѣльнаго товара, фабриканты, пользующіеся чужими марками, торговцы съ фальшивыми вѣсами, страхователи поддѣльнаго имущества, охотники, надувающіе другъ друга, игроки, ведущіе большую игру,—развѣ все это не *воспитанные* люди? Возьмемъ крайніе случаи: всѣ извѣстные на нашей памяти отравители—принадлежатъ большею частію къ образованному классу.

Вѣра въ безусловное нравственное дѣйствіе умственнаго образованія, опровергаемая фактами, есть не что иное, какъ предвзятое положеніе (a priori), натянутое до нелѣпости. Человѣкъ научился, что тотъ или другой знакъ, на бумагѣ поставленный, означаетъ то или другое слово: какую связь можно себѣ представить между этимъ знаніемъ—и высшимъ сознаніемъ долга? Умѣнье означать на бумагѣ знаками слова и звуки—неужели имѣетъ силу утвердить въ человѣкѣ волю, направленную къ добру и правдѣ? Неужели таблица умноженья, умѣнье слагать и вычитать—усиливаетъ въ человѣкѣ

силу сочувствія и удерживаетъ его отъ обиды ближнему? Чувство правды—развѣ усиливается въ чемъ-нибудь отъ грамотности, или отъ знанія географіи, хотя бы самаго подробнаго? Доказывать, что одно происходитъ отъ другого—не все ли равно, что утверждать, будто ноги укрѣпляются отъ упражненія пальцевъ на рукахъ, что кто выучился полатыни, тотъ узнаетъ геометрію и т. п.? Неужели менѣе неразумно утверждать, что дисциплина умственныхъ способностей сама по себѣ ведетъ къ настроенію въ человѣкѣ ощущеній на благо и на правду?

Вѣра во всемогущество школы, въ книжные уроки и чтенія принадлежитъ къ числу главныхъ суевѣрій нашего времени. Книгѣ, даже какъ орудію умственнаго образованія, придается слишкомъ много значенія. Знаніе непосредственное, изъ первыхъ рукъ, важнѣе знанія изъ вторыхъ рукъ; послѣднее должно служить только замѣною перваго, гдѣ первое невозможно; а у насъ послѣднему отдается предпочтеніе передъ первымъ. Дѣло ставится такъ, что все воспринимаемое изъ печатной страницы входитъ въ курсъ воспитанія, а то, что заимствуется изъ непосредственнаго наблюденія въ жизни и въ природѣ—допускается въ этотъ курсъ съ трудомъ.

Читать—значитъ видѣть чужими глазами, значитъ учиться посредствомъ чужихъ способностей вмѣсто того, чтобъ учиться непосредственно съ помощью своей способности: но существующій предразсудокъ вошелъ въ такую силу, что непрямой способъ ученья предпочитается прямому способу и величается образованіемъ. Намъ смѣшно слышать, что дикіе считаютъ письмо волшебною грамотой: насъ забавляетъ исторія того негра, который, неся корзинку съ фруктами при письмѣ, съѣлъ фрукты и спряталъ подъ камень письмо, чтобъ оно не донесло на него. Но не далеко отъ этого анек-

дота—заблужденіе, которое таится въ ходячихъ понятіяхъ объ обученіи посредствомъ печати; идеямъ, пріобрѣтаемымъ посредствомъ искуственнаго орудія, приписывается какая-то магическая сила, въ сравненіи съ идеями, инымъ путемъ пріобрѣтаемыми. Это заблужденье дѣйствуетъ очень вредно даже на умственное образованіе; но оно еще пагубнѣе дѣйствуетъ на образованіе нравственное, возбуждая предположеніе, будто и нравственнаго образованія можно достигнуть чтеніемъ и повтореніемъ уроковъ.

Итакъ, повторяю, дѣйствія человѣческія опредѣляются не вѣдѣніемъ, а чувствомъ. Отсюда таковъ долженъ быть заключительный выводъ: наклонность къ тѣмъ или другимъ дѣйствіямъ укрѣпляется только опытомъ, то-есть, часто повторяемымъ переходомъ отъ чувства къ дѣйствію. Когда двѣ идеи часто повторяются въ извѣстномъ порядкѣ, онѣ, наконецъ въ этомъ порядкѣ между собою связываются: механическія движенія мускуловъ, въ извѣстной комбинаціи, сначала очень затруднительны, но по мѣрѣ упражненія становятся легки и, наконецъ, совершаются безсознательно; точно также, съ повтореніемъ дѣйствій, возбуждаемыхъ тѣми или другими ощущеніями, извѣстный образъ дѣйствій становится у человѣка естественнымъ, не требующимъ особыхъ усилій. Нравственная привычка образуется не посредствомъ наставленія, хотя бы оно каждый день повторялось, даже не посредствомъ примѣра (если примѣръ не возбуждаетъ къ подражанію); но лишь посредствомъ дѣйствія, повторительно возбуждаемаго соотвѣтственнымъ чувствомъ. Вотъ истина очевидная изъ психологіи и оправдываемая опытомъ ежедневной жизни; тѣмъ не менѣе истина эта отрицается фанатиками ходячей теоріи образованія.

Едва-ли кто станетъ сознательно утверждать, что умственное знаніе важнѣе для человѣка, нежели образованіе

характера. Всякому приходилось въ жизни дѣлать замѣчаніе, что работникъ, хоть и неграмотный, но трезвый, честный и прилежный къ дѣлу, несравненно болѣе имѣетъ цѣны и для себя, и для другихъ, нежели обученный и знающій, но неисправный, безпорядочный, пьяный, не думающій о семьѣ. Въ высшихъ классахъ мотъ и игрокъ, какъ бы ни былъ образованъ и умственно развитъ, не стоитъ человѣка, который, хотя и не проходилъ патентованнаго курса, дѣлаетъ добросовѣстно свое дѣло и самъ устраиваетъ дѣтей своихъ, не оставляя ихъ въ бѣдности на попеченіе роднымъ. Стало быть, если взять дѣло, какъ оно есть въ дѣйствительности, надо будетъ всѣмъ согласиться, что для благосостоянія общественнаго, характеръ—несравненно важнѣе многаго знанія. Противъ этого не спорятъ, а вывода, который отсюда слѣдуетъ, не принимаютъ. Не ставятъ и вопроса о томъ, какъ отразятся на характерѣ всѣ искуственныя средства, употребляемыя для распространенія знанія. Изо всѣхъ цѣлей, которыя можетъ имѣть въ виду законодатель, самая первая, самая важная—образованіе характеровъ въ народѣ и утвержденіе сознанія личной отвѣтственности каждаго; а эта именно цѣль и оставляется безъ вниманія.

Размыслимъ, что вся будущность націи зависитъ отъ свойства единицъ, изъ коихъ нація составлена; что эти свойства неизбѣжно подвергаются измѣненію сообразно условіямъ, въ которыя поставлены; что ощущенія, возбуждаемыя этими условіями, неизбѣжно должны усиливаться; а ощущенія, которыхъ условія эти не вызываютъ, должны ослабѣвать и глохнуть. Тогда убѣдимся въ томъ, что улучшенія общественной нравственности можно достигнуть не повтореніемъ правилъ и наставленій, и еще менѣе того одною заботой о распространеніи умственнаго образованія, а ежедневнымъ упражненіемъ высшихъ ощущеній духа и борьбою съ низ-

ними ощущеніями. Способъ къ этому одинъ: содержать людей въ строгомъ подчиненіи порядку общественной жизни, чтобы всякое его нарушеніе неизбѣжно отзывалось зломъ, а соблюденіе его—благомъ для всякаго человѣка. *Въ этомъ, и только въ этомъ одномъ, состоитъ національное воспитаніе.*

Законъ.

Сколько стародавнихъ понятій помрачилось и запуталось въ наше время! Сколько стародавнихъ именъ, измѣнившихъ или, на глазахъ у насъ, измѣняющихъ свое значеніе!

Измѣняется—и не къ добру измѣняется—понятіе о *законѣ*. Законъ—съ одной стороны *правило*, съ другой стороны—*заповѣдь*, и на этомъ понятіи о заповѣди утверждается нравственное сознаніе о законѣ. Основнымъ типомъ закона остается десятословіе: „чти отца твоего... не убій... не укради.. не завидуй". Независимо отъ того, что зовется на новомъ языкѣ *санкціей*, независимо отъ кары за нарушеніе, заповѣдь имѣетъ ту силу, что она будитъ совѣсть въ человѣкѣ, полагая свыше властное раздѣленіе между *свѣтомъ и тьмою*, между *правдою и неправдою*. И вотъ гдѣ,—а не въ матеріальной карѣ за нарушеніе,—основная, непререкаемая санкція закона—въ томъ, что нарушеніе заповѣди немедленно обличается въ душѣ у нарушителя—его совѣстью. Отъ кары матеріальной можно избѣгнуть, кара матеріальная можетъ пасть иногда, безъ мѣры, или свыше мѣры, на невиннаго, по несовершенству человѣческаго правосудія,—а отъ этой внутренней кары никто не избавленъ.

Объ этомъ высокомъ и глубокомъ значеніи закона совсѣмъ забываетъ новое ученіе и новая политика законода-

тельства. На виду поставлено одно лишь значеніе закона, какъ правила для внѣшней дѣятельности, какъ механическаго уравнителя всѣхъ разнообразныхъ отправленій человѣческой дѣятельности въ юридическомъ отношеніи. Все вниманіе обращено на анализъ и на технику въ созиданіи законныхъ правилъ. Безспорно, что техника и анализъ имѣютъ въ этомъ дѣлѣ великое значеніе; но совершенствуя то и другое, разумно ли забывать основное значеніе законнаго правила. А оно не только забыто, но доходитъ уже до отрицанія его.

И вотъ, мы громоздимъ, безъ числа и безъ мѣры, необъятное зданіе законодательства, упражняемся непрестанно въ изобрѣтеніи правилъ, формъ и формулъ всякаго рода. Строимъ все это во имя свободы и правъ человѣчества, а до того уже дошло, что человѣку двинуться некуда отъ сплетенія всѣхъ этихъ правилъ и формъ, отовсюду связывающихъ, отовсюду угрожающихъ, во имя гарантій свободы. Пытаемся все опредѣлить, все вымѣрить и взвѣсить человѣческими—слѣдовательно, увы! неполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. Хотимъ освободить *лицо*,—но всюду разставляемъ ему ловушки, въ которыя чаще попадается правый, а не виноватый. Посреди безконечнаго множества постановленій и правилъ, въ коемъ путается мысль и составителей, и исполнителей,—извѣстная фикція, что невѣдѣніемъ закона никто отговариваться не можетъ,—получаетъ чудовищное значеніе. Простому человѣку становится уже невозможно не знать законъ, ни просить о защитѣ своего права, ни обороняться отъ нападенія и обвиненія: онъ попадаетъ роковымъ образомъ въ руки стряпчихъ, присяжныхъ механиковъ при машинѣ правосудія,—и долженъ оплачивать каждый шагъ свой, каждое движеніе своего дѣла на аренѣ суда и расправы... А между тѣмъ громадная сѣть закона продолжаетъ плестись и сплетается въ паутину, сжимая и

совершенствуя свои клѣточки. Недаромъ еще въ 16-мъ столѣтіи знаменитый Баконъ примѣнялъ къ этой сѣти древнее пророческое слово: „Сѣти спадутъ на нихъ, говоритъ пророкъ, и нѣтъ сѣтей гибельнѣе, чѣмъ сѣти законовъ: когда число ихъ умножилось, и теченіе времени сдѣлало ихъ безполезными,—законъ уже перестаетъ быть свѣтильникомъ, освѣщающимъ путь нашъ, но становится сѣтью, въ которой путаются наши ноги".

Съ 16-го столѣтія, въ отечествѣ Бакона, эта сѣть, которая въ то время уже казалась ему невозможною,—продолжала сплетаться ежедневно и достигла чудовищныхъ размѣровъ. Масса парламентскихъ актовъ, постановленій, рѣшеній представляетъ нѣчто, хаотически громадное и хаотически нестройное. Нѣтъ ума, который могъ бы разобраться въ ней и привести ее въ порядокъ, отдѣливъ случайное отъ постояннаго, потерявшее силу отъ дѣйствующаго, существенное отъ несущественнаго. Масса законовъ какъ будто сложена вся въ громадный амбаръ, въ которомъ по мѣрѣ надобности выискиваютъ, что угодно, люди привыкшіе входить въ него и въ немъ разбираться. На такомъ состояніи закона опирается однако правосудіе, опирается вся дѣятельность общественныхъ и государственныхъ учрежденій. Если понятіе о правѣ не заглохло въ сознаніи народномъ,—это объясняется единственно силою преданія, обычая, знанія и искусства править и судить, преемственно сохраняемаго въ дѣйствіи старинныхъ, вѣками существующихъ властей и учрежденій. Стало быть, кромѣ закона, хотя и въ связи съ нимъ, существуетъ разумная сила и разумная *воля*, которая дѣйствуетъ властно въ примѣненіи закона, и которой всѣ сознательно повинуются. Итакъ, когда говорится объ уваженіи къ *закону* въ Англіи,—слово *законъ* ничего еще не изъясняетъ: сила закона (коего люди не знаютъ) поддерживается въ сущ-

ности уваженіемъ къ *власти,* которая орудуетъ закономъ, и довѣріемъ къ разуму ея, искусству и знанію. Въ Англіи не пренебрежено, но строго охраняется главное, необходимое условіе для поддержанія законнаго порядка: *опредѣлительность* поставленныхъ для того властей и принадлежащаго каждой изъ нихъ круга, такъ что ни одна изъ нихъ не можетъ сомнѣваться въ твердости и колебаться въ сознаніи предѣловъ своего государственнаго полномочія. На этомъ основаніи власть орудуетъ не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей въ страхѣ отвѣтственности, но орудуетъ закономъ въ цѣльномъ и разумномъ его значеніи, какъ нравственною силой, исходящею отъ государства.

А гдѣ этой существенной силы нѣтъ, гдѣ нѣтъ древнихъ учрежденій, изъ рода въ родъ служащихъ хранилищемъ разума и искуства въ примѣненіи закона, тамъ умноженіе и усложненіе законовъ производитъ подлинно лабиринтъ, въ коемъ запутываются дороги всѣхъ подзаконныхъ людей, и нѣтъ выхода изъ сѣти, которая на нихъ наброшена. Законы становятся сѣтью не только для гражданъ, но,—что всего важнѣе, для самыхъ властей, призванныхъ къ примѣненію закона,—стѣсняя для нихъ, множествомъ ограничительныхъ и противорѣчивыхъ предписаній, ту свободу разсужденія и рѣшенія, которая необходима для разумнаго дѣйствованія власти. Когда открывается зло и насиліе, когда предстоитъ защитить обиженнаго, водворить порядокъ и воздать каждому должное, необходимо властное дѣйствіе воли, направляемое стремленіемъ къ правдѣ и къ благу общественному. Но если при томъ лицо, обязанное дѣйствовать, на всякомъ шагу встрѣчается въ самомъ законѣ съ ограничительными предписаніями и искуственными формулами, если на всякомъ шагу грозитъ ему опасность перейти ту или другую черту, изъ множества намѣченныхъ въ законѣ,—если

притомъ предѣлы властей и вѣдомствъ, соприкасающихся въ своемъ дѣйствіи, перепутаны въ самомъ законѣ множествомъ дробныхъ опредѣленій,—тогда всякая власть теряется въ недоумѣніяхъ, обезсиливается тѣмъ самымъ, что должно бы вооружить ее силою, т. е. закономъ, и подавляется страхомъ отвѣтственности въ такую минуту, когда не страху, а сознанію долга и права своего—надлежало бы служить единственнымъ побужденіемъ и руководствомъ. Нравственное значеніе закона ослабляется и утрачивается въ массѣ законныхъ статей и опредѣленій, нагромождаемыхъ въ непрерывной дѣятельности законодательной машины, и напослѣдокъ самый законъ—въ сознаніи народномъ получаетъ значеніе какой-то внѣшней силы, невѣдомо зачѣмъ нападающей и отовсюду связующей и стѣсняющей отправленія народной жизни...

Тѣмъ опаснѣе становится для общества неумѣрное умноженіе *законовъ,* что способъ приготовленія и обсужденія ихъ совершенно извращенъ въ послѣднее время началами новѣйшей демократіи. Все совершеніе закона становится дѣломъ партіи и самый законъ является орудіемъ партіи. Много требуется разумнаго, внимательнаго труда надъ приготовленіемъ закона въ большомъ, особливо въ разноплеменномъ государствѣ: для того чтобы законъ вышелъ дѣйственный, нужно, чтобъ онъ отвѣчалъ дѣйствительной потребности народной въ той области, къ которой относится, чтобы въ немъ было полное соотвѣтствіе съ экономіей быта и съ правдою души народной. Возможно ли соблюденіе всѣхъ этихъ условій тамъ, гдѣ обсужденіе закона превращается лишь въ состязаніе партій, въ борьбу отвлеченныхъ началъ,—и гдѣ все рѣшается не разумною оцѣнкою мнѣній, а лишь механическимъ счетомъ голосовъ многолюднаго собранія. Рѣшаетъ большинство, искуственно составляемое

подборомъ, двигателями коего служатъ — равнодушіе или стадное побужденіе у однихъ, у другихъ страсть или фанатизмъ доктрины, у иныхъ интересъ личный. Итакъ въ основаніи рѣшенія—одна формула или условная фикція, въ которой ничему реальному, разумному, устойчивому — нѣтъ мѣста.

Вторая половина минувшаго столѣтія была всюду эпохою преобразованій, которыя во многихъ мѣстахъ соединялись съ революціоннымъ движеніемъ, или съ преобладаніемъ доктринерства въ дѣятеляхъ преобразованія. Вслѣдствіе того во многихъ мѣстахъ преобразовательное движеніе отразилось — смѣшеніемъ понятій въ умахъ и ослабленіемъ умственной и нравственной энергіи въ обществѣ. Въ преданіяхъ и въ обычаяхъ народа таится глубокій смыслъ, отражающійся во всемъ движеніи явленій и событій прежней его исторіи. Съ разрушеніемъ этихъ обычаевъ и преданій разбивается и коренное единство духа народнаго, и единство власти, служащей его выразителемъ. Каждый гражданинъ является представителемъ личнаго своего вкуса и личныхъ стремленій: одни приверженцы формъ стараго порядка, уже утратившихъ свое значеніе; другіе — поклонники всякаго рода теорій и химерическихъ мечтаній объ устройствѣ общественномъ. Въ этомъ смѣшеніи мнѣній и стремленій, для установленія какого-нибудь порядка — берутся за законодательство — составляютъ новые кодексы, пишутъ новые законы. Такъ повсюду обычай, сила живая, свободная и способная къ самостоятельному развитію — замѣняется буквою писаннаго закона — силы, въ сущности бездушной, отрицательной, карательной и—стѣсняющей частную дѣятельность.

И эта буква законовъ, горою накопляющихся надъ народомъ, становится, во имя *свободы*, орудіемъ той или другой партіи, въ интересѣ того или другого излюбленнаго начала политики. Когда нужно, буква эта караетъ и пода-

вляетъ; когда не нужно, масса законовъ, съ торжествомъ проведенныхъ, оставляется безъ дѣйствія, и посреди всякихъ беззаконій, провозглашается имя закона, какъ верховной силы, управляющей жизнію и водворяющей *будто-бы правду!*

Притомъ — посреди непрерывной законодательной работы — трудно бываетъ сохранить единство и цѣльность въ массѣ отдѣльныхъ постановленій, пріобрѣтающихъ значеніе *закона.* Отсюда — масса законовъ, возникающихъ по отдѣльнымъ побужденіямъ, не соглашенныхъ между собою и не примыкающихъ органически къ общей системѣ законодательства и ко всему строю управленія. Такъ образуется сѣть законныхъ правилъ, подлежащихъ обязательному исполненію, которое во многихъ случаяхъ оказывается или невозможнымъ, или соединеннымъ съ нарушеніемъ другихъ правилъ, тоже имѣющихъ силу закона. И законъ мало-по-малу теряетъ значеніе нормы, руководствующей и направляющей дѣйствіе воли и распоряженіе властей, поставленныхъ для удовлетворенія существенныхъ нуждъ и потребностей населенія, для *управы,* необходимой для охраненія правъ всѣхъ и каждаго. На всякомъ шагу тотъ, кто призванъ дѣйствовать и распорядиться, долженъ боязливо осматриваться во всѣ стороны, какъ-бы не нарушить то или другое правило, ту или другую формальность, предписанную въ томъ или другомъ законѣ. Вслѣдствіе того, съ умноженіемъ законовъ, ослабляется нерѣдко необходимая для управленія энергія властей, смущается сознаніе долга, когда трудно опредѣлить предѣлы его въ отдѣльныхъ случаяхъ, и законъ, долженствующій способствовать правильному отправленію должностей, полагаетъ ему на каждомъ шагу стѣсненіе и препятствіе.

Болѣзни нашего времени.

I.

Всѣ недовольны въ наше время, и отъ постояннаго, хроническаго недовольства многіе переходятъ въ состояніе хроническаго раздраженія. Противъ чего они раздражены?— противъ судьбы своей, противъ правительства, противъ общественныхъ порядковъ, противу другихъ людей, противу всѣхъ и всего, кромѣ себя самихъ.

Мы всѣ бываемъ недовольны, когда обманываемся въ ожиданіяхъ: это недовольство разочарованія, приносимое жизнью на поворотахъ, сглаживается обыкновенно на другихъ поворотахъ тою же жизнью. Это — временная, преходящая болѣзнь, не то, что нынѣшнее недовольство — болѣзнь повальная, эпидемическая, которою заражено все новое поколѣніе. Люди выростаютъ въ чрезмѣрныхъ ожиданіяхъ, происходящихъ отъ чрезмѣрнаго самолюбія и чрезмѣрныхъ, искуственно образовавшихся потребностей. Прежде было больше довольныхъ и спокойныхъ людей, потому что люди не столько ожидали отъ жизни, довольствовались малою, средней мѣрой, не спѣшили расширять судьбу свою и ея горизонты. Ихъ сдерживало свое мѣсто, свое дѣло и сознаніе

долга, соединеннаго съ мѣстомъ и дѣломъ. Глядя на другихъ, широко живущихъ въ свое удовольствіе, маленькіе люди думали: гдѣ намъ? и на этой невозможности успокоивались. Нынѣ эта невозможность стала возможностью, доступною воображенію каждаго. Всякій рядовой мечтаетъ попасть въ генералы фортуны, попасть не трудомъ, не службою, не исполненіемъ долга и дѣйствительнымъ отличіемъ,—но попасть случаемъ и внезапною наживой. Всякій успѣхъ въ жизни сталъ казаться дѣломъ случая и удачи,—и этою мыслью всѣ возбуждены болѣе или менѣе, точно азартною игрою и надеждой на выигрышъ.

Въ экономической сферѣ преобладаетъ система кредита. Кредитъ въ наше время сталъ могущественнымъ орудіемъ для созданія новыхъ цѣнностей;—но это средство сдѣлалось доступно каждому, и, при относительной легкости его употребленія, далеко не всѣ создаваемыя цѣнности получаютъ дѣйствительное значеніе и служатъ для производительныхъ цѣлей: большею частью создаются цѣнности мнимыя, дутыя, для удовлетворенія случайныхъ и временныхъ интересовъ, съ разсчетомъ на внезапное обогащеніе. Вслѣдствіе того успѣхъ каждаго предпріятія не въ той мѣрѣ, какъ бывало прежде, зависитъ отъ личной дѣятельности, отъ способности, энергіи и знанія предпринимателя: въ общественной и экономической средѣ, около каждаго дѣла, образовалось великое множество невидимыхъ теченій, неуловимыхъ случайностей, которыхъ нельзя предвидѣть и обойти. Каждому дѣятелю приходится вступать въ борьбу не съ тѣмъ или другимъ опредѣленнымъ затрудненіемъ, но съ цѣлою сѣтью затрудненій, которыми дѣло со всѣхъ сторонъ обставлено. Разсчеты путаются, потому что данныя, съ которыми необходимо считаться, ускользаютъ отъ разсчета. Отсюда—состояніе неувѣренности, тревоги и истомы, отъ котораго всѣ болѣе или

менѣе страдаютъ. Всякая дѣятельность парализуется такимъ душевнымъ состояніемъ, въ которомъ дѣятель чувствуетъ, что не въ силахъ справиться съ обстоятельствами, что воля его и разумъ безсильны передъ окружающими его препятствіями. Энергія ослабѣваетъ, человѣкъ дѣла становится фаталистомъ и привыкаетъ разсчитывать въ успѣхѣ не на силу распоряженія и предвидѣнія, но на слѣпой случай, на удачу. Вотъ одна изъ причинъ того пессимизма, которымъ заражены столь многіе въ наше время, и отчасти причина другой, общей болѣзни—практическаго матеріализма,—потребности чувственныхъ наслажденій. Чувственные инстинкты возбуждаются съ особенной силой въ жизни, основанной на невѣріи и случайномъ, въ тревожной и лихорадочной дѣятельности.

Тѣ же явленія замѣтны и въ другихъ сферахъ общественной дѣятельности. Повсюду ея орудіемъ становится тотъ же кредитъ, повсюду создаются съ удивительною быстротою и легкостью мнимыя, дутыя цѣнности, которыя иныхъ,—при благопріятныхъ случайностяхъ, приносятъ фортуну, у другихъ—разсыпаются въ прахъ отъ столкновенія съ дѣйствительностью жизни. Примѣчательно, съ какою легкостью нынѣ создаются репутаціи, проходится, или, лучше сказать, обходится воспитательная дисциплина школы, получаются важныя общественныя должности, сопряженныя со властью, раздаются знатныя награды. Невѣжественный журнальный писака вдругъ становится извѣстнымъ литераторомъ и публицистомъ: посредственный стряпчій получаетъ значеніе пресловутаго оратора; шарлатанъ науки является ученымъ профессоромъ; недоучившійся, неопытный юнопа становится прокуроромъ, судьею, правителемъ, составителемъ законодательныхъ проектовъ; былинка, вчера только поднявшаяся изъ земли, становится на мѣсто крѣпкаго дерева...

Все это—мнимыя, дутыя цѣнности, а онѣ возникаютъ у насъ ежедневно во множествѣ на житейскомъ рынкѣ, и владѣльцы ихъ носятся съ ними точь-въ-точь какъ биржевики съ своими раздутыми акціями. Многіе проживутъ съ этими цѣнностями весь свой вѣкъ, оставаясь въ сущности пустыми, мелкими, безсильными, непроизводительными людьми. Но у многихъ эти цѣнности вскорѣ разсыпаются въ прахъ, и владѣльцы оказываются несостоятельными. Между тѣмъ самолюбіе успѣло раздуться до неестественныхъ размѣровъ, претензіи и потребности разрослись не въ мѣру, желанія раздражены,—а въ рѣшительныя минуты, когда надобно дѣйствовать, не оказывается силы, нѣтъ ни разума, ни характера, ни знанія. Отсюда множество нравственныхъ банкротствъ, которыя происходятъ въ своемъ родѣ отъ тѣхъ же причинъ, какъ и банкротства въ сферѣ экономической. Трудно исчислить, сколько гибнетъ силъ въ наше время отъ неправильнаго, уродливаго, случайнаго ихъ распредѣленія, отъ неправильнаго обращенія всяческихъ капиталовъ на нашемъ рынкѣ. Въ результатѣ являются—люди молодые, но уже надломленные, искалѣченные, разбитые жизнью. Иные не выносятъ тяготы своей и, подобно сосуду неравномѣрно нагрѣтому, лопаются: въ нетерпѣніи, они оканчиваютъ жизнь самоубійствомъ, которое, повидимому, недорого стоитъ человѣку, когда онъ привыкъ себя одного ставить центромъ своего бытія, мѣрить его матеріальною мѣрой, и чувствуетъ, что мѣра эта ускользаетъ отъ него, и разсчеты его спутались. Другіе бродятъ по свѣту, умножая собою число недовольныхъ, раздраженныхъ, возмущенныхъ противъ жизни и общества: бѣда, если ихъ накопится слишкомъ много, и откроются имъ случаи выместить свою злобу и удовлетворить свою похоть...

II.

Древніе ставили, говорятъ, скелетъ или мертвую голову посреди роскошныхъ пировъ своихъ, для напоминанія пирующимъ о смерти. Мы не имѣемъ этого обычая: мы веселимся и пируя, желаемъ далече отъ себя отбросить мысль о смерти. Тѣмъ не менѣе она сама, смерть, за плечами у каждаго, и грозный образъ ея готовъ ежеминутно воспрянуть передъ очами.

Каждый день приноситъ намъ извѣстія о самоубійствахъ, то тутъ, то тамъ случившихся, необъяснимыхъ, неразгаданныхъ, грозящихъ превратиться въ какое-то обыденное, привычное явленіе нашей общественной жизни... Страшно и подумать,—неужели мы уже привыкли къ этому явленію? Когда у насъ бывало что-либо подобное, когда цѣнилась такъ дешево душа человѣческая, и когда бывало такое общественное равнодушіе къ судьбѣ живой души, по образу Божію созданной, кровію Христовой искупленной? Богатый и бѣдный, ученый и безграмотный, дряхлый и старецъ, и юноша, едва начинающій жить, и ребенокъ, едва стоящій на ногахъ своихъ,—всѣ лишаютъ себя жизни съ непонятною, безумною легкостью—одинъ просто, другой драпируя въ послѣдній часъ себя и свое самоубійство.

Отчего это?—Оттого, что жизнь наша стала до невѣроятности уродлива, безумна и лжива; оттого, что исчезъ всякій порядокъ, пропала всякая послѣдовательность въ нашемъ развитіи: оттого, что разслабла посреди насъ всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности. Въ общественной и въ семейной жизни попортились и разстроились всѣ простыя отношенія органическія, на мѣсто ихъ протѣснились и стали *учрежденія* или *отвлеченныя начала,* большею частью ложныя или лживо приложенныя къ жизни и дѣй-

ствительности. Простыя потребности духовной и тѣлесной природы уступили мѣсто множеству искуственныхъ потребностей, и простыя ощущенія замѣнились сложными, искуственными, обольщающими и раздражающими душу. Самолюбія, выроставшія прежде ровнымъ ростомъ, въ соотвѣтствіи съ обстановкой и условіями жизни, стали разомъ возникать, разомъ подниматься во всю безумную величину человѣческаго „*я*“, не сдерживаемаго никакою дисциплиной, разомъ вступать въ безмѣрную претензію отдѣльнаго „*я*“ на жизнь, на свободу, на счастье, на господство надъ судьбой и обстоятельствами. Умы—крѣпкіе и слабые, высокіе и низкіе, большіе и мелкіе—всѣ одинаково, утративъ способность познавать невѣжество свое, способность учиться т. е. *покориться законамъ жизни*,—разомъ поднялись на мнимую высоту, съ которой каждый большой и малый считаетъ себя судьей жизни и вселенной.

Такъ накопилась въ нашемъ обществѣ необъятная масса лжи, проникшей во всѣ отношенія, заразившей самую атмосферу, которою мы дышемъ, среду, въ которой движемся и дѣйствуемъ, мысль, которою мы направляемъ свою волю, и слово, которымъ выражаемъ мысль свою. Посреди этой лжи, что можетъ быть, кромѣ хилаго возрастанія, хилаго существованія и хилаго дѣйствованія? Самыя представленія о жизни и о цѣляхъ ея становятся лживыми, отношенія спутываются, и жизнь лишается той *равномѣрности*, которая необходима для спокойнаго развитія и для нормальной дѣятельности. Мудрено ли, что многіе не выдерживаютъ такой жизни и теряютъ окончательно равновѣсіе нравственныхъ и умственныхъ силъ, необходимое для жизни? Хрустальный сосудъ, равномѣрно нагрѣваемый, можетъ выдержать высокую степень жара: нагрѣтый неравномѣрно и внезапно—онъ лопается. Не то же ли происходитъ у насъ и съ тѣми несчастными самоубійцами, о коихъ мы ежедневно слышимъ?

Одни погибаютъ отъ внутренней лжи своихъ представленій о жизни, когда, при встрѣчѣ съ дѣйствительностью, представленія эти и мечты разсыпаются въ прахъ: несчастный человѣкъ, не зная кромѣ своего „*я*“ никакой другой опоры въ жизни, не имѣя внѣ своего „*я*“ никакого нравственнаго начала для борьбы съ жизнью, бѣжитъ отъ борьбы и разбиваетъ себя. Другіе—погибаютъ оттого, что не въ силахъ примирить свой, можетъ быть возвышенный, идеалъ жизни и дѣятельности съ ложью окружающей ихъ среды, съ ложью людей и учрежденій; разувѣрялись въ томъ, во что обманчиво вѣровали, и не имѣя въ себѣ другой истинной вѣры,—они теряютъ равновѣсіе и малодушно бѣгутъ вонъ изъ жизни... А сколько такихъ, коихъ погубило внезапное и неравномѣрное возвышеніе, погубила *власть*, къ которой они легкомысленно стремились, которую взяли на себя—не по силамъ? Наше время—есть время мнимыхъ, фиктивныхъ, искуственныхъ величинъ и цѣнностей, которыми люди взаимно прельщаютъ другъ друга; дошло до того, что дѣйствительному достоинству становится иногда трудно явить и оправдать себя, ибо на рынкѣ людского тщеславія имѣетъ ходъ только дутая блестящая монета. Въ такую эпоху люди легко берутся за все, воображая себя въ силахъ со всѣмъ справиться,—и успѣваютъ при нѣкоторомъ искуствѣ проникать, безъ большихъ усилій, на властное мѣсто. Властное званіе соблазнительно для людского тщеславія; съ нимъ соединяется представленіе о почетѣ, о льготномъ положеніи, о правѣ раздавать честь и создавать изъ ничего иныя власти. Но каково бы ни было людское представленіе, нравственное начало власти одно, непреложное: „Кто хочетъ быть первымъ, тотъ долженъ быть всѣмъ слугою“. Если бы всѣ объ этомъ думали,—кто пожелалъ бы брать на себя невыносимое бремя? Однако, всѣ готовы съ охотою идти во власть, и это *бремя*

власти—многихъ погубило и раздавило, ибо въ наше время задача власти—усложнилась и запуталась чрезвычайно, особливо у насъ. И такъ много есть людей, передъ коими власть, легкомысленно взятая, легкомысленно возложенная, становится роковымъ сфинксомъ и ставитъ свою загадку. Кто не съумѣлъ разгадать ее,—тотъ погибаетъ.

III.

Для того чтобъ уразумѣть, необходимо подойти къ предмету и стать на вѣрную точку зрѣнія: все зависитъ отъ этого, и всѣ человѣческія заблужденія происходятъ отъ того, что точка зрѣнія невѣрная. Мы привыкли довѣряться своему впечатлѣнію, а впечатлѣніе получаемъ скользя по поверхности предмета,—что̀ мы умѣемъ дѣлать съ ловкостью и быстротою. Довольствуясь впечатлѣніемъ, мы спѣшимъ обнаружить его передъ всѣми, по свойственному намъ нетерпѣнію; высказавшись, соединяемъ съ нимъ свое самолюбіе. Затѣмъ лѣнь, совокупно съ самолюбіемъ, не допускаетъ насъ вглядѣться ближе въ сущность предмета и повѣрить свою точку зрѣнія. Итакъ, по передачѣ впечатлѣній между воспріимчивыми натурами, образуется, развивается и растетъ заблужденіе, объемлющее цѣлыя массы и нерѣдко принимаемое въ смыслѣ общественнаго мнѣнія.

Это вѣрно и въ маломъ и въ большомъ. Цѣлыя системы міровоззрѣнія господствовали въ теченіе вѣковъ, составляя неоспоримое убѣжденіе, доколѣ не открывалось наконецъ, что онѣ ложны, ибо исходятъ изъ невѣрной точки зрѣнія. Такова была Птоломеева астрономическая система. Люди въ теченіе вѣковъ упорно смотрѣли на вселенную сбоку, искоса, потому что утвердили на землѣ свою цен-

тральную точку зрѣнія, потому что земля казалась имъ такъ безусловно необъятна: иного центра не могли они себѣ и представить. Система была исполнена путаницы и противорѣчій, для соглашенія коихъ изобрѣтались наукою искуственные циклы, эпициклы и т. п. Вѣка проходили такъ, пока явился Коперникъ и вынулъ фальшивый центръ изъ этой системы. Все стало ясно, какъ скоро обнаружилось, что вселенная не обращается около земли, что земля совсѣмъ не имѣетъ господственнаго значенія, что она не что иное, какъ одна изъ множества планетъ и зависитъ отъ силъ, безконечно превышающихъ ее мощью и значеніемъ.

Птоломеева система давно отжила свой вѣкъ: но вотъ — какъ понять, что въ наше время возстановляется господство ея въ иномъ кругѣ идей и понятій? Развѣ не впадаетъ въ подобную же путаницу новѣйшая философія, опять отъ той-же грубой ошибки, что *человѣка* принимаетъ она за центръ вселенной и заставляетъ всю жизнь обращаться около него, подобно тому, какъ въ ту пору наука заставляла солнце обращаться около земли. Видно, ничто не ново подъ луною. Это *старое* выдается за новость, за послѣднее слово науки, въ коей слѣдуютъ, одно за другимъ, противорѣчія, отреченія отъ прежнихъ положеній, новыя, категорически высказываемыя положенія, опроверженія на нихъ, съ той же авторитетностью высказываемыя, поразительныя открытія, о коихъ вскорѣ открывается, что лучше и не помнить объ нихъ. Все это называется прогрессомъ, движеніемъ науки впередъ. Но, по правдѣ, развѣ это не тѣ же самые циклы и эпициклы Птоломеевой системы? И когда явится новый Коперникъ, который снимет очарованіе и покажетъ въявь, что центръ не въ человѣкѣ, а внѣ его, и безконечно выше и человѣка, и земли, и цѣлой вселенной?

И развѣ не то же самое мы видимъ, напримѣръ, въ исторіи всѣхъ сектъ, начиная съ гностиковъ или аріанъ, и кончая пашковцами, сютяевцами, толстовцами и нигилистами? Вся причина въ томъ, что человѣкъ, слѣдуя впечатлѣнію, становится на ложную точку зрѣнія; въ своемъ *я* утверждаетъ онъ эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него движется,—и онъ ищетъ правды во всемъ и всюду, на все и всѣхъ негодуетъ, все обличаетъ, исключая себя, съ тѣми же грѣхами и страстями.... Какое странное, какое роковое заблужденіе!

IV.

Упорство догматическаго вѣрованія всегда было и, кажется, будетъ удѣломъ бѣднаго, ограниченнаго человѣчества, и люди широкой, глубокой мысли, широкаго кругозора, всегда будутъ въ немъ исключеніемъ. Одни вѣрованія уступаютъ мѣсто другимъ—мѣняются догматы, мѣняются предметы фанатизма. Въ наше время умами владѣетъ, въ такъ называемой интеллигенціи, вѣра въ общія начала, въ логическое построеніе жизни и общества по общимъ началамъ. Вотъ новѣйшіе фетиши, замѣнившіе для насъ старыхъ идоловъ, но, въ сущности, и мы, такъ же какъ прапрадѣды наши, творимъ себѣ кумира и ему покланяемся. Развѣ не кумиры для насъ такія понятія и слова, какъ, напримѣръ, *свобода, равенство, братство,* со всѣми своими примѣненіями и развѣтвленіями? Развѣ не кумиры для насъ общія положенія, добытыя учеными и возведенныя въ догматъ, напримѣръ, происхожденіе видовъ, борьба за существованіе и т. п.?...

Вѣра въ общія начала есть великое заблужденіе нашего вѣка. Заблужденіе состоитъ именно въ томъ, что мы вѣруемъ въ нихъ догматически, безусловно, забывая о жизни

со всѣми ея условіями и требованіями, не различая ни времени, ни мѣста, ни индивидуальныхъ особенностей, ни особенностей исторіи.

Жизнь—не наука и не философія; она живетъ сама по себѣ, живымъ организмомъ. Ни наука, ни философія не господствуютъ надъ жизнью, какъ нѣчто внѣшнее: онѣ черпаютъ свое содержаніе изъ жизни, собирая, разлагая и обобщая явленія жизни; но странно было бы думать, что онѣ могутъ обнять и исчерпать жизнь со всѣмъ ея безконечнымъ разнообразіемъ, дать ей содержаніе, создать для нея новую конструкцію. Въ примѣненіи къ жизни всякое положеніе науки и философіи имѣетъ значеніе *вѣроятнаго* предположенія, гипотезы, которую необходимо всякій разъ повѣрить здравымъ смысломъ и искуснымъ разумомъ, по тѣмъ явленіямъ и фактамъ, къ которымъ требуется приложить ее: иное примѣненіе общаго начала было бы насиліемъ и ложью въ жизни. Одно то уже должно смутить насъ, что въ наукѣ и философіи очень мало безспорныхъ положеній: почти всѣ составляютъ предметъ пререканій между школами и партіями, почти всѣ колеблются новыми опытами, новыми ученіями. Нѣтъ ни одной *прикладной къ жизни* науки, которая представляла бы цѣльную одежду: всякая сшита изъ лоскутковъ, болѣе или менѣе искусно, съ измѣненіемъ покроя по модѣ,—а иногда куски эти висятъ въ клочкахъ, разодранныхъ школьною полемикою различныхъ ученій. Между тѣмъ представители каждой школы въ наукѣ вѣруютъ въ положенія свои догматически и требуютъ безусловнаго примѣненія ихъ къ жизни. Стоитъ привесть въ примѣръ хоть политическую экономію: экономисты составили себѣ репутацію величайшихъ педантовъ и догматиковъ потому, что хотятъ непремѣнно вторгнуться въ жизнь, въ законодательство, въ промышленность непререкаемою властью, со своими общими законами

производства и распредѣленія силъ и капиталовъ; но при этомъ всѣ болѣе или менѣе забываютъ о живыхъ силахъ и явленіяхъ, которыя въ каждомъ данномъ случаѣ составляютъ элементъ, *противодѣйствующій* закону, возмущающій его операцію. Они вывели формулу изъ великаго множества фактовъ и явленій, но не могли исчерпать всего безконечнаго ихъ разнообразія, всего ряда комбинацій, которыя въ каждомъ данномъ случаѣ представляются. И эти формулы были великимъ благодѣяніемъ для науки, которая, благодаря имъ, уяснилась и двинулась впередъ, но ни одна изъ нихъ не составляетъ неподвижнаго, безусловнаго закона для жизни: каждая служитъ только указаніемъ для изслѣдованія, каждая выражаетъ только извѣстное движеніе, направленіе силы, которая въ данномъ случаѣ непремѣнно возмущается или уравновѣшивается другими силами, дѣйствующими въ противоположныхъ направленіяхъ. Исчислить математически дѣйствіе этихъ силъ невозможно, ихъ можно распознать только вѣрнымъ чутьемъ практическаго смысла, и потому общія заключенія и выводы политической экономіи, хотя и сдѣланные изъ безспорныхъ фактовъ, имѣютъ только предположительное, гипотетическое значеніе, а не значеніе рѣшительнаго, безусловнаго закона. Такъ и будетъ разумѣть ихъ всегда истинный ученый, незараженный педантизмомъ книжной науки. Но таковы далеко не всѣ ученые. Что же сказать о массѣ, о тѣхъ поверхностныхъ читателяхъ, законодателяхъ, юристахъ, администраторахъ, которые большею частію *слышали звонъ, да не знаютъ, гдѣ онъ*, которые почерпаютъ изрѣдка все свое знаніе изъ нѣсколькихъ страницъ руководства, изъ современной журнальной статьи, и любятъ, безъ дальнихъ изслѣдованій находить въ минуту для каждой задачи готовое рѣшеніе въ статьѣ указателя за номеромъ и печатью? Для нихъ каждое общее положеніе служитъ

непререкаемымъ „авторитетомъ науки," дешевымъ средствомъ для готоваго рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ жизни и удобнымъ оружіемъ, которымъ отражаются всѣ аргументы здраваго смысла, опровергаются заразъ всѣ факты исторіи и практики. Благодаря этимъ-то общимъ положеніямъ и началамъ, нынѣ такъ легко стало самому пустому и поверхностному уму, самому бездѣльному и равнодушному пролазу, съ помощью фразы, прослыть за глубокаго философа, политика, администратора, и одержать дешевую побѣду надъ здравымъ смысломъ и опытомъ. Такой ученый можетъ вспрыгнуть разомъ на „высоту науки и современной мысли". На этой высотѣ кто въ силахъ ему противиться?

Масса *не можетъ* принять общаго положенія въ истинномъ, условномъ его значеніи: разумѣнію массы доступно всякое правило, всякое явленіе, только въ живомъ, конкретномъ образѣ и представленіи. Великая ошибка нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы, воспринимая сами съ чужого голоса фальшивую вѣру въ общія отвлеченныя положенія, обращаемся съ ними къ народу. Это—новая игра въ общія понятія, пущенная въ ходъ идеалистами народнаго просвѣщенія въ наше время, игра—слишкомъ опасная потому, что она ведетъ къ развращенію народнаго сознанія. Въ эту игру играетъ, къ сожалѣнію, слишкомъ часто, съ народомъ—наша *школа;* но прежде всего въ нее начали играть народныя правительства, и многія уже дорого за нее поплатились,—поплатились *правдою нравственнаго отношенія* къ народу. Одна ложь производитъ другую; когда въ народѣ образуется ложное представленіе, ложное чаяніе, ложное вѣрованіе, правительству, которое само заражено этою ложью, трудно вырвать ее изъ народнаго понятія; ему приходится считаться съ нею, играть съ нею вновь и поддерживать свою силу въ народѣ искуственно, новымъ сплетеніемъ лжи въ учре-

жденіяхъ, въ рѣчахъ, въ дѣйствіяхъ,—сплетеніемъ, неизбѣжно порожденнымъ первою ложью.

Это можно видѣть всего явственнѣе на примѣрѣ Франціи. Въ прошломъ столѣтіи фантазія идеалистовъ-философовъ издала новое евангеліе для человѣчества,—евангеліе, которое все составилось изъ идеализацій и отвлеченныхъ обобщеній. Школа Руссо показала человѣчеству въ розовомъ свѣтѣ натуральнаго человѣка и провозгласила всеобщее довольство и счастіе на землѣ—по природѣ; она раскрыла передъ всѣми вновь разгаданныя, будто бы, тайны общественной и государственной жизни, и вывела изъ нея мнимый законъ контракта между народомъ и правительствомъ. Появилась знаменитая *схема* народнаго счастія, изданъ рецептъ мира, согласія и довольства для народовъ и правительствъ. Этотъ рецептъ построенъ былъ на чудовищномъ обобщеніи, совершенно отрѣшенномъ отъ жизни, и на самой дикой, самой надутой фантазіи; тѣмъ не менѣе, эта ложь, которая, казалось, должна была разсыпаться при малѣйшемъ прикосновеніи съ дѣйствительностью, заразила умы страстнымъ желаніемъ примѣнить ее къ дѣйствительности и создать, на основаніи рецепта, новое общество, новое правительство. Еще шагъ—и изъ теоріи Руссо вырождается знаменитая формула: *свобода, равенство, братство*. Эти понятія заключаютъ въ себѣ вѣчную истину нравственнаго, идеальнаго закона, *въ нераздѣльной связи съ вѣчною идеей долга и жертвы*, на которой держится, какъ живое тѣло на костяхъ, весь организмъ нравственнаго міросозерцанія. Но когда эту формулу захотѣли обратить въ обязательный законъ для общественнаго быта, когда изъ нея захотѣли сдѣлать *формальное право*, связующее народъ между собою и съ правительствомъ во внѣшнихъ отношеніяхъ, когда ее возвели въ какую-то новую религію для народовъ и правителей,—она оказалась роковою ложью,

и идеальный законъ любви, мира и терпимости, сведенный на почву внѣшней законности, явился закономъ насилія, раздора и фанатизма. Общія положенія эти брошены были въ массу народную не какъ евангельская проповѣдь любви, не какъ воззваніе къ долгу, во имя нравственнаго идеала, но какъ слово завѣта между правительствомъ и народомъ, какъ объявленіе новой эры естественнаго блаженства, какъ торжественное обѣтованіе счастья. *Иначе не могъ народъ ни принять, ни понять это слово.* Масса не въ состояніи философствовать; и свободу, и равенство, и братство она приняла *какъ право свое*, какъ состояніе, ей присвоенное. Какъ ей, послѣ того, помириться со всѣмъ, что составляетъ бѣдствіе жалкаго бытія человѣческаго — съ идеей бѣдности, низкаго состоянія, лишенія, нужды, самоограниченія, повиновенія? Терпѣть не возможно, масса ропщетъ, негодуетъ, протестуетъ, волнуется, ниспровергаетъ учрежденія и правительства, не сдержавшія словъ, не осуществившія ожиданій, возбужденныхъ фантастическимъ представленіемъ, созидаетъ новыя учрежденія и вновь разрушаетъ ихъ, бросается къ новымъ властителямъ, отъ которыхъ заслышала то же льстивое слово, и — низвергаетъ ихъ, когда и они не въ состояніи удовлетворить ее. И править этою массою стало уже невозможно прямымъ отношеніемъ власти, безъ льстивыхъ словъ, безъ льстивыхъ учрежденій; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкій и ужасный видъ хаоса въ общественномъ учрежденіи: съ шумомъ мечутся во всѣ стороны волны страстей, успокоиваясь на минуту, подъ волшебные звуки словъ: свобода, равенство, публичность, верховенство народное... и кто умѣетъ искусно и во-время играть этими словами, тотъ становится народнымъ властителемъ...

V.

Въ древнемъ Римѣ разсѣлась однажды земля: открылась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь городъ. Какъ ни трудились, какъ ни старались поправить бѣду,—ничто не удавалось. Тогда обратились къ оракулу; оракулъ отвѣтилъ, что пропасть закроется, когда Римъ принесетъ ей въ жертву первую свою драгоцѣнность. Извѣстно, что затѣмъ послѣдовало. Курцій, первый гражданинъ Рима, доблестный изъ доблестныхъ, бросился въ пропасть, и она закрылась.

И у насъ, въ новомъ мірѣ, открывается страшная бездонная пропасть,—пропасть пауперизма, отдѣляющая бѣднаго отъ богатаго непроходимою бездной. Чего мы не повергаемъ въ нее для того, чтобы ее наполнить! цѣлыми возами деньги и всяческіе капиталы, массу проповѣдей и назидательныхъ книгъ, потоки энтузіазма, сотни и тысячи придуманныхъ нами общественныхъ учрежденій—и все пропадаетъ въ ней, и бездна зіяетъ передъ нами по-прежнему. Нѣтъ ли и у насъ оракула, который возвѣстилъ бы намъ вѣрное средство? Слово этого оракула давно сказано и всѣмъ намъ знакомо: „заповѣдь новую даю вамъ—да любите другъ друга. Какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы другъ друга любите". Еслибъ умѣли мы углубиться въ это слово и взойти на высоту его, еслибъ рѣшились мы бросить въ бездну то, что всего для насъ драгоцѣннѣе—наши теоріи, наши предразсудки, наши привычки, связанныя съ исключительностью житейскаго положенія, въ которомъ каждый утвердилъ себя,—мы принесли бы себя самихъ въ жертву бездны,—и она навсегда бы закрылась.

VI.

Самое правое чувство въ душѣ человѣческой остается истиннымъ чувствомъ лишь дотолѣ, пока держится въ *свободѣ* и охраняется *простотою*: что просто, только то право. Но камень преткновенія для всякаго простого чувства — это отраженіе въ самосознаніи человѣка — это рефлексія. Чувство пріобрѣтаетъ особенную силу, когда укрѣпляется въ душѣ сознаніемъ, объединяется съ идеею; но тутъ же оно подвергается опасности пережить себя въ идеѣ, поколебаться въ простотѣ своей. Случается, что чувство, опираясь на идею и обобщаясь въ ней, разрѣшается въ формулу сознанія — и въ ней выдыхается. Форма, какъ и буква, можетъ убить духъ животворящій. Форма обманываетъ, потому что подъ формою незамѣтно развивается лицемѣріе, самообольщеніе человѣческаго *я*. Что свѣтлѣе, что драгоцѣннѣе, что плодотворнѣе простого чувства любви въ душѣ человѣческой! Но съ той минуты, какъ оно соединилось съ идеей, — ему предстоитъ опасность отъ той же рефлексіи. И оно можетъ создать для себя форму, разбиться на виды, пути, категоріи, порядки, ученія. Такъ приходитъ, наконецъ, такая минута, что не чувство простое и цѣльное наполняетъ душу и оживляетъ ее, — а бѣдное *я* человѣческое начинаетъ воображать, что оно владѣетъ чувствомъ, или идеей чувства, служитъ его *носителемъ* и дѣятелемъ. Здѣсь конецъ простотѣ, здѣсь начинается разложеніе чувства и легко можетъ перейти въ лицемѣріе. Умножится, можетъ быть, количество дѣлъ любви, установятся въ нихъ порядки, но простоты чувства уже нѣтъ, — благоуханіе его пропало.

Приходятъ въ голову эти мысли, когда смотришь на дѣятельность нашихъ организованныхъ благотворительныхъ

учрежденій и обществъ, съ ихъ уставами, собраніями, почетными членами, почетными наградами и проч. Все учрежденіе по идеѣ посвящено любви и благотворительности, но при видѣ происходящихъ въ немъ явленій, нерѣдко спрашиваешь: гдѣ же обрѣтается тутъ мѣсто простому чувству любви сострадательной и дѣятельной? Видишь собраніе, на коемъ произносятся рѣчи, видишь мужскіе и дамскіе комитеты, куда съѣзжаются со скукой и равнодушіемъ лица, вовсе незнакомыя съ дѣломъ, обсуждать какія-то правила и параграфы, видишь бумаги, составленныя секретаремъ, коему выпрашиваются за то награды и пособія; слышишь напыщенныя разсужденія самозванныхъ педагоговъ о школьныхъ системахъ и методахъ преподаванія: видишь—о, верхъ общественнаго лицемѣрія!—благотворительные базары, на конхъ иная продавщица-дама, ничего отъ себя не жертвующая, носитъ на себѣ костюмъ, стоющій иной разъ не менѣе того, что выручается отъ цѣлой продажи.—и это называется дѣломъ любви христіанской!...

Это любовь, въ видѣ общественнаго учрежденія. Но вотъ еще—*правда*, правда, на которой міръ стоитъ и держится, правда, безъ которой жизнь становится какимъ-то маревомъ дикаго воображенія,—чѣмъ она является въ новѣйшей, искуственной, выглаженной и выстроганной по европейской модѣ—формѣ судебнаго учрежденія! Мы видимъ машину для *искуственнаго дѣланія* правды, но самой правды не видно въ торжественной сустѣ машиннаго производства, не слышно въ шумѣ колесъ громаднаго механизма. Вы ищете нравственной силы—увы! едвали не вся сила, какая есть въ дѣйствіи машины, уходитъ на *треніе* колесъ, совершающихъ непрерывное движеніе,—едвали не всѣ нравственныя усилія дѣятелей уходятъ на *смазку* этихъ колесъ и проводниковъ къ нимъ. Засѣдаютъ судьи, въ величавомъ

сознаніи своего жреческаго достоинства, и, подобно древнимъ авгурамъ, слушаютъ, сколько вмѣститъ вниманіе; ораторствуютъ адвокаты, проводя величавыя слова и громкія фразы по узенькимъ корридорамъ и трубочкамъ хитросплетеннаго мышленія, и заранѣе взвѣшивая на звонкую монету каждый изъ длинныхъ своихъ періодовъ; тянутся длинные, томительные часы словесной пытки, а между тѣмъ главная жертва этой пытки, злосчастная *правда*, должна переходить въ обѣтованный рай по тонкому волоску Магометова моста: горе тому, кто положится при этомъ переходѣ на свою собственную силу. Правъ только тотъ, кто, изучивъ прежде въ совершенствѣ искуство акробата, съумѣетъ не оступиться и не упасть на дорогѣ....

VII.

Вся жизнь человѣческая — исканіе счастья. Неутолимая жажда счастья вселяется въ человѣка съ той минуты, какъ онъ начинаетъ себя чувствовать, и не истощается, не умираетъ, до послѣдняго издыханія. Надежда на счастье не имѣетъ конца, не знаетъ предѣла и мѣры: она безгранична, какъ вселенная, и нѣтъ ей конечной цѣли, потому что начало ея и конецъ — въ безконечномъ. Это безконечное стремленіе къ счастью одна монгольская сказка олицетворяетъ въ видѣ матери, потерявшей любимую дочь, единственное дитя свое. Грубая фантазія степного жителя представляетъ эту мать въ видѣ старой женщины съ однимъ глазомъ на самой макушкѣ. Съ воплемъ ходитъ она по свѣту, отыскивая потерянное дитя свое, и подходитъ по временамъ то къ тому, то къ другому предмету — туда, гдѣ ей чудится, не дитя-ли свое она встрѣтила. Она хватаетъ руками свою находку, уноситъ ее и потомъ высоко поднимаетъ надъ головою, чтобы

удостовѣриться, точно-ли нашла свое сокровище. Но лишь только вглядывается въ нее единственнымъ глазомъ, какъ видитъ, что ошиблась, и съ отчаяніемъ бросаетъ на землю и разбиваетъ находку свою, и опять идетъ по свѣту на поискъ. Счастье, котораго ищетъ человѣкъ, опредѣляетъ судьбу его, отзывается въ немъ *несчастьемъ*. Несчастье человѣка,— сказано у Карлейля,— происходитъ отъ его величія: отъ того онъ несчастенъ, что въ немъ самомъ — безконечное, и это безконечное — человѣкъ, при всемъ своемъ искусствѣ, при всемъ стараніи, не въ силахъ совершенно заключить и закопать въ конечномъ.

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно необъятно. Но отчего же вмѣстѣ съ сознаніемъ этой необъятной цѣли, въ душѣ человѣческой такъ живо сознаніе возможности счастья? Отчего человѣкъ, и отрицаясь отъ настоящаго, и отворачиваясь съ отчаяніемъ отъ будущаго, обращается къ прошедшему и находитъ эту возможность тамъ? У рѣдкаго человѣка нѣтъ въ прошедшемъ такой поры, про которую говоритъ дума его: „а счастье было такъ возможно, такъ близко“!

Счастье отлетѣло отъ человѣка съ той минуты, какъ онъ захотѣлъ *овладѣть* безконечнымъ, сдѣлать его своимъ, *познать* его. „Будете знать добро и зло, будете какъ боги“. Этого знанія не получилъ онъ, но въ немъ произошло *раздвоеніе*, и съ тѣхъ поръ одна половина его ищетъ другую для того, чтобы возстановить единство и цѣлость сознанія и жизни.

Если есть гдѣ что-либо подходящее къ званію счастья, такъ есть развѣ у иныхъ, немногихъ, въ той порѣ простого бытія и простого сознанія, когда душа ощущаетъ жизнь въ себѣ и покоится въ чувствѣ жизни, не стремясь знать, но отражая въ себѣ безконечное, какъ капля чистой воды на

вѣтвь отражаетъ въ себѣ солнечный лучъ. Если есть у кого такая пора, дай только Боже, чтобъ она длилась дольше, чтобъ самъ человѣкъ по своей волѣ не стремился изъ судьбы своей въ новые предѣлы. Дверь такого счастья *не внутрь отворяется*: нажимая ее *изнутри*, ее не удержишь на мѣстѣ. Она *отворяется изнутри*, и кто хочетъ, чтобъ она держалась, *не долженъ трогать ее.*

Прошедшее свое мы осудили, осудили за то, что не распознаемъ въ немъ тѣхъ *принциповъ*, которые составляютъ для насъ мѣрило истины и благополучія. По кодексу этихъ принциповъ, изъ коихъ главный есть *равенство*,—хотимъ мы передѣлать жизнь, отвести въ другую сторону старые ключи ея, которыми питались прежнія поколѣнія, расположить ее вновь по сочиненному нами плану—и составляемъ и пересоставляемъ этотъ планъ по правиламъ науки, при чемъ нерѣдко обличаемъ въ себѣ глубокое невѣжество въ той самой наукѣ, по которой планы составляются. Не бѣда!—говоримъ мы смѣло:—жизнь исправитъ ошибки нашего плана, и противорѣчимъ себѣ сами, ссылаясь на жизнь, которой знать не хотѣли, когда принимались за планъ свой. Жизнь на каждомъ шагу обличаетъ насъ слѣдами неправды, вмѣсто той правды, которую мы обѣщали внести въ нее; явленіями эгоизма, корыстолюбія, насилія,—вмѣсто любви и мира: язвами бѣдности и оскудѣнія, вмѣсто богатства и умноженія силы; жалобами и воплями недовольства—вмѣсто того довольства, которое мы пророчили. Не бѣда!—повторяемъ мы громче и громче, стараясь заглушить всѣ вопросы, сомнѣнія и возраженія:—лишь бы *принципы* нашего вѣка были сохранены и поддержаны. Что нужды, если страдаетъ современное поколѣніе; что за бѣда, если вмѣсто крѣпкихъ людей являются отовсюду дряпные людишки; пусть будетъ сегодня плохо: завтра, послѣ завтра будетъ лучше. Новыя поколѣнія про-

цвѣтутъ на развалинахъ стараго,—и наши принципы оправдаютъ себя блистательно въ новомъ мірѣ, въ потомствѣ, въ будущемъ... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и дѣятельность, осуществятся же когда-нибудь послѣ... Увы! развѣ осуществятся онѣ въ такомъ смыслѣ, какъ случилось со Свифтомъ: въ молодости онъ *устроилъ домъ сумасшедшихъ*, и подъ старость нашелъ себѣ пріютъ *въ этомъ самомъ домѣ*.

VIII.

Какъ рѣдко общественныя отношенія наши бываютъ просты и непосредственны! Какъ рѣдко приходится, встрѣчая людей, вести и продолжать бесѣду съ ними простымъ и естественнымъ обмѣномъ мысли! Когда живешь въ такъ называемомъ обществѣ, приходится ежеминутно вступать въ отношенія съ людьми, съ которыми у тебя нѣтъ ничего общаго, кромѣ человѣчества. Некогда останавливаться, некогда высматривать и выжидать молча, въ спокойномъ состояніи: если бы я захотѣлъ поступить такъ, другой, кто ко мнѣ подошелъ, кого познакомили со мною, не допустилъ бы до этого. Надобно въ ту же минуту завязывать сношеніе, и приличіе требуетъ, чтобы оно казалось естественнымъ. Надобно говорить, и разговоръ вступаетъ немедленно на дряблую почву легкой пошлости, на обмѣнъ фразъ о предметахъ (какъ въ свидѣтельствѣ сумасшедшаго) „до обыкновенной жизни касающихся“. Люди подходятъ другъ къ другу со стороны „пошлости“, которой довольно у каждаго,—и нерѣдко случается, что при всѣхъ дальнѣйшихъ встрѣчахъ случайная ихъ бесѣда не сходитъ съ этой почвы, на которую оба сразу ступили. Но бываетъ и еще хуже: люди съ перваго шага начинаютъ кривляться и ломаться другъ

передъ другомъ. Это случается всего чаще при *неравныхъ* встрѣчахъ, т. е. когда одинъ представляя себѣ въ другомъ нѣчто особенное или знаменитое, съ своей точки зрѣнія, желаетъ поставить себя вровень съ нимъ на соціальной почвѣ, не ударить лицомъ въ грязь, выказаться. Съ другой стороны, кто же не воображаетъ въ себѣ самомъ какой-нибудь особенности или знаменитости? Такъ начинается дуэль двухъ маленькихъ, иногда очень маленькихъ *я*, и у каждаго всѣ помышленія направлены къ тому, чтобы выказать себя, не уступить другому, возбудить о себѣ въ другомъ, по возможности, блестящее представленіе. Блестѣть предполагается обыкновенно умомъ,—а кто не признаетъ въ себѣ ума, или остроумія, или житейской опытности, замѣняющей, а иногда и превосходящей умъ? Какая обширная практика, какое нескончаемое поприще для пошлости мелкаго *самолюбія!*

Къ ней присоединяется еще пошлость *любезности*. Всякая добродѣтель общественной жизни имѣетъ оборотную сторону пошлости, и эта сторона выказывается тамъ, гдѣ добродѣтель принимаетъ видъ общественнаго приличія общественнаго обычая, размѣниваясь на мелкую монету извѣстнаго чекана. Сколько выпущено у насъ въ обращеніе такой размѣнной монеты, и какъ уже вся она перетерлась, какая стала слѣпая, переходя ежеминутно изъ рукъ въ руки — и черезъ какія руки! Лучшія слова потеряли свое первоначальное значеніе, переставъ быть правымъ выраженіемъ мысли; самыя глубокія истины опошлились, являясь въ рубищѣ ходячаго слова; драгоцѣннѣйшія чувства износились и истрепались на людяхъ, выставляясь напоказъ встрѣчному и поперечному.

Надо быть умнымъ, надо быть любезнымъ — вотъ два главные мотива, возбуждающіе нашу дѣятельность въ бесѣдной встрѣчѣ. И мы привыкли явную пошлость перваго мотива оправдывать видимою уважительностью послѣдняго.

Совѣсть шепчетъ: сколько говорилъ ты вздору! какъ ты рисовался! сколько притворнаго напускалъ на себя! какъ игралъ словами!—У насъ готово возраженіе: я старался быть *любезнымъ;* надобно было оживить рѣчь въ собраніи, пособить хозяину или хозяйкѣ устроить, чтобы не скучно было.

Однако, совѣсть права, и пошлость напрасно стала бы прикрывать и оправдывать себя любезностью. Изъ-за одной любезности,—безъ побужденій мелкаго самолюбія,—не сталъ бы человѣкъ, уважающій себя и слово свое, въ теченіе цѣлыхъ часовъ играть въ пошлую игру фразами, настраивать себя, по мѣрѣ надобности, на тонъ любви и негодованія, ходить на ходуляхъ, раскрашивать придуманные разсказы и сочиненныя ощущенія и давать волю насмѣшкѣ и остроумному злословію тамъ, гдѣ открывались виды на слабости и грѣшки ближняго.

IX.

Девятнадцатый вѣкъ справедливо гордится тѣмъ, что онъ вѣкъ преобразованій. Но преобразовательное движеніе, во многихъ отношеніяхъ благодѣтельное, составляетъ въ другихъ отношеніяхъ и язву нашего времени. Ускоренное обращеніе анализующей и преобразующей мысли въ нашихъ жилахъ дожило, кажется, до лихорадочнаго состоянія, отъ котораго едва-ли не пора уже намъ лѣчиться успокоеніемъ и діэтой; а покуда продолжаются еще пароксизмы возбужденной мысли, трудно повѣрить, чтобы дѣятельность ея была здоровая и плодотворная. Жизнь пошла такъ быстро, что многіе съ ужасомъ спрашиваютъ: куда мы несемся и гдѣ мы успокоимся? Если мы летимъ вверхъ, то уже скоро захватитъ у насъ дыханіе; если внизъ—то не падаемъ-ли мы въ бездну?

Съ идеей преобразованія происходитъ то же, что со всякою, новою, въ существѣ глубокою и истинною, идеей, когда она *пошла въ ходъ*. Въ началѣ она является достояніемъ немногихъ, глубокихъ умовъ, горящихъ огнемъ мысли, прожившихъ и прочувствовавшихъ глубоко то, что проповѣдуютъ и къ осуществленію чего стремятся. Потомъ, когда, распространяясь дальше и дальше, идея становится достояніемъ массы и переходитъ въ то состояніе, въ которомъ слово принимается на вѣру, лишь только произнесено, идея переходитъ на рынокъ и на этомъ рынкѣ опошливается, мельчаетъ. Въ минуту сильнаго возбужденія, великіе поборники движенія поднимаютъ *знамя*, и когда они несутъ его, знамя это служитъ подлинно символомъ великаго дѣла, скликающимъ на служеніе дѣлу; но когда знамя это переходитъ на людской рынокъ, и мальчишки начинаютъ съ нимъ прогуливаться въ пору и не въ пору, составляя игру съ безсмысленными криками, тогда знамя теряетъ свой смыслъ, и люди серьезные, люди дѣла начинаютъ сторониться оттуда, гдѣ это знамя показывается.

Есть эпохи, когда преобразованіе является назрѣвшимъ плодомъ общественнаго развитія, выраженіемъ потребности, всѣми ощущаемой, развязкою узловъ, вѣками сплетенныхъ въ общественныхъ отношеніяхъ; преобразователь является пророкомъ, изрекающимъ слово общественной совѣсти, и осуществляетъ мысль, которую всѣ въ себѣ носятъ.

Слова его и дѣла его властвуютъ надъ всѣми, потому что свидѣтельствуютъ объ истинѣ, и всѣ, кто отъ истины, отзываются на это слово. Но когда дѣло его совершилось,— является иногда вслѣдъ его полчище лживыхъ пророковъ. Всѣ хотятъ быть пророками, отъ мала до велика, у всѣхъ на устахъ новое слово, невыношенное въ душѣ, непрогорѣвшее въ жизни, дешевое и потому гнилое, схваченное

на людскомъ рынкѣ и потому опошленное. Всякій, кто не дѣлалъ никакого дѣла и кому лѣнь дѣлать дѣло, къ которому приставленъ, сочиняетъ проектъ новаго закона, или строитъ себѣ маленькую каѳедру, съ которой проповѣдуетъ преобразованіе, требуя, чтобы дѣло, котораго онъ не дѣлалъ и потому не знаетъ, было поставлено въ новой формѣ и на новомъ основаніи. Таковы *малые:* что же сказать *о великихъ*, страдающихъ наравнѣ съ малыми преобразовательною горячкой?

Общая и господствующая болѣзнь у всѣхъ такъ называемыхъ государственныхъ людей—честолюбіе или желаніе прославиться. Жизнь течетъ въ наше время съ неимовѣрной быстротою, государственные дѣятели часто мѣняются, и потому каждый, покуда у мѣста, горитъ нетерпѣніемъ прославиться поскорѣе, пока еще есть время и пока въ рукахъ кормило. Скучно поднимать нить на томъ мѣстѣ, на которомъ покинулъ ее предшественникъ, скучно заниматься мелкою работой организаціи и улучшенія текущихъ дѣлъ и существующихъ учрежденій. И всякому хочется передѣлать все свое дѣло заново, поставить его на новомъ основаніи, очистить себѣ ровное поле, tabula rasa, и на этомъ полѣ творить, ибо всякій предполагаетъ въ себѣ творческую силу. Изъ чего творить, какіе есть подъ рукою матеріалы, — въ этомъ рѣдко кто даетъ явственный отчетъ съ практическимъ разумѣніемъ дѣла. Нравится именно высшій пріемъ творчества—*творить изъ ничего*, и возбужденное воображеніе подсказываетъ на всѣ возраженія извѣстные отвѣты: „учрежденіе само поддержитъ себя, учрежденіе создастъ людей, люди явятся“, и т. п. Замѣчательно, что этотъ пріемъ тѣмъ соблазнительнѣе, тѣмъ сильнѣе увлекаетъ мысль государственнаго дѣятеля, чѣмъ менѣе онъ приготовленъ знаніемъ и опытомъ къ своему званію. Этотъ пріемъ соблазнителенъ еще и тѣмъ, что, при-

крывая дѣйствительное знаніе, онъ даетъ широкое поле дѣйствію политическаго *шарлатанства* и помогаетъ прославиться самымъ дешевымъ способомъ. Гдѣ требуется дѣятельное управленіе дѣломъ, знаніе дѣла, направленіе и усовершенствованіе существующаго, тамъ опытнаго и знающаго не трудно распознать отъ невѣжды и пустозвона; но гдѣ начинаютъ съ осужденія и отрицанія существующаго и гдѣ требуется организовать дѣло вновь, по расхваленному чертежу, на прославленныхъ началахъ—тамъ чертежъ и начало на первомъ планѣ, тамъ можно безъ прямого знанія дѣла аргументировать общими фразами, внѣшнимъ совершенствомъ конструкціи, указаніемъ на образцы, существующіе гдѣ-то за моремъ и за горами; на этомъ полѣ не легко бываетъ отличить умѣлаго отъ незнающаго и шарлатана отъ дѣльнаго человѣка; на этомъ полѣ всякій *великій* человѣкъ можетъ, ничего не смысля въ дѣлѣ и не давая себѣ большого труда, защищать какой бы то ни было проектъ преобразованія, составленный въ подначальныхъ канцеляріяхъ кѣмъ-нибудь изъ *малыхъ* преобразователей, подстрекаемыхъ тоже желаніемъ дешево прославиться...

Это удивительное явленіе слѣдуетъ причислить, по истинѣ, къ знаменіямъ нашего времени,—а оно замѣтно повсюду, хотя не всюду въ одинаковой мѣрѣ и степени: въ любомъ правленіи, въ любомъ совѣщательномъ собраніи или комитетѣ. Разумѣется, всего явственнѣе выражается оно тамъ, гдѣ менѣе заложено въ прошедшей исторіи твердыхъ учрежденій, гдѣ нѣтъ старинной, вѣками утвердившейся школы и дисциплины, гдѣ жизнь общественная въ историческомъ своемъ развитіи не выработала опредѣленныхъ разрядовъ, стѣнокъ и клѣточекъ, полагающихъ преграду вольному устройству быта и порыву мысли и желанія. Гдѣ шире и вольнѣе историческое и экономическое поле, тамъ

есть гдѣ разгуляться какимъ-угодно преобразовательнымъ фантазіямъ,—тамъ нѣтъ иногда и борьбы, нѣтъ и затруднительнаго разсчета съ утвердившимися идеями, интересами и партіями, но полная свобода широкому размаху руки, натиску груди, быстрому налету перваго наѣздника...

А на ряду съ этимъ явленіемъ, происходящимъ на вершинахъ, совершается другое подобное же движеніе изъ долинъ, ущелій и пропастей земныхъ. Оно также преобразовательное, но въ иномъ, совсѣмъ уже безусловномъ смыслѣ. Масса людей, недовольныхъ своимъ положеніемъ, недовольныхъ тѣмъ или другимъ состояніемъ общественнымъ, и ослѣпленныхъ или дикимъ инстинктомъ животной природы, или идеаломъ, созданнымъ фантазіей узкой мысли,—отрицая всю существующую, выработанную исторіей экономію общественныхъ учрежденій, отрицая и Церковь и государство, и семью и собственность,—стремится къ осуществленію дикаго своего идеала на землѣ. И эти люди требуютъ, чтобы проповѣдуемое ими преобразованіе началось съ начала, т. е. на ровномъ полѣ, tabula rasa, которое хотятъ они прежде всего расчистить на обломкахъ существующихъ учрежденій.

Это враги цивилизаціи,—вопіютъ по всей Европѣ государственные люди, и во имя цивилизаціи вооружаются противъ массы непризванныхъ преобразователей. Но не время-ли имъ самимъ, защитникамъ существующаго порядка, подумать о томъ, что сами они первые стремятся иногда слишкомъ легкомысленно налагать смѣлую руку на существующее, разрушать старыя зданія и строить на мѣсто ихъ новыя, сами они слишкомъ беззаботно и самоувѣренно спѣшатъ осуждать утвердившіеся порядки и разрушать преданія и обычаи, созданные народнымъ духомъ и исторіей; сами они, строя громаду новыхъ законовъ, которые прошли мимо жизни и съ которыми жизнь не можетъ справиться,—насилуютъ въ сущности тѣ самыя

условія дѣйствительной жизни, которыя отрицаетъ рѣшительно масса отъявленныхъ враговъ цивилизаціи. Борьба съ ними можетъ быть успѣшна лишь во имя жизненныхъ началъ и на почвѣ здоровой дѣйствительности...

Слово *преобразованіе* такъ часто повторяется въ наше время, что его уже привыкли смѣшивать со словомъ — *улучшеніе*. Итакъ, въ ходячемъ мнѣніи поборникъ преобразованія есть поборникъ улучшенія, или, какъ говорятъ *прогресса*, и, наоборотъ, кто возражаетъ противъ необходимости и пользы преобразованія, какого бы то ни было, на новыхъ началахъ, тотъ врагъ прогресса, врагъ улучшенія, чуть-ли не врагъ добра, правды и цивилизаціи. Въ этомъ мнѣніи, пущенномъ въ оборотъ на рынкѣ нашей публичности, заключается великое заблужденіе и обольщеніе. Въ силу этого мнѣнія здравому смыслу, здравому взгляду на предметъ, становится трудно проложить себѣ дорогу и пробиться сквозь предразсудокъ,—и конкретное, реальное здравое воззрѣніе уступаетъ мѣсто воззрѣнію отвлеченному отъ жизни и фантастическому; люди дѣла и подлиннаго знанія принуждены сторониться отъ дѣла и теряютъ кредитъ предъ людьми отвлеченной идеи, окутанной фразою. Напротивъ того, кредитомъ пользуется съ перваго слова тотъ, кто выставляетъ себя представителемъ новыхъ началъ, поборникомъ преобразованій, и ходитъ съ чертежами въ рукахъ для возведенія новыхъ зданій. Поприще государственной дѣятельности наполняется все *архитекторами*, и всякій, кто хочетъ быть работникомъ, или хозяиномъ, или жильцомъ — долженъ выставить себя архитекторомъ. Очевидно, что при такомъ направленіи мысли и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатанству, всякой ловкости лицемѣрія и бойкости невѣжества. Съ другой стороны, дѣятельность положительная, практическая, затрудняясь чрезмѣрно, когда она совершается посреди

общаго настроенія къ анализу и критикѣ, къ повѣркѣ всякаго дѣла общими началами, общими фразами, преобладающими въ общественной средѣ. Тому, кому слѣдовало бы сосредоточить все вниманіе и всѣ силы на своемъ дѣлѣ и на томъ, какъ лучше и совершеннѣе исполнять его,—приходится безпрерывно считаться съ мнѣніемъ о дѣлѣ, думать о томъ, какъ оно *покажется*, какое произведетъ впечатлѣніе и въ обществѣ, и въ начальствѣ, если это начальство пробуетъ все на томъ же камнѣ новой идеи, новаго направленія. Такъ развлекается попусту на критику и на борьбу съ критикою, по большей части пустою, масса великихъ силъ, которыя могли бы совершить великое дѣло: такъ много времени уходитъ у дѣятелей на это механическое треніе, на эту безплодную борьбу съ возбужденной мыслью, что немного уже остается его для дѣйствительной, сосредоточенной дѣятельности. Человѣкъ окруженъ со всѣхъ сторонъ призраками и образами дѣла, которые тревожатъ его, но истинное, реальное дѣло исчезаетъ у него подъ руками—и не дѣлается. Такого положенія не могутъ вытерпѣть лучшіе, правдивые дѣятели. Они чувствуютъ въ себѣ силу, когда имѣютъ дѣло съ *реальностями* жизни, съ фактами и живыми силами; тогда они *вѣруютъ* въ дѣло, и эта *вѣра* даетъ имъ возможность *творить чудеса* въ мірѣ реальностей. Но они теряютъ духъ, когда приходится имъ орудовать съ образами, призраками, формами и фразами; теряютъ духъ, потому что не чувствуютъ вѣры, а безъ вѣры—мертва всякая дѣятельность. Мудрено-ли, что лучшіе дѣятели отходятъ, или, что еще хуже и что слишкомъ часто случается,—не покидая мѣста, становятся равнодушны къ дѣлу и стерегутъ только видъ его и форму, ради своего прибытка и благосостоянія...

Вотъ каковы бываютъ иногда плоды преобразовательной горячки, когда она свыше мѣры длится. Какой врачъ

вылѣчитъ отъ нея современное общество, современныхъ дѣятелей? Какой богатырь направитъ силы папи на дѣйствительныя *улучшенія*, въ которыхъ мы такъ много и со всѣхъ сторонъ нуждаемся, и которыхъ жаждетъ жизнь дѣйствительная. Намъ говорятъ: подождите еще немного: вотъ подпимутся таинственные покровы преобразованій—и явится изъподъ нихъ новая, дѣвственная жизнь въ полнотѣ красы и силы, и засіяетъ новая заря, и откроется страна, медомъ и млекомъ текущая. И мы ждемъ давно, но все не шевелятся покровы, новый міръ не является, наша „незнакомка спитъ глубокимъ сномъ“, и къ прежнимъ покровамъ прибавляются только новые.

Между тѣмъ стоитъ только пройтись по улицамъ большого или малаго города, по большой или малой деревнѣ, чтобъ увидать разомъ и на каждомъ шагу, въ какой безднѣ улучшеній мы нуждаемся и какая повсюду лежитъ безобразная масса покинутыхъ дѣлъ, пренебреженныхъ учрежденій, разсыпанныхъ храминъ. Вотъ школы, въ которыхъ учитель, покинувъ дѣтей, составляетъ рефераты о методахъ преподаваній и фразистыя рѣчи для публичныхъ засѣданій; вотъ учебныя заведенія, гдѣ, подъ видомъ и формою преподаванія, обученіе не производится, и безтолковые учители сами не знаютъ, чему учить и чего требовать въ смѣшеніи понятій, приказаній и инструкцій; вотъ больница, въ которую боится идти народъ потому, что тамъ холодъ, голодъ, безпорядокъ и равнодушіе своекорыстнаго управленія; вотъ общественное хозяйство, въ которомъ деньги сбираются большія, и никто ни за чѣмъ не смотритъ, кромѣ своего прибытка или тщеславія; вотъ библіотека, въ которой все разрознено, растеряно и распущено, и нельзя найти толку ни въ употребленіи суммъ, ни въ пользованіи книгами; вотъ улица, по которой пройти нельзя безъ ужаса и омерзѣнія отъ не-

чистотъ, заражающихъ воздухъ, и отъ скопленія домовъ разврата и пьянства; вотъ присутственное мѣсто, призванное къ важнѣйшему государственному отправленію, въ которомъ водворился хаосъ неурядицы и неправды, за неспособностью чиновниковъ, туда назначаемыхъ; вотъ департаментъ, въ который, когда ни придешь за дѣломъ, не находишь нужныхъ для дѣла лицъ, обязанныхъ тамъ присутствовать; вотъ храмы—свѣтильники народные, оставленные посреди селъ и деревень запертыми, безъ службы и пѣнія, и вотъ другіе, изъ коихъ, за крайнимъ безчиніемъ службы, не выноситъ народъ ничего, кромѣ хаоса, невѣдѣнія и раздраженія... Великъ этотъ свитокъ, и сколько въ немъ написано у насъ *рыданія и жалости и горя.*

Вотъ жатва, на которую требуются дѣлатели, куда надобно направить личныя силы мысли, любви и негодованія, гдѣ потребны не законодательные пріемы преобразованія, отвлекающіе только силу, а пріемы правителя и хозяина,—собирающіе силу къ одному мѣсту для воздѣлыванія и улучшенія. Вотъ истинная потребность нашего времени и нашего мѣста—и ею-то пренебрегаетъ нашъ вѣкъ изъ-за общихъ вопросовъ, изъ-за громкихъ словъ, звенящихъ въ воздухѣ. „Не расширяй судьбы своей—было вѣщаніе древняго оракула:—не стремись брать на себя больше, чѣмъ на тебѣ положено“. Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни—въ сосредоточеніи мысли и силы, все зло—въ ея разсѣяніи. Дѣлать—значитъ не теряться во множествѣ общихъ мыслей и стремленій, но выбрать себѣ дѣло и мѣсто въ мѣру свою, и на немъ копать, и садить, и воздѣлывать, къ нему собирать потоки своей жизненной силы, въ немъ восходить отъ работы къ знанію, отъ знанія къ совершенію и отъ силы въ силу.

X.

Богатство приводитъ въ движеніе множество низкихъ побужденій человѣческой природы. Богатство налагаетъ на человѣка тяжелыя повинности, связываетъ его свободу во многомъ. Одна изъ самыхъ ощутительныхъ невзгодъ для богача—то, что онъ становится предметомъ эксплуатаціи, около него образуется сплетеніе лжи всякаго рода. Еслибы не притуплялось въ немъ чувство,—онъ чувствовалъ бы ежеминутно, что отношенія его къ людямъ перемѣнились, что многіе—даже изъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ—подходятъ къ нему не просто; и что для великаго множества людей, входящихъ съ нимъ въ отношенія, личность его совсѣмъ исчезаетъ, а мѣсто ея занимаютъ внѣшнія черты его, черты принадлежащаго ему капитала. Для чувствительной души такое положеніе несносно, и потребна большая простота души богатому человѣку для того, чтобы онъ съумѣлъ сохранить въ себѣ ясное и благоволительное отношеніе къ людямъ и не обезумѣлъ бы, не опошлился бы самъ отъ всей той пошлости, которая вокругъ него поднимается и выказывается подъ вліяніемъ представленія объ его богатствѣ.

Подобной же участи подвергается и другая сила человѣческая—*умъ*, особливо умъ изъ ряда выходящій, господственный. Когда умный человѣкъ пріобрѣтаетъ авторитетъ, входитъ въ славу между людьми,—поднимаются около него пошлыя побужденія человѣческой природы. Сближеніе съ нимъ ставятъ себѣ въ честь; люди начинаютъ подходить къ нему не просто, а съ задней мыслью—показаться передъ нимъ умными людьми и возбудить его вниманіе. Когда умный человѣкъ входитъ въ моду, нѣтъ такой пошлости, которая не пыталась бы надѣвать на себя передъ нимъ маску умнаго человѣка и кривляться передъ нимъ со всею аффектаціей,

на которую способна пошлость. Это ощущеніе лжи и аффектаціи для умнаго человѣка было бы нестерпимо, и заставило бы его бѣжать отъ людей, когда бы самъ онъ не подвергался дѣйствію той-же пошлости. Оттого мы встрѣчаемъ нерѣдко умныхъ людей, которые, привыкая къ аффектаціи, рисуются передъ окружающею ихъ пошлостью мелкихъ умовъ, и охотнѣе вступаютъ въ общеніе съ ними, нежели съ равными себѣ. Немногіе умы свободны отъ этой слабости тщеславія.

Жена Карлейля въ одномъ изъ своихъ остроумныхъ писемъ къ мужу, говоритъ: „Вчера была у меня мистрисъ N. Мы долго съ нею бесѣдовали, и наша бесѣда показалась бы очень интересной даже тебѣ, если бы ты могъ тутъ-же быть невидимкою.— но непремѣнно невидимкою, въ волшебномъ плащѣ.—Кого считаютъ „мудрецомъ и глубочайшимъ мыслителемъ нашего вѣка“, тому приходится жить одному, въ тяжкомъ, можно сказать, царственномъ уединеніи. Онъ осужденъ—ни отъ кого не слышать простого слова, въ простотѣ сказаннаго,—всякая рѣчь подходитъ къ нему украшенная, въ нарядѣ. Вотъ отъ чего Артуръ Гельпсъ (извѣстный писатель) и многіе другіе говорятъ со мною очень просто, очень умно и занимательно,—а съ тобой начнутъ говорить— и приводятъ тебя въ томительную тоску. Со мной они не боятся становиться на скромную почву своей собственной личности, какова она есть. А съ тобой—они представляютъ изъ себя Таліони и принимаются балансировать, поднимаясь на носкѣ умственнаго или нравственнаго величія“.

XI.

Въ темныя эпохи исторіи бывало такое состояніе общества, въ которомъ надъ всѣми гражданами тяготѣло чувство взаимнаго недовѣрія и подозрѣнія. Современники

съ ужасомъ разсказываютъ о своей эпохѣ или о своемъ городѣ, что люди боятся прямо смотрѣть въ глаза другъ другу, боятся сказать вслухъ близкихъ и домашнихъ свободное, нелицемѣрное слово, или отдаться вольному душевному движенію, чтобы оно не было подхвачено, перетолковано, и не послужило поводомъ къ жестокому преслѣдованію, во имя государства или начала общественной безопасности. Изъ темныхъ угловъ и изъ послѣднихъ слоевъ общества поднимается и сама собою образуется въ корпорацію прибыльная профессія доносчиковъ,—тайная сила, предъ которою всѣ преклоняются. всѣ молчатъ въ страхѣ или, когда молчать невозможно, одѣваютъ мысль свою въ лживыя, льстивыя и лицемѣрныя формы.

Читая такіе разсказы изъ временъ нашей Бироновщины или изъ эпохи французскаго террора, мы радуемся, что живемъ въ иную пору и что событія той эпохи составляютъ для насъ преданіе. Но всмотримся ближе въ совершающіяся около насъ явленія—и принуждены будемъ сознаться, что и наше время изобилуетъ признаками подобнаго же состоянія. Больше того: между нами взаимное недовѣріе пустило, можетъ быть, корни еще глубже во внутреннюю жизнь общества, нежели въ ту пору. Всего болѣе поражаетъ въ состояніи нашего общества, за послѣдніе годы, отсутствіе той простоты и искренности въ отношеніяхъ, которая составляетъ главный интересъ общественной жизни, оживляетъ ее вѣяніемъ свѣжести и служитъ признакомъ здоровья. Какъ рѣдко случается видѣть, что люди сходятся просто; а какъ отрадно было бы сойтись съ человѣкомъ просто, безъ задней мысли, безъ искуственнаго задняго плана, на которомъ рисуются смутныя тѣни, мѣшающія свободному общенію! Такихъ тѣней образовалось въ послѣднее время безчисленное множество,—точно множество темныхъ духовъ, разсѣ-

вающихъ смуту въ воздухѣ. Откуда взялись онѣ? хорошо, когда бы ихъ порождала *идея* опредѣленная, сознательная: тогда-бъ еще возможно было устранить ихъ тоже посредствомъ идеи. Но нѣтъ, ихъ порождаютъ, по большей части, безсознательныя представленія и впечатлѣнія, всосанныя и схваченныя случайно, изъ воздуха, какъ подхватываются и всасываютъ атомы испорченной матеріи, при развитіи всякой эпидеміи. Въ воздухѣ кишатъ теперь атомы умственныхъ и нравственныхъ эпидемій всякаго рода: имя имъ легіонъ, и иное названіе трудно для нихъ придумать.

Посмотрите, какъ сходятся люди въ нашемъ обществѣ — знакомые и незнакомые,—для дѣла и безъ дѣла. Едва взглянули въ глаза другъ другу, едва успѣли обмѣняться словомъ, какъ уже стала между ними тѣнь. Съ перваго слова, которое сказалъ, съ перваго пріема рѣчи, который употребилъ одинъ — у другого возникла уже задняя мысль: а,—вотъ какого онъ мнѣнія, вотъ какой онъ школы, вотъ какого онъ *убѣжденія* (любимый изъ новѣйшихъ терминовъ и одинъ изъ самыхъ обманчивыхъ). Онъ *либералъ*, онъ *клерикалъ*, онъ *крѣпостникъ*, онъ *соціалистъ*, онъ *анархистъ*, онъ *фритредеръ*, онъ *протекціонистъ*, онъ поклонникъ „*Московскихъ Вѣдомостей*“, онъ сторонникъ „*Нѣмли*“, „*Вѣстника Европы*,“ и такъ далѣе, и такъ далѣе. Присмотритесь, прислушайтесь, какъ, вслѣдъ за этимъ первымъ впечатлѣніемъ, разгорается все сильнѣе взаимное *подозрѣніе*, какъ оно потомъ переходитъ въ *раздраженіе*, какъ, затѣмъ, всякій спокойный обмѣнъ мысли становится невозможенъ, какъ отрывистыя и рѣзкія фразы смѣняются въ принужденной бесѣдѣ столь же рѣзкими паузами, и какъ, наконецъ, люди расходятся, не узнавъ другъ друга и осудивъ уже другъ друга съ первой встрѣчи. Каждый сразу поставилъ другъ друга въ извѣстную категорію, въ извѣстную клѣточку, съ кото-

рою, какъ онъ давно уже рѣшилъ, нѣтъ у него ничего общаго. Изъ-за чего весь этотъ безсмысленный раздоръ? Изъ-за убѣжденій? Можно сказать навѣрное, въ большинствѣ случаевъ, что съ той и съ другой стороны нѣтъ никакого осмысленнаго убѣжденія, нѣтъ организованной партіи, а есть только нѣчто вчера услышанное, вчера вычитанное въ газетахъ, вчера привившееся изъ разговора съ такимъ же точно гражданиномъ, только что покушавшимъ точно такой же дѣтской каши...

Сколько силъ тратится даромъ или лежитъ въ безплодіи изъ-за этой безсмысленной игры во впечатлѣнія и въ призраки убѣжденій? Люди, въ сущности, честные, добрые, способные, вмѣсто того, чтобы дѣлать, сколько можно каждому, практическое, насущное дѣло жизни, на нихъ положенное, складываютъ руки, теряютъ энергію, истощаются въ безплодномъ раздраженіи и негодованіи,—рѣшая, что на такихъ принципахъ, съ такою теоріею, съ такими взглядами—дѣятельность невозможна. Они еще руки не приложили къ своему дѣлу, а оно имъ уже опротивѣло, они извѣрились въ него потому, что оно не соотвѣтствуетъ воображаемой теоріи дѣла. Куда ни посмотришь, всюду тотъ же порокъ, не имѣющій смысла. Педагоги, въ ожесточенной брани о принципахъ, системахъ, и способахъ преподаванія забыли школу, въ которой несчастныя дѣти преданы въ жертву тупымъ, безтолковымъ или лѣнивымъ учителямъ, а каждый изъ этихъ учителей готовъ въ каждую минуту спорить объ общихъ началахъ того самаго дѣла, котораго онъ не дѣлаетъ и не разумѣетъ. Суды наши плачутъ по юристамъ, по опытнымъ практикамъ, преданнымъ дѣлу изъ-за самаго дѣла; университеты наши плачутъ по юристамъ-профессорамъ, облюбившимъ свое дѣло, какъ дѣло жизни; а юристы наши—ученые и практики—едва сойдутся,—глядишь, скоро

уже готовы разорвать другъ друга изъ-за подозрѣнія въ ретроградности, въ клерикализмѣ, въ радикализмѣ, изъ-за идеи наказанія, изъ-за идеи суда присяжныхъ, изъ-за гражданскаго брака, изъ-за тюремнаго устройства той или другой системы. Войдите въ засѣданіе одной изъ многочисленныхъ коммиссій для разсмотрѣнія того или другого *проекта:* прислушайтесь къ рѣчамъ, которыми въ такомъ дикомъ безпорядкѣ перебиваютъ другъ друга, съ концовъ зеленаго стола, члены, насланные изъ разныхъ вѣдомствъ: всмотритесь во взгляды, которые они мечутъ другъ въ друга: какое недовѣріе, какая подозрительность! какая аффектація въ пріемахъ рѣчи! какое пустозвонство фразъ! Изъ-за чего все это? Изъ-за дѣла, которымъ рѣдко кто занимался въ дѣйствительности? Нѣтъ, все изъ-за какой-то идейки, которую схватилъ гдѣ-то случайно ораторъ и которую понесъ съ собою, или, лучше сказать, на которой понесъ себя — *ad astra;* все изъ-за какой-то теоріи, да еще изъ-за теоріи, въ рѣдкихъ случаяхъ хорошо вычитанной изъ хорошей книги! Въ любой гостиной, едва разговоръ выйдетъ изъ колеи обычныхъ фразъ и новостей, повторяется въ иномъ видѣ то же явленіе. Происходитъ смѣшеніе языковъ съ такою путаницей понятій, съ такими иногда рѣзкими, внутреннимъ противорѣчіями мысли, что останавливаешься въ изумленіи и въ ужасѣ. Не рѣдкость встрѣчать людей, которые своими рѣчами и образомъ дѣйствій своихъ точно протестуютъ съ гордостью противъ своего же имени, противъ званія, которое носятъ, противъ дѣла, которому наружно служатъ и которымъ живутъ и содержатся. Случается слышать, какъ воспитатель, управляющій заведеніемъ, презрительно отзывается о педагогахъ, отстаивающихъ строгость дисциплины въ воспитаніи; какъ военный офицеръ съ негодованіемъ громитъ отсталыхъ людей, доказывающихъ необходимость дисциплины для арміи;

какъ священникъ съ высшей точки зрѣнія обсуживаетъ обычай ходить по праздникамъ къ обѣднѣ; какъ судья и ученый юристъ обзываетъ невѣждами людей, требующихъ наказанія вору, утверждающихъ, что прислуга должна повиноваться хозяевамъ... Всѣ пошли врозь, всѣмъ стало трудно соединяться для дѣятельности, потому что всѣ съ первыхъ же шаговъ расходятся въ мысляхъ о дѣлѣ, или, вѣрнѣе сказать, во фразахъ, облекающихъ неясныя мысли.

Отчего происходитъ все это? Кажется, главную причину надо бы искать въ непомѣрномъ, уродливомъ развитіи *самолюбія* у всѣхъ и каждаго. Это то же самое дешевое, жиденькое самолюбіе, въ силу котораго молодой, не видавшій еще свѣта человѣкъ, входя въ незнакомое ему общество, сразу относится къ нему враждебно, теряетъ спокойное сомосознаніе, становится рѣзокъ, отрывистъ и дерзокъ. Онъ приноситъ въ незнакомую среду единственный капиталъ — высокое о себѣ мнѣніе, и одна мысль, что его разумѣютъ ниже, чѣмъ онъ самъ себя разумѣетъ, приводитъ уже его въ раздраженіе, отнимаетъ у него простоту, ставитъ его на ходули, облекаетъ его въ протестъ, не имѣющій смысла... Представимъ себѣ цѣлую компанію, составленную изъ такихъ болѣзненно, не въ мѣру самолюбивыхъ людей: это, сопоставленіе довольно комично, взятое само по себѣ; оно, какъ ни смѣшно, оно служитъ образомъ того состоянія, въ которомъ находится у насъ такъ часто компанія людей, случайно сошедшихся вмѣстѣ или соединившихся для общей дѣятельности...

XII.

Есть термины, износившіеся до пошлости, оттого что ихъ безпрерывно употребляютъ безъ опредѣлительной мысли, оттого что ихъ слышишь во всякомъ углу отъ

всякаго, и, произнося ихъ. глупый готовъ почитать себя умнымъ, невѣжда воображаетъ себя стоящимъ на высотѣ знанія. До того можетъ износиться ходячее на рынкѣ слово, что серьезному человѣку становится уже совѣстно употреблять его: онъ чувствуетъ, что это слово, прозвучавъ въ воздухѣ, принимаетъ отраженіе всѣхъ пустыхъ и пошлыхъ представленій, съ которыми ежеминутно произносится оно на рынкѣ ходячей фразы. Тогда наступаетъ пора сдать такой терминъ въ кладовую мысли: надо ему вылежаться въ покоѣ, надо ему очиститься въ глубокомъ горнилѣ самоиспытующей мысли, пока можетъ оно снова явиться на свѣтъ яснымъ и опредѣлительнымъ ея выраженіемъ.

Такая судьба угрожаетъ, кажется, одному изъ любимыхъ нашихъ терминовъ: *развивать, развитіе*. Въ книгахъ, въ брошюрахъ, въ руководящихъ статьяхъ и фельетонахъ. въ застольныхъ рѣчахъ. въ проповѣдяхъ. въ салонныхъ разговорахъ. въ оффиціальныхъ бумагахъ. на лекціяхъ, въ урокахъ гимназіи и народной школы.—всюду, всюду прожужжало слухъ это ходячее слово, и уже тоска нападаетъ на душу. когда оно произносится. Пора бы, кажется, приняться за серьезную провѣрку понятія, которое въ этомъ словѣ заключается; пора бы вспомнить, что этотъ терминъ: *развитіе* не имѣетъ опредѣлительнаго смысла безъ связи съ другимъ терминомъ: *сосредоточеніе*. Пора бы обратиться за разъясненіемъ понятій къ общей матери и учительницѣ — природѣ. Отъ нея не трудно научиться, что всякое развитіе происходитъ изъ центра, и безъ центра немыслимо,—что ни одинъ цвѣтокъ не распустится изъ почки, и ни въ одномъ цвѣткѣ не завяжется плодъ, если изсохнетъ центръ зиждительной силы образованія и обращенія соковъ. Но о природѣ мы, какъ будто на бѣду. забыли и, не справляясь съ нею, составляемъ свои дѣтскіе рецепты развитія: въ цвѣточной

почкѣ мы хотимъ механически раскрыть и расправить лепестки грубою рукою прежде, нежели настала имъ пора раскрыться внутреннимъ дѣйствіемъ природной силы,—и радуемся, и называемъ это развитіемъ: мы только уродуемъ почку, и раскрытые нами лепестки засыхаютъ, безъ здороваго цвѣтѣнія, безъ надежды на плодъ здоровый! Не безумное ли это дѣло? и не похоже ли оно на фантазію того ребенка въ басиѣ, который думалъ чашкою вычерпать море?

А сколько является отовсюду такихъ безумныхъ ребятъ, такихъ непризванныхъ развивателей и учителей! Страсть ихъ къ *развиванію* доходитъ до фанатизма, и нѣтъ такого глупца и невѣжды, который не считалъ бы себя способнымъ развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни пустились съ своею неразумною страстью: всего поразительнѣе то, что вмѣстѣ съ ними, иногда вслѣдъ за ними, и люди, повидимому, разумные, люди серьезной мысли, точно околдованные волшебнымъ словомъ, ходячею монетою рынка, принимаются повторять его, поддакивать ему, и на этомъ словѣ, и на смутномъ понятіи, съ нимъ соединяемомъ, строятъ цѣлыя системы образовательной и педагогической дѣятельности.

И всѣ эти фантазіи разыгрываются, всѣ эти планы сочиняются для того, чтобы оперировать, точно in anima vili, на массѣ такъ называемыхъ темныхъ людей, на массѣ народной. На нее готовится походъ: но ни полководцы, ни воины, никто не даетъ себѣ труда слиться съ нею, пожить въ ней, изслѣдовать ея психическую природу, ея *душу*, потому что у народа есть душа, къ которой надобно пріобщиться для того, чтобы уразумѣть ее! Нѣтъ, преобразователи ея и просвѣтители видятъ въ ней только извѣстную величину, извѣстную данную умственной силы, надъ которою требуется производить опыты. И притомъ, какая удивитель-

ная смѣлость и самоувѣренность!—Требуется во имя какой-то высшей и безусловной цѣли производить эти опыты *обязательно и принудительно!!* Какъ производить ихъ—въ этомъ сами учители несогласны: сколько головъ, столько системъ и пріемовъ. Въ одномъ только сходятся—въ твердомъ намѣреніи дѣйствовать на *мысль* и *развивать, развивать* ее! Напрасно возражаютъ имъ слабые голоса, что у простого человѣка не одинъ умъ, что у него *душа* есть, такая же какъ у всякаго другого, что въ сердцѣ у него та крѣпость, на которой надо ему строить всю жизнь свою, и на которой до сихъ поръ стоитъ у него *церковное строеніе*... Нѣтъ,—они обращаются все къ мысли и хотятъ вызвать ее къ *праздной,* въ сущности, дѣятельности, на вопросахъ, давно уже, легко и дешево рѣшенныхъ самими просвѣтителями. Какое заблужденіе! Если бы потрудились они, безъ самоувѣренности и безъ высокомѣрной мысли о своемъ разумѣ, войти въ темную массу и пріобщиться къ ней, они увидѣли бы, что темный человѣкъ самъ ищетъ и проситъ свѣта и жаждетъ просвѣщенія, но открываетъ входъ ему только съ той стороны, съ которой оно можетъ взаправду просвѣтить его, не смутивъ души его, не разоривъ его жизни. Онъ чувствуетъ, что всего дороже ему духовная его природа, и чрезъ *сердце* хочетъ пролить свѣтъ въ нее. Когда съ этой стороны прильетъ ему свѣтъ разума,—онъ не ослѣпитъ его, не разоритъ его жизни, не перевситъ центра тяжести, на которомъ утверждено его основаніе. Но когда операція развиванія направлена исключительно на мысль его, когда его хотятъ начинить, такъ называемыми, знаніями и фактами учебниковъ и общими выводами теорій, съ нимъ произойдетъ то же, что происходитъ съ конусомъ, когда хотятъ утвердить конусъ на острой вершинѣ.

XIII.

Жизнь — движеніе. Кажется, никогда еще не было столь усиленнаго какъ нынѣ движенія жизни, но это движеніе порывистое, лихорадочное,— болѣзненное; не естественная смѣна ощущеній, но какая то погоня за ощущеніями, не послѣдовательное стремленіе къ одной цѣли, но цѣпь многообразныхъ стремленій, колеблемыхъ вѣтрами отовсюду.

Жизнь ли это? спрашиваешь себя, когда видишь толпу людей, поглощающихъ жизнь и поглощаемыхъ жизнью, думающихъ и тоскующихъ о жизни.

„Самое высшее,— говоритъ Гёте, что пріяли мы отъ Бога и отъ природы,— это жизнь, круговращательное около себя движеніе монады, движеніе не знающее остановки и покоя: всякому дано прирожденное побужденіе поддерживать и воспитывать эту жизнь, хотя существо ея остается тайною для каждаго и всѣхъ живущихъ.“ Жить — казалось бы, какое простое дѣло! Quel est mon mestier? спрашивалъ себя Монтень, — и отвѣчалъ: mon mestier c'est vivre. (Дѣло мое— жить.)

Но — какое не простое, какое сложное дѣло сотворили себѣ изъ жизни люди, особливо люди новаго міра, когда стали крѣпче и глубже вдумываться въ жизнь свою и въ цѣль своей жизни, и на этой думѣ останавливаться безпокойною мыслью. Жить *безъ мысли* — значило бы жить подобно животному; но эта мысль должна быть живая, мысль *для жизни*. А въ наше время кажется иногда, что люди *живутъ для мысли*, и вся жизнь, простой и драгоцѣнный даръ Божій, поглощается у нихъ *въ мысли*. Жизнь — это свободное движеніе всѣхъ силъ и стремленій, вложенныхъ въ природу человѣческую;— цѣль ея — въ ней самой, въ этомъ *движеніи* заключается, и потому ставить цѣлью жизни —

движеніе одного ума,—одного сердца,—одного страстнаго влеченія—значитъ съуживать жизнь и уродовать ее. Она изуродована—изуродована искуственно—*мыслью о жизни*. Тотъ же Гёте, въ свое время, уже восклицалъ съ болѣзненнымъ чувствомъ: „Бѣдный, бѣдный человѣкъ нашего времени—у него все ушло въ одну голову"! (Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist). Живемъ ли мы?—продолжаетъ онъ—мы выворотили себя изъ жизни анализомъ жизни (herausstudirt aus dem Leben) и должны дѣлать усилія, чтобы снова войти въ жизнь. Гёте говоритъ это, глядя на профессоровъ, на ученыхъ и молодыхъ студентовъ своего времени. Но съ тѣхъ поръ какіе успѣхи сдѣлалъ анализъ жизни и какъ стала жизнь имъ разъѣдена! Въ ту пору, во 2-й половинѣ 18 столѣтія, мыслителя-мудреца поражалъ усилившійся въ умахъ *разладъ* между *мыслью* и *жизнію*, удивляла обратившаяся въ моду для молодого поколѣнія *тоска по жизни* (Weltschmerz). Нынѣ такая тоска, въ этой ея формѣ, вышла уже изъ моды, но мѣсто ея заняла, и господственно овладѣваетъ умами въ систему приведенная, отчаянная, неутолимая—новая теорія жизни—теорія *пессимизма*. Это уже не простая тоска отъ противорѣчія между дѣйствительностью здѣшняго міра и высшими идеалами духа—это рѣшительное отрицаніе всего этого міра, въ которомъ жизнь движется: не простая тоска по жизни, возбужденная борьбою со зломъ въ человѣчествѣ,—но разрушительное, злобное, безотрадное отрицаніе самой жизни въ существѣ ея, отрицаніе, доходящее до того, что единственнымъ исходомъ изъ этой бездны отчаянія предлагается „искорененіе въ душѣ самаго *желанія жить*."

Итакъ, вотъ до какого извращенія жизни мы дожили. Мы думали, что мысль служитъ къ направленію жизни, къ упорядоченію ея движенія, что она пособляетъ жить,—но

вотъ дошло до того, что жизнь вовсе упраздняется мыслію—и не остается ни жизни, ни мысли. Такова нынче модная теорія жизни, жадно воспринимаемая читателями и почитателями талантливаго ея проповѣдника,—теорія, успѣвшая еще болѣе оболоживить жизнь, довольно и безъ того оболживленную; ибо самые проповѣдники и послѣдователи этой теоріи продолжаютъ жить на волѣ всѣхъ своихъ животныхъ побужденій—осуществляя въ себѣ до безстыдной лжи доходящее противорѣчіе между жизнью и искуственно созданною теоріей жизни, теоріей, въ коей нѣтъ мѣста ни вѣрѣ, ни правдѣ, ни энергіи воли, стремящейся воплотить себя—въ дѣятельности. Что же остается? Остается—наглое, не изъ жизни, но изъ книгъ вычитанное отрицаніе вѣры,—остается мертвая схема правды, взятая тоже изъ книгъ, мертвый образъ природы въ видѣ химической формулы—и дряблая воля, склонная къ отрицанію матеріально неудавшейся жизни...

XIV.

Слово—драгоцѣнное созданіе духа, драгоцѣнное орудіе дѣлъ человѣческихъ. Оно призвано служить дѣлу, но и само оно, въ нѣкоторомъ смыслѣ, есть *дѣло*. Но какъ часто становится оно дѣломъ пустословія, орудіемъ спора, ни къ чему не приводящаго кромѣ смѣшенія понятій и столкновенія личныхъ самолюбій. И думается иногда, что наше время есть время пустословія. Точно всѣми овладѣла какая то страсть къ рѣчамъ, какая то похоть ораторства. Заговорили всѣ—кому есть что сказать и кому сказать нечего; и тѣ, кто понимаетъ и знаетъ, и тѣ, кто понятія не имѣетъ о томъ, о чемъ говоритъ. До того уже доходитъ, что люди дѣла, люди имѣющіе что сказать и умѣющіе какъ сказать—

молчатъ посреди общаго смѣшенія языковъ, въ коемъ каждый стремится сказать что нибудь. Нѣтъ собранія, нѣтъ сколько-нибудь многолюднаго обѣда, безъ рѣчей, въ которыхъ подъ вліяніемъ минутныхъ впечатлѣній не изливались бы въ громкихъ фразахъ потоки обычнаго краснорѣчія. Единственно ради рѣчей устраиваются торжественныя собранія, учреждаются юбилеи и готовятся рѣчи, въ коихъ главною задачей оратора служитъ—выставить на показъ себя и свое искуство владѣтъ фразой и фразою возбуждать одушевленіе. Недорого бываетъ это одушевленіе, ибо вскорѣ смѣняется ѣдкою критикой и самой рѣчи и ея предмета;—случается, что и самъ ораторъ готовъ смѣяться надъ своимъ искуственнымъ паѳосомъ и—стало быть надъ самимъ собою.

Но съ измельчаніемъ слова мельчаетъ и мысль, мельчаетъ—и дробится на кусочки подобно разбитому зеркалу. Это отражается на всей словесной дѣятельности: всѣми овладѣваетъ какая то страсть—обо всемъ разсуждать и все обсуждать. Безъ разсужденія не стоитъ никакое дѣло, но всякое разсужденіе должно приводить къ чему нибудь, вести къ цѣли;—но къ чему оно годно, когда у разсуждающихъ одна цѣль—какъ нибудь высказаться, выказать себя и—опровергнуть возраженія. Такъ иногда разсужденіе, затягиваясь безъ конца, все состоитъ изъ опроверженія съ той и съ другой стороны возраженій. Съ этимъ пріемомъ разсужденія нынѣ встрѣчаешься всюду—и въ проповѣдяхъ и въ профессорскихъ лекціяхъ и въ критикѣ—и наконецъ въ дебатахъ разныхъ собраній обсуждающихъ вопросы законодательства и управленія. Иногда кажется, точно работаетъ мельница однимъ движеніемъ колесъ,—а помола не видно.

Кто хочетъ сказать свое слово, долженъ бы спросить себя: какую мысль несетъ онъ и хочетъ выразить—*положительную* или *отрицательную*. Если отрицательную, тогда

естественно, что отвѣчать будетъ тоже отрицательная мысль, и такимъ образомъ все разсужденіе превращается въ борьбу взаимныхъ отрицаній. Но кто хочетъ внесть въ разсужденіе свѣтъ и разумъ, тотъ выступаетъ съ положительною мыслью, которую успѣлъ въ себѣ выносить, въ тишинѣ, ибо только въ тишинѣ и на верхахъ, а не въ болотѣ и не въ трясинѣ вырабатывается истина.—Съ такою мыслью и писатель и ораторъ можетъ проникнуть въ сердце и въ глубину вопроса, озарить его свѣтомъ, показать въ немъ истину.

Но какъ ведутся у насъ обычныя пренія? Кто нибудь выступаетъ защитникомъ своего или заявленнаго *мнѣнія*, подкрѣпляя его аргументами въ защиту своего и—непремѣнно другими—въ опроверженіе иныхъ, противоположныхъ мнѣній. Въ слѣдъ за симъ выступаютъ защитники этихъ мнѣній и пространно занимаются опроверженіемъ всей цѣпи аргументовъ, которую напизалъ въ своей рѣчи противникъ: а въ это время онъ ждетъ своей очереди, внимательно отмѣчая все то, чѣмъ эта рѣчь наполнена. И такъ тянется на неопредѣленное время состязаніе, все составленное изъ кусочковъ дробной, иногда мелкой полемики. И конца ему не видится, доколѣ не появится кто нибудь съ краткимъ, яснымъ и прямымъ словомъ, и не освѣтитъ предметъ изъ глубины вопроса свѣтомъ истины.

XV.

„Идолы у язычниковъ серебро и злато, дѣло рукъ человѣческихъ. Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть очи и не видятъ, есть уши и не слышатъ, и нѣтъ духа въ устахъ ихъ. Подобны имъ будутъ дѣлающіе ихъ и всѣ надѣющіеся на нихъ.“

Это сказано объ идолахъ языческаго міра, и тоже слѣдуетъ сказать объ идолахъ новаго міра, объ идолахъ ума и доктрины, объ идолахъ такъ называемаго общественнаго мнѣнія. Явится идея и овладѣваетъ умами — и развивается и расширяется, и пріобрѣтаетъ художественное построеніе теоріи, облекается въ *терминъ*, который служитъ знаменемъ для множества сторонниковъ, изъ коихъ немногіе могутъ составить себѣ точное понятіе о томъ, въ чемъ истинный смыслъ термина и раздѣлить въ представленіи, соединяемомъ съ нимъ, истинное отъ ложнаго. Происходитъ нѣчто въ родѣ вѣрованія въ *слово* и рабскаго ему поклоненія, причемъ *вѣра* выраждается въ *суевѣріе*: люди, забывая *первообразъ*, поклоняются *образу*: служеніе идеѣ мало-по-малу становится промысломъ, и подобно тому, что случилось въ Ефесѣ, масса рабочихъ, изготовляющихъ на продажу мѣдныя изображенія храма Діаны, не терпя проповѣдника истинной не-идольской вѣры, гонятъ его вонъ съ неистовыми криками: „велика Артемида Эфесская!“

Не мало этихъ понятій и ставшихъ какъ бы священными терминовъ; случается нерѣдко, что одни отживаютъ свое время и смѣняются другими. Но есть особливо знаменитые термины, которые, начиная съ XVIII столѣтія, овладѣли умами, и донынѣ, расширяя свою область, продолжаютъ обольщать возрастающія поколѣнія. Это—три слова: свобода, равенство, братство. Больше же сихъ — „свобода“.

Вдумываешься въ смыслъ этого слова. Свободу нельзя признать за дѣятельное начало порождающее и опредѣляющее дѣйствіе человѣка. Это не какая либо существенная форма бытія, это не организмъ политическій, не учрежденіе соціальнаго быта,—подобное напр. религіи, семьѣ, собственности. Свобода—сама по себѣ—есть, можно сказать, лишь естественное условіе причинной связи въ дѣйствіяхъ воли

человѣческой. Въ этомъ смыслѣ она производитъ явленія и дѣйствія самыя противоположныя—добрыя или дурныя, полезныя или вредныя и гибельныя.

Очевидно, что для соблюденія, и порядка, и справедливости, и пользы общественной, свобода подлежитъ извѣстнымъ ограниченіямъ и стѣсненіямъ. Отсюда столкновенія, доходящія до борьбы—между свободою и авторитетомъ.

Однако для приведенія въ порядокъ свободной дѣятельности человѣчества недостаточно однихъ средствъ стѣсненія и репрессіи. Дѣйствіе ихъ имѣетъ только *отрицательное* значеніе и само подвержено заблужденіямъ, ошибкамъ, увлеченіямъ грубой силы, страсти и недомыслія.

Эта борьба между свободою и авторитетомъ не имѣла бы исхода, когда бы въ душѣ человѣческой не было внутренняго судьи, дѣйствующаго на самый источникъ человѣческой дѣятельности—на волю. Это совѣсть,—средоточіе и опора закона нравственнаго. Она одна даетъ нашимъ дѣйствіямъ правую цѣну; она, придавая волѣ господство надъ побужденіями инстинкта, творитъ изъ нея *силу свободную*. И такъ въ нравственномъ законѣ—истинное начало свободы,—и вмѣстѣ съ тѣмъ начало духовнаго объединенія людей.

Нравственный законъ заложенъ въ самой глубинѣ души человѣческой, куда не проникаетъ *разумъ*, и потому властная сила этого закона всюду между людьми держится *вѣрою* и утверждается на религіозномъ чувствѣ. Сколько-бъ нынѣ ни увѣряли насъ новыя теоріи натурализма, что нравственное начало—дѣло естества, независящее отъ религіи,—помимо ея не найдемъ для нихъ нигдѣ твердой опоры. Только религія, объединяя людей, создаетъ изъ нихъ органическое цѣлое, и въ этомъ смыслѣ, безъ сомнѣнія, даже грубая вѣра благодѣтельнѣе совершеннаго безвѣрія. Но одна лишь христіанская вѣра, почерпая изъ совершенства Божественнаго

непреложное нравственное начало, отрицая порочныя начала эгоизма, гордости и похоти человѣческой въ самомъ корнѣ и во всѣхъ проявленіяхъ, можетъ воспитать въ человѣчествѣ истинную свободу. Каковы бы ни были пороки, заблужденія, злоупотребленія, преступленія служителей церкви,—какъ бы далеко ни уклонялась жизнь членовъ ея отъ идеала вѣры и жизни, положеннаго въ основаніе церкви,—этотъ идеалъ остается во всей своей чистотѣ неприкосновеннымъ, и гдѣ еще можетъ отыскать себѣ человѣчество твердое начало правды,—если отречется отъ вѣры въ этотъ идеалъ и утратитъ его?

Итакъ, казалось бы, что всѣ горячіе поклонники начала свободы должны ратовать за *вѣру*. На дѣлѣ оказывается противное. Ревнители свободы, не познавъ истины, возненавидѣли ее, и на нее прежде всего обрушилась эта ненависть. Философы XVIII столѣтія, негодуя на насилія и злоупотребленія свѣтской власти, примирялись однако со всякимъ насиліемъ, въ коемъ мечтали видѣть воплощеніе идола свободы, и прославляли всѣхъ деспотовъ просвѣщенія: Дантонъ, Робеспьеръ, Маратъ—встрѣчали между ними хвалителей. За то всю свою ненависть обратили они противъ вѣры. Не трудно было разбить страшные безпорядки и злоупотребленія церковныхъ прелатовъ,—но сквозь эту скорлупу вѣрованій главная цѣль была—уничтожить самое ядро ихъ (ecrasez l'infâme)—вѣру. Пришлось надъ этимъ задуматься,—и философія принялась очищать вѣру—*свободною мыслію*.

Безусловная свобода мышленія—стала идоломъ. Ревнители ея помышляли не столько о политической свободѣ, сколько о свободѣ мышленія и рѣчи, изъ которой должны истечь всевозможныя свободы. Все движеніе человѣчества къ успѣху, все движеніе исторіи—сводилось у нихъ къ одному: завое-

вать для себя безграничное право критики и словесной рѣчи—какой бы и о чемъ бы то ни было. Съ этой точки зрѣнія—для всей цивилизаціи нѣтъ другой мѣры, кромѣ независимой свободы всякаго личнаго мнѣнія. Кто ратуетъ за эту свободу и провозглашаетъ ее, тотъ, какой бы ни былъ злодѣй,—считается героемъ, благодѣтелемъ человѣчества. Кто смѣетъ возражать, какъ бы ни возражалъ разумно и добросовѣстно,—того слѣдуетъ поставить къ позорному столбу общественнаго мнѣнія.

Но развѣ это истинная, настоящая свобода? Не можетъ быть таковою свобода теоретическая, умственная: эта свобода призрачная, лживая, а ложь не порождаетъ правды. Это мы и видимъ на дѣлѣ. Кто ставитъ себя вольнымъ, самовластнымъ оракуломъ своего личнаго мнѣнія, входитъ мало-по-малу въ апоѳеозъ своего ума и своей мысли: развивая ее составляетъ себѣ доктрину, а когда доктрина овладѣваетъ человѣкомъ, истина отъ него скрывается, потому что теряетъ реальность и сливается съ мыслію, которая ее породила. Добро и зло, истина и ложь—все становится дѣломъ *мнѣнія*.

Во всякомъ народѣ, кромѣ вѣрованій, кромѣ обычаевъ нравственныхъ, есть извѣстныя, исторически сложившіяся и проникшія въ души, руководительныя идеи, составляющія сущность общей вѣковой жизни и отличительное свойство національнаго характера: единство происхожденія, племенное сродство, единство преданій и воспоминаній и вкусовъ; единство воззрѣній на власть и правительство. Въ этомъ—источники жизненной крѣпости для каждаго народа, итоги нравственной дисциплины, связующей его во единое цѣлое.

И вотъ, въ наше время всѣ эти руководительныя мысли и убѣжденія—всюду подвергнула свободная мысль—критикѣ и разрушенію. Богъ, душа, нравственная отвѣтствен-

ность, различеніе добра и зла, національныя преданія, общественныя власти, семья, отношенія супруговъ, власть родительская,—всѣ вѣками преподанные уроки народнаго разума и опыта,—все стало спорнымъ, все заколебалось. Умные люди, разбирая все, потратили громаду труда и таланта—на разрушеніе старыхъ зданій, и покрыли все развалинами, ничего не создавъ—твердаго и прочнаго. Какъ будто поставили они высшею цѣлью своей умственной работы—сопоставлять критически разныя системы и производить критическій анализъ всякихъ мыслей, съ тѣмъ, чтобы не извлечь изъ нихъ ничего существеннаго и крѣпкаго.

Всякій стремится создать свою истину, изобрѣсть свою метафизическую систему и свой кодексъ обязанностей, уединяясь въ кругу своего *я* и сталкиваясь съ другими *я* въ нескончаемыхъ спорахъ. Невольно задумывается надо всѣмъ этимъ человѣкъ стараго вѣка и спрашиваетъ: неужели когда нибудь придется видѣть, что *толпа людская* замѣнила собою *народъ*, и варварскіе термины *„коллективности и солидарности“* заступили священное имя *отечества?*

XVI.

Какъ было во дни Ноевы! Люди жили, ѣли, пили, женились, выходили замужъ, и не думали, пока пришла вода и смыла все.

Съ тѣхъ поръ сколько разъ повторялось бывшее во дни Ноевы. Пустыни, когда-то процвѣтавшія жизнью, внезапно открываютъ намъ развалины царствъ и слѣды народовъ когда-то бывшихъ въ благополучіи и славѣ—и погибшихъ безслѣдно. Всматриваясь въ развалины, мы открываемъ въ нихъ слѣды пышной перѣдко цивилизаціи, и спрашиваемъ себя,—куда дѣвалась и какъ распалась эта

сила, какъ погибъ весь пышный цвѣтъ ея? и всякій разъ не находимъ иного отвѣта, какъ тотъ же самый, который данъ намъ на дни Ноевы. Цвѣтъ облетѣлъ, соки застыли, сила истощилась, отъ того что корни подгнили, духъ изсякъ въ душѣ народной, и вся цивилизація обратилась въ плоть и жажду наслажденія.

У всѣхъ народовъ арійскаго племени держатся преданія о цвѣтущей, благополучной эпохѣ золотого вѣка, когда люди были крѣпки и сильны духомъ вѣры и идеальнаго стремленія къ вѣчности, когда исторія полна дѣлами борьбы богатырей съ злыми исполинами и чудовищами, когда человѣкъ носилъ въ себѣ начало и правды и вѣрности, когда жизнь была проста, любовь цѣломудренна, и безсильна жажда захвата и пріобрѣтенія. А за тѣмъ всюду держатся преданія о смѣнѣ этого вѣка—вѣкомъ тьмы и погибели: въ Индійскихъ преданіяхъ онъ зовется вѣкомъ Кали, у Германскихъ племенъ волчьимъ вѣкомъ.

И вотъ какими,—знакомыми людямъ и нынѣшняго вѣка чертами, описываетъ индійскій поэтъ Тульчи Дасъ, за много вѣковъ до нашей эры, эту эпоху мрака и распаденія.

„Въ общемъ развратѣ,—пишетъ онъ,—изсякла вѣра; священныя книги пришли въ забвеніе, а вмѣсто того лживые учители разсѣяли всюду ложныя ученія по своимъ фантазіямъ. Народъ опутанъ обманомъ и ложью; корысть овладѣла всѣми—и не стало мѣста доброму дѣлу. Люди всѣхъ кастъ забыли свое призваніе: Браманы стали торговать Ведами; короли стали грабить и притѣснять народъ—никому нѣтъ уже дѣла до заповѣдей откровенія. Что угодно стало большинству, то считается за правду: кто громче кричитъ, тотъ слыветъ за перваго ученаго. Мошенники и лицемѣры почитаются за святыхъ. Мужъ сталъ подвластенъ женѣ и вертится передъ женою какъ обезьяна. Всѣ предаты похоти,

корысти и насилію, всѣ смѣются надъ богами, надъ святынней, надъ священными книгами. Жены бѣгутъ отъ добрыхъ мужей, отдаваясь бродягамъ и проходимцамъ. Дочь не слушаетъ отца. Никто не доволенъ, никто никого не уважаетъ, ни у кого нѣтъ мира въ душѣ. Міръ исполненъ зависти, клеветы, корысти—о кротости нѣтъ и помину."—(*)

(*) Baumgartner. Die Literaturen Indiens und Ostasiens. Freiburg. 1897.

Знаніе и дѣло.

Съ того времени какъ проснулась и пришла въ движеніе мысль въ нашемъ обществѣ, стали намъ твердить на всѣ лады о необходимости *знанія*: столько твердили, что самое понятіе о *просвѣщеніи* отождествилось въ умахъ нашей интеллигенціи съ *количествомъ знаній*. Отсюда — расширеніе программъ и высшаго, и средняго, и даже начальнаго обученія, отсюда — полки наскоро навербованныхъ безтолковыхъ учителей, приставленныхъ къ каждой наукѣ для того, чтобы пустоты не было, отсюда — формализмъ экзаменовъ и испытательныхъ коммиссій, отсюда расположеніе журналовъ, трактующихъ de omni re scibili et quibusdam aliis, и наполняющихъ головы читателей на рынкѣ интеллигенціи массою отрывочныхъ, перепутанныхъ между собою мыслей и свѣдѣній. Результатъ всего этого жалкій — расположеніе мнимой интеллигенціи, воображающей себя знающею, по лишенной того, къ чему должно вести всякое знаніе — то есть *умѣнья* взяться за дѣло, дѣлать его добросовѣстно и искусно и поставить его интересомъ своей жизни.

Всякій человѣкъ призванъ къ дѣлу и долженъ выбрать себѣ извѣстное дѣло; а для того, чтобъ умѣть дѣлать его,

необходимо собраться въ себя, сосредоточиться. „Не расширяй судьбы твоей — было слово древняго оракула — старайся не гулять за предѣлами твоего дѣла“. Разсѣяніе въ разныя стороны развлекаетъ мысль, разслабляетъ волю и мѣшаетъ сосредоточиться на дѣлѣ. Развлекаясь во всѣ стороны — разнообразными движеніями любознательности и любопытства, человѣкъ не можетъ скопить въ себѣ и сосредоточить такой запасъ жизненной силы, какой необходимъ для рѣшительнаго перехода отъ *знанія* къ *дѣланію*. Сколько бы ни поглотилъ въ себя образовъ и свѣдѣній дилеттантизмъ любознательности и вкуса, все останется безплодно, если не можетъ онъ собрать все свое существо въ себѣ и двинуть его — къ дѣлу.

Знаніе, само по себѣ, не воспитываетъ ни умѣнья, ни воли. Мы видимъ ежедневные тому примѣры. Много видимъ людей умныхъ, острыхъ памятью и воображеніемъ, образованныхъ, ученыхъ — и безсильныхъ въ рѣшительную минуту, когда требуется рѣшеніе для дѣла или твердое слово въ совѣтѣ. Но жизнь наша — и частная, и общественная, при усложненіи отношеній, при смѣшеніи понятій и вкусовъ, — требуетъ непрестанно скораго и твердаго рѣшенія. И мы видимъ, когда оно требуется, люди идутъ къ нему не твердыми ногами, а окольными путями, оглядываясь на всѣ стороны. Въ эту пору человѣкъ, имѣющій ясное сознаніе и волю, способный въ минуту сообразить все, что знаетъ въ связи съ предметомъ рѣшенія, — стóитъ для дѣла дороже множества умовъ невѣрныхъ и колеблющихся.

Отсюда формализмъ и безплодность многихъ происходящихъ у насъ совѣтовъ и совѣщаній: люди говорятъ, не умѣя сосредоточиться на предметѣ разсужденія. Но лучшій ораторъ не тотъ, кто изыскиваетъ лишь способы уловить и запутать противника мелкимъ оружіемъ казуистики или потокомъ пышныхъ угрозъ, но тотъ, кто приходитъ въ совѣтъ

съ твердымъ и яснымъ мнѣніемъ о дѣлѣ и высказываетъ его ясно и твердо; не тотъ, кто, смѣшивая цвѣта и оттѣнки, способенъ доказывать, что въ черномъ есть бѣлое и въ бѣломъ черное, но тотъ, кто прямо и сознательно называетъ бѣлое бѣлымъ и черное чернымъ. Не тотъ истинный судья, кто, разлагая по волоску каждое требованіе и возраженіе, творитъ формальный судъ по формальнымъ признакамъ правды, но тотъ, кто заботясь о существенной правдѣ, умѣетъ ясною мыслію проникнуть въ существо отношеній между сторонами. Не тотъ годный на дѣло военачальникъ, кто изучилъ до подробности всю исторію походовъ и битвъ и всѣ пріемы военной тактики, но тотъ, кто можетъ въ рѣшительную минуту острымъ взглядомъ сообразить въ умѣ своемъ положеніе мѣстности и военныхъ силъ, — и рѣшительнымъ дѣйствіемъ воли опредѣлить судьбу сраженія.

Вѣра.

I.

Здѣсь, на землѣ, подлинно мы ходимъ *вѣрою*, а не видѣніемъ. и жестоко ошибается тотъ, кто думаетъ, что погасилъ въ себѣ вѣру, и хочетъ жить отнынѣ однимъ видѣніемъ. Какъ бы высоко ни поставилъ себя надъ міромъ умъ человѣческій, онъ не раздѣленъ съ душою, а душа все стремится вѣровать, и вѣровать безусловно: безъ вѣры прожить нельзя человѣку. И не жалкій-ли это обманъ, что человѣкъ, отвергая вѣру въ дѣйствительное, въ существующее, въ то, что сказывается душѣ его реальною истиной, дѣлаетъ предметомъ своей вѣры теорію и формулу, ее чествуетъ, ей, какъ идолу, покланяется, ей готовъ принесть въ жертву себя самого и цѣлый міръ въ душѣ своей, и свободу свою, и всѣхъ своихъ ближнихъ. Теорія и формула, какія бы ни были, не могутъ заключать въ себѣ безусловное, и каждая изъ нихъ, возникнувъ въ умѣ человѣческомъ, есть, по необходимости, нѣчто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмѣримо, что отъ вѣка было и есть, что неизмѣнно и безконечно, чего не могу я обнять, но что *меня объемлетъ и держитъ*—вотъ, во что хочу я вѣрить какъ въ безусловную

истину,—а не въ дѣло рукъ своихъ, не въ твореніе ума своего, не въ логическую формулу мысли. Безконечность вселенной и начало жизни невозможно вмѣстить въ логическую формулу. Бѣдный человѣкъ, кто, составивъ себѣ такую формулу, хочетъ съ нею пройти чрезъ хаосъ бытія:—хаосъ поглотитъ его вмѣстѣ съ жалкою его формулой. Сознаніе своего безсмертнаго *я*, вѣра въ Единаго Бога, ощущеніе грѣха, исканіе совершенства, жертва любви, чувство долга—вотъ истины, въ которыя душа вѣритъ, не обманываясь, не идолопоклонствуя передъ формулой и теоріей.

II.

Какое таинство—религіозная жизнь народа такого, какъ нашъ, оставленнаго самому себѣ, неученаго! Спрашиваешь себя: откуда вытекаетъ она?—и когда пытаешься дойти до источника—ничего не находишь. Наше духовенство мало и рѣдко *учитъ*, оно служитъ въ церкви и исполняетъ требы. Для людей неграмотныхъ Библія не существуетъ; остается служба церковная и нѣсколько молитвъ, которыя, передаваясь отъ родителей къ дѣтямъ, служатъ единственнымъ соединительнымъ звеномъ между отдѣльнымъ лицомъ и церковью. И еще оказывается въ иныхъ, глухихъ мѣстностяхъ, что народъ не понимаетъ рѣшительно ничего ни въ словахъ службы церковной, ни даже въ „*Отче нашъ*,“ повторяемомъ нерѣдко съ пропусками или съ прибавками, отнимающими всякій смыслъ у словъ молитвы.

И однако—во всѣхъ этихъ невоспитанныхъ умахъ воздвигнутъ,—какъ было въ Аѳинахъ,—неизвѣстно кѣмъ, алтарь *невѣдомому Богу;* для всѣхъ—дѣйствительное присутствіе воли Провидѣнія во всѣхъ событіяхъ жизни—есть фактъ

столь безспорный, такъ твердо укоренившійся въ сознаніи, что, когда приходитъ смерть, эти люди, коимъ никто никогда не говорилъ о Богѣ, отверзаютъ Ему дверь свою, какъ извѣстному и давно ожидаемому Гостю. Они въ буквальномъ смыслѣ *отдаютъ Богу душу.*

III.

„Въ началѣ было слово"—такъ благовѣствуетъ Евангелистъ. Великій германскій писатель захотѣлъ поправить эту мысль богослова своимъ философскимъ анализомъ, заставивъ надъ нею задуматься Фауста. „Нѣтъ",—говоритъ Фаустъ: „въ началѣ было *дѣло*". Когда бы Гёте писалъ своего Фауста въ наше время, Фаустъ сказалъ бы вѣроятно: „въ началѣ былъ *фактъ.*" Фактъ—это излюбленное понятіе новѣйшей матеріальной философіи, ячейка, изъ которой она строитъ вселенную, столпъ и основаніе всего того, что она называетъ *истиной.*

Какая неправда! Истина есть нѣчто абсолютное, и только абсолютное можетъ быть основаніемъ жизни человѣческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезаетъ въ колеблющихся образахъ и очертаніяхъ, стало быть не можетъ служить основаніемъ. Фактъ есть нѣчто существенно реальное, неразрывно связанное съ условіями матеріальной природы, и въ ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отдѣлять этотъ фактъ отъ матеріальной его среды, опредѣлить духовное его начало, уловить его истинный разумъ,—какъ уже теряемся въ сѣти предположеній, гипотезъ, недоумѣній, возникающихъ въ умѣ каждаго отдѣльнаго мыслителя,—и чувствуемъ свое безсиліе познать его *истину.* Вотъ почему исторія представляетъ намъ такое смѣшеніе

представленій о каждомъ событіи, о каждомъ историческомъ дѣятелѣ, когда мы пытаемся анализировать духовное значеніе того или другого. Самая высшая добросовѣстность историческаго изслѣдованія можетъ стремиться лишь къ начертанію вѣрной картины событій и дѣйствій въ связи съ современными имъ условіями жизни и дѣятельности, къ возстановленію факта въ полной по возможности матеріальной его обстановкѣ, съ изслѣдованіемъ причинъ, послѣдствій и побудительныхъ причинъ исторической дѣятельности. Очевидно, что наука здѣсь не можетъ обойтись безъ художества, и всякій подлинный историкъ долженъ быть художникомъ въ трудѣ своемъ. Для художества небходимъ идеалъ; слѣдовательно историкъ, въ оцѣнкѣ событій и дѣйствующихъ лицъ, непремѣнно имѣетъ въ виду идеалъ, черты коего могутъ быть не одинаковы у каждаго. Каждый наклоненъ увлекаться своимъ идеаломъ, то есть своимъ представленіемъ о совершенствѣ въ побужденіяхъ, дѣлахъ и учрежденіяхъ человѣческихъ. Къ событіямъ, во взаимной ихъ связи, историкъ относится критически, и характеръ критики опредѣляется сложившимся у каждаго міросозерцаніемъ. Вотъ почему такъ различны и часто противорѣчивы сужденія и приговоры исторической критики о знаменитѣйшихъ дѣятеляхъ и важнѣйшихъ событіяхъ исторіи. Кого одинъ возвышалъ вчера, того другой сегодня развѣнчиваетъ, и наоборотъ, кого прежде историческая наука выставляла извергомъ, въ томъ послѣ находитъ черты нравственнаго превосходства. Едва ли когда будетъ конецъ этимъ колебаніямъ исторической критики;—ибо самый идеалъ ея представляетъ колеблющіяся черты и съ каждымъ поколѣніемъ ученыхъ и художниковъ измѣняется.

Несравненно раньше прагматической исторіи изъ глубины народнаго сознанія и творчества народнаго возникла *легенда* и продолжаетъ твориться наряду съ исторіей. Она

служитъ сама источникомъ для исторіи и предметомъ исторической критики, но, не взирая ни на какую критику, остается драгоцѣннымъ достояніемъ народа, сохраняя въ себѣ всю свѣжесть непосредственнаго представленія. Народъ понимаетъ ее и любитъ ее,—и, прибавимъ, продолжаетъ творить ее, не только потому, что склоняется къ чудесному, но потому еще, что чуетъ въ ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства,—истину, которой не можетъ дать ему никакой—самый тонкій и художественный—критическій анализъ фактовъ. Тѣхъ героевъ народной поэмы, которыхъ развѣнчиваетъ исторія, народъ продолжаетъ чтить; въ нихъ драгоцѣнны для него черты идеала—идеала силы, добродѣтели, святости, ибо въ этихъ идеалахъ, а не въ людяхъ, не въ событіяхъ, не въ преходящихъ образахъ жизни, народъ чуетъ *абсолютную истину*. Ученые не хотятъ понять, что народъ *чуетъ душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить матеріально, выставить осязательно, опредѣлить числомъ и мѣрою,— но въ нее можно и должно *впровать*, ибо абсолютная истина доступна только *вѣрѣ*. Ничего нѣтъ совершеннаго, ничего—цѣльнаго, ничего — единаго въ дѣлахъ, чувствахъ и побужденіяхъ человѣческихъ, ибо всякій человѣкъ раздвоенъ самъ въ себѣ и только стремится къ объединенію, падая и колеблясь на каждомъ шагу. И такъ, если подойдемъ съ анализомъ къ каждому подвигу, къ каждому событію, къ каждому историческому лицу,— никто его не выдержитъ, и героевъ не будетъ ни единаго. Каждому подвигу предшествуетъ такая цѣпь нравственныхъ колебаній, его объемлетъ такая сѣть разнохарактерныхъ ощущеній, побужденій, случайныхъ событій, направляющихъ, измѣняющихъ, разсѣкающихъ волю человѣческую,—что для пытливаго ума не остается и мѣста подвигу, какъ цѣльному, свободному проявленію воли, направленной къ идеалу. Но

въ народномъ представленіи подвигъ является именно цѣльнымъ и живымъ проявленіемъ силы: такъ вѣруетъ народъ, и безъ этой вѣры жить не можетъ, ибо на ней вся жизнь человѣка держится, посреди рыданія и жалости, и горя, и лжи, коею она матеріально наполнена.

Вотъ почему заблуждаются тѣ, которые хотятъ разложить эту вѣру въ народѣ, отнять ее у него, подъ предлогомъ заботы о мнимой исторической истинѣ. Людямъ необходима вѣра въ идеалъ истины и добра:—но какъ сохранить эту вѣру, какъ поддержать ее, если она не воплощается *въ живомъ образѣ?* Отнять у людей этотъ образъ, значитъ—отнять самую вѣру, которая въ немъ выражается, вѣру въ абсолютную истину, въ цѣльное совершенство. Вотъ почему, между прочимъ, любимое по преимуществу чтеніе русскаго народа—житія святыхъ. Четья-Минея, вся составленная изъ живыхъ образовъ подвига, добродѣтели, нравственнаго совершенства. Каждый изъ этихъ героевъ святости былъ—человѣкъ, со всѣми слабостями человѣческой природы, со всякимъ колебаніемъ мысли, побужденія и воли, со всею низостью паденія человѣческаго, и еслибъ можно было разложить душу его, мы бы увидѣли въ ней всю тайну первороднаго грѣха и все безсиліе борьбы человѣка съ самимъ собою. Но изъ этой борьбы вышелъ онъ побѣдителемъ, но борьба эта совершалась во имя высшихъ идеаловъ совершенства, коего мѣра не на землѣ, а на небѣ, въ области абсолютнаго. И этотъ подвигъ его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестиваго писателя, которая вложила въ описаніе живую любовь къ той же истинѣ, живое стремленіе къ тому же идеалу. Вотъ въ чемъ народъ чуетъ *истину*—и не сомнѣвается, и вѣруетъ, въ то время, когда пытливая философія ученаго агностика пытаетъ факты и, думая познать въ нихъ матеріальную истину, въ то же

время о духовной истинѣ, объ истинѣ, которая сама отзывается въ вѣрующей душѣ,—пасмѣшливо спрашиваетъ: „Что есть истина?“

IV.

Въ мнѣ Прометея, связаннаго Зевсомъ и пригвожденнаго къ кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новѣйшаго скептицизма, въ сопоставленіи съ идеей Всемогущаго Бога, Создателя вселенной. Это протестъ гордаго духа противъ общаго вѣрованія въ бытіе Божіе, отрицаніе невыносимаго для гордости чувства стыдѣнія (reverentia) передъ Божествомъ, покорности и поклоненія Божеству. Нужды нѣтъ, что отъ Божества взятъ, у Божества похищенъ священный огонь, которымъ живетъ, согрѣвается, оплодотворяется человѣчество,—человѣкъ знать этого не хочетъ, и владѣя Божественнымъ огнемъ, хочетъ жить въ отчужденіи отъ Божества, самовластно.

Сфинксъ древней басни сидѣлъ на распутіи и предлагалъ каждому путнику свою загадку. Кто не умѣлъ разгадать ее, тотъ былъ жертвою сфинкса и повергался въ пропасть: одолѣть чудовище могъ лишь мудрецъ, находившій разгадку.

Что такое сфинксъ въ нашей жизни? Вся наша жизнь—безконечная, съ виду механическая цѣпь явленій и событій—(фактовъ). Другъ друга смѣняя, совокупляясь другъ съ другомъ, всѣ они, пролетая мимо, несутъ на крыльяхъ свои вопросы духу человѣческому, и каждая минута, въ коловращеніи времени, приводитъ свои, *современные* вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы отвѣтить на нихъ, чтобъ разрѣшить ихъ: у кого нѣтъ ея, тотъ становится *рабомъ* фактовъ

и явленій,—*рабомъ своего времени*—хотя бы и величался человѣкъ *современнымъ*. Факты подавляютъ его со всѣхъ сторонъ, господствуютъ надъ нимъ,—и выходитъ человѣкъ *пошлыхъ путей*, чувственнаго обычая (рутиперъ),—и до того доходитъ въ слѣпомъ повиновеніи фактамъ, что исчезнетъ въ немъ наконецъ послѣдняя искра свѣта, просвѣщающаго всякое существо достойное имени и званія человѣческаго. Но когда человѣкъ остается вѣренъ лучшимъ духовнымъ побужденіямъ своей природы, когда умѣетъ различать основныя начала духовной жизни и твердо стоитъ въ духѣ, не повинуясь фактамъ, но господствуя надъ ними, тогда всѣ они ровно ложатся около него въ жизни, каждый на свое мѣсто: не они его одолѣли, но онъ одолѣлъ ихъ...

Сфинксъ древняго Египта не то, что сфинксъ древней Греціи, хотя и тотъ и другой выражаетъ таинство души человѣческой.

Египетскій сфинксъ—мирное существо получеловѣческое, полуживотное. Передъ храмомъ, передъ царскою гробницей, проходя длиннымъ рядомъ сфинксовъ, человѣкъ ощущаетъ близость Божества—и таинства смерти. Сфинксъ является образомъ таинственнаго созерцанія, погруженнаго въ себя и въ идею Божества: древніе египтяне олицетворяли въ немъ Божество солнечнаго свѣта.

Не таковъ сфинксъ *новаго* міра, созданіе Греческой фантазіи. Это существо демоническаго происхожденія, порожденіе чудовищнаго Тифона и Ехидны, олицетвореніе не свѣтлаго Божества, но темной силы Тартара,—существо звѣрское, хищное, губительное. И въ немъ выражается таинство, но не таинство погруженнаго въ себя созерцанія,—а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этотъ сфинксъ донынѣ не перестаетъ задавать человѣчеству страшныя, таинственныя загадки,—загадки неразрѣшимыя. Тысячи умовъ пытаются найти рѣшеніе, разгадать загадку жизни и религіи,—и не могутъ. Но каждая и безуспѣшная попытка рѣшенія—только погружаетъ мысль и чувство въ новыя бездны, и каждая загадка порождаетъ лишь сотни и тысячи новыхъ неразрѣшимыхъ загадокъ,—и передъ бѣднымъ человѣчествомъ разверзается, въ видѣ чудовища, бездна погибели, и оно рвется въ бездну, если не остановится на камнѣ простой твердой вѣры и яснаго мышленія...

V.

Великій вопросъ, не престающій смущать умъ и совѣсть во всѣмъ человѣчествѣ—вопросъ объ осуществленіи въ отношеніяхъ человѣческихъ правды и любви, заповѣданныхъ Христомъ, полагаемыхъ христіанскою Церковью въ основаніе своего ученія. Нѣтъ разума, который нашелъ бы ключъ къ разрѣшенію этого противорѣчія, нѣтъ совѣсти, которая успокоилась бы на немъ. Проходя мыслью кровавую исторію войнъ, раздоровъ, насилія, неправды, невѣжества и суевѣрія, длящуюся съ начала міра до днешняго дня—и въ общественной и въ частной жизни, всякій съ ужасомъ спрашиваетъ себя—гдѣ же и въ чемъ же исполненіе закона Христова посреди того ада, въ которомъ живемъ мы и движемся? Гдѣ выходъ изъ того состоянія, въ которомъ самая религія представляется какъ бы зерцаломъ лжи и лицемѣрія, показателемъ противорѣчій между дѣломъ и сознаніемъ, сѣтью обрядовъ и формальностей, служащихъ покровомъ прельщаемой совѣсти и мнимымъ оправданіемъ неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцемъ,

есть дѣла любви и разума, на которыхъ мысль отдыхаетъ и временно успокоивается; но, обозрѣвая совокупность жизни, видитъ начальства и власти, забывающія свое призваніе, видитъ неправедные прибытки въ чести и славѣ, богатство нажитое хищеніемъ, поглотившее самую власть и владѣющее міромъ, видитъ беззаконіе самоувѣренное подъ покровомъ наружнаго благочестія, видитъ тысячи и милліоны, приносимые въ жертву богу войны, идолу вражды и насилія, видитъ наконецъ безчисленныя массы, прозябающія безъ сознанія, развираемыя нуждою, живущія и умирающія въ страданіи. Гдѣ-же, спрашиваетъ, царство Христово, царство любви и правды, гдѣ-же дѣйственная сила религіи.—гдѣ цѣль и конецъ бѣственной человѣческой жизни?

Сколько разъ слышалось и слышится—издревле и до нашихъ дней ожиданіе золотого вѣка въ человѣчествѣ—и оканчивается оно разочарованіемъ, если не безнадежностью—ибо христіанинъ не можетъ, не долженъ быть безнадеженъ. Ветхозавѣтные пророки изображаютъ будущее состояніе мира и благоденствія въ человѣчествѣ. Христосъ принесъ на землю заповѣдь любви и мира, но не исполненіе этой заповѣди—исполненіе, въ которомъ не оставалось бы мѣста свободѣ: эта самая заповѣдь, по Его слову, явилась мечемъ и должна была зажечь огонь въ сердцахъ человѣческихъ. И когда, по воскресеніи Его, отъ сердецъ, загорѣвшихся надеждою на обновленіе міра, послышался робкій вопросъ: „Господи, не въ это ли лѣто устрояешь Ты царство Израилево?“ отвѣтъ Его былъ: „не дано вамъ разумѣть времена и лѣта: ихъ Господь положилъ во Своей власти.“—Время, размѣренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лѣтъ какъ день, и день какъ тысяча лѣтъ.

И юная Церковь Христова первыхъ столѣтій, посреди гоненій, посреди пороковъ и бѣдъ, жила тою же надеждой на устроеніе царства Израилева: эта надежда на побѣду правды въ человѣчествѣ была новою силой, которую внесло въ безотрадный языческій міръ христіанство. Настало страшное время, когда эта сила повидимому изсякла, и надежда перешла въ отчаяніе. Взятіе и разрушеніе Рима Аларихомъ поразило весь христіанскій міръ невыразимымъ ужасомъ; и вѣрующія души омрачились сомнѣніемъ: гдѣ же сила христіанства, гдѣ же спасеніе? А міръ языческій вопіялъ: всѣ бѣды эти отъ новой религіи Христовой. Тогда Блаженный Августинъ ободрилъ смущенную совѣсть и возстановилъ надежду христіанскую своей одушевленною книгой „*О градѣ Божіемъ*," разъясняя людямъ судьбы Промысла Божественнаго въ исторіи человѣчества и непреложность ученія о царствѣ, еже не отъ міра сего.

Съ тѣхъ поръ и допынѣ, въ эпохи общественныхъ бѣдствій, въ разгарѣ насилія и разврата общественнаго, сколько разъ поднимается тотъ же самый вопросъ въ христіанскомъ мірѣ! И мы переживаемъ такое время, когда начинаетъ повидимому оживать давно прошедшее язычество, и поднимая голову, стремится превозмочь христіанство, отрицая и догматы его, и установленія, и даже нравственныя начала его ученія,—когда новые проповѣдники, подобно языческимъ философамъ древняго вѣка, съ злобною ироніей обращаютъ къ остатку вѣрующихъ горькое слово: „вотъ къ чему привело міръ ваше христіанство? вотъ чего стоитъ ваша вѣра, исказившая природу человѣческую, отнявшая у ней свободу похоти, въ которой состоитъ счастіе!" Что-же, неужели погибаетъ передъ напоромъ древняго язычества „побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша?"

Нѣтъ, она остается цѣлою, въ святой Церкви, о коей Создавшій ее сказалъ: „врата адовы не одолѣютъ ей." Она

хранитъ въ себѣ ключи истины, и въ наши дни, какъ и во всѣ времена, всякъ, кто отъ истины, слушаетъ гласа ея. Въ ней, подъ покровами образовъ и символовъ, содержатся силы, долженствующія собрать отовсюду разсѣянное и обновить лице земли. Когда это будетъ, вѣдаетъ Единъ, времена и лѣта положивый въ Своей власти.

А между тѣмъ, отъ самаго начала Церкви, нетерпѣливыя сердца, гордые умы не перестаютъ искать, помимо Церкви и вопреки ей, новыхъ ученій, долженствующихъ обновить человѣчество, исполнить законъ любви и правды, водворить миръ и благоденствіе на землѣ. Поражаясь чудовищными противорѣчіями между ученіемъ Христа Спасителя и жизнію христіанъ, составляющихъ Церковь Христову—они возлагаютъ вину на Церковь съ ея установленіями и, приходя къ отрицанію существующей отъ начала христіанства Церкви, думаютъ утвердить вмѣсто нея свое, очищенное, по мнѣнію ихъ, ученіе Христово, отрѣшенное отъ Церкви, выводимое по ихъ усмотрѣнію изъ отдѣльныхъ текстовъ Евангелія.

Странное заблужденіе. Люди, подверженные той же похоти и тому же грѣху, какому подвержено все окружающее ихъ общество, люди одного со всѣми естества, раздвоеннаго въ себѣ, склоннаго хотѣть, чего не дѣлаетъ, и дѣлать, чего не хочетъ,—себя однихъ представляютъ едиными въ духѣ и являются непризванными учителями и пророками. Похоже на то, какъ бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точкѣ, тогда какъ весь міръ и они вмѣстѣ съ міромъ кругомъ обращаются. Начиная съ разрушенія закона, сами они не въ силахъ создать новый законъ изъ тѣхъ частей и обрывковъ цѣльнаго ученія, которое отвергли. Отрицая Церковь,—они приходятъ, однако, къ тому, что хотятъ создать свою церковь съ своими проповѣдниками и служи-

телями, и если успѣваютъ въ томъ, повторяется на нихъ то же, что они осуждали и противъ чего возставали:—только съ новымъ умноженіемъ лжи и лицемѣрія, и безумной гордости, возвышающейся надъ міромъ. Гордость ума, съ презрѣніемъ къ людямъ той же плоти и крови, возбуждаетъ ихъ разорять старый законъ и созидать новый. Они забываютъ, что Тотъ же Учитель Божественный, имя Коего призываютъ они, будучи кротокъ и смиренъ сердцемъ, не хотѣлъ измѣнять ни одной черты въ законѣ, но каждую черту оживотворялъ духомъ любви, въ ней сокрытымъ.

Осуждая догматизмъ и обрядность, они сами подъ конецъ обращаются въ узкихъ и властолюбивыхъ догматиковъ: возставая противъ фанатизма о нетерпимости, они сами становятся злѣйшими фанатиками и гонителями; проповѣдуя любовь и правду, сами безсознательно проникаются духомъ злобы и пристрастія. Гордость, ослѣпляя ихъ, не допускаетъ ихъ сознать, какой соблазнъ вносятъ они въ область вѣры, разрушая простоту ея и цѣльность въ душахъ простыхъ, которыя Церковь не успѣла еще воспитать и привесть въ сознаніе вѣры.

Не трудно,—но и какъ безумно, какъ безсовѣстно, соблазнить простую душу, въ которой есть только чистое, незанятое поле религіознаго чувства, душу невоспитанную, невѣжественную въ истинахъ вѣры! Ужасно подумать, что къ такой душѣ приступаютъ съ голымъ отрицаніемъ Церкви, и хотятъ ее увѣрить, что эта Церковь съ ея ученіемъ и таинствами, съ ея символами, обрядами и преданіями, съ ея поэзіей, одушевлявшей изъ вѣка въ вѣкъ множество поколѣній, есть ложное и ненавистное учрежденіе. Простая душа была душа смиренная: сектантство возводитъ ее на высоту *гордости*—своею, *особливою* вѣрой, а вѣру вмѣщаетъ въ узкую рамку сектантской *формулы*. Нѣтъ души, какъ бы

ни была она невѣжественна,—къ коей нельзя было бы привить такую безсмысленную гордость съ увѣренностью въ своей правдѣ—предъ кѣмъ? Предъ цѣлымъ народомъ, составляющимъ Церковь и живущимъ въ смиренномъ сознаніи своей грѣховности передъ Богомъ и въ смиренной надеждѣ на прощеніе грѣховъ и на спасеніе въ молитвѣ церковной. Плоды этой гордости въ дальнѣйшемъ ея развитіи очевидны. Это—*лицемѣріе* въ самодовлѣющемъ сознаніи праведности; это—злобное раздраженіе противу всѣхъ иначе вѣрующихъ, и до страсти доходящее стремленіе къ отвлеченію отъ церковнаго стада разсѣянныхъ овецъ его,—при чемъ всякія средства считаются годными для достиженія цѣли.

Церковь подлинно корабль спасенія для пытливыхъ умовъ, мучимыхъ вопросами о томъ, во что вѣровать и какъ вѣровать. Пуститься съ этими вопросами въ безбрежное море изслѣдованій, сомнѣній и логическихъ выводовъ—страшно для ограниченнаго ума человѣческаго, для прихотливаго воображенія, для самолюбія, стремящагося искать новыхъ путей. Утвердившись на своей, надуманной вѣрѣ, ставя себя съ нею выше авторитета церковнаго, человѣкъ въ сущности можетъ кончить тѣмъ, что увѣруетъ въ себя, какъ носителя вѣры; можетъ дойти до нетерпимости и фанатизма, до страннаго обольщенія мысли—принимать вѣру за самодовлѣющій элементъ спасенія, отрѣшенный отъ жизни и дѣятельности.

Христосъ въ грозномъ обличеніи книжникамъ и фарисеямъ своего времени, не имъ одинмъ высказываетъ строгое слово предупрежденія и осужденія: это слово надлежало бы уразумѣть и помнить всѣмъ безумнымъ фанатикамъ нашего времени, непризваннымъ учителямъ новыхъ вѣроученій.

„Не называйтесь наставниками—одинъ вашъ наставникъ Христосъ, и горе вамъ, преходящимъ море и сушу сотворить единаго пришельца.“ Церковь христіанская имѣетъ наставниковъ, поставленныхъ самимъ Христомъ, Главою церкви. А ихъ, учителей новой вѣры, кто поставилъ и послалъ? Развѣ духъ самолюбія и гордости, духъ раздѣленія и вражды, которую они сѣютъ между людьми своею проповѣдью. Воображаютъ, что разрушивъ ограду, содержащую и охраняющую ученіе Христово, лучше привлекутъ людей къ этому ученію, которое одни они будто бы разумѣютъ! Говорятъ о любви, но отвлекая человѣка отъ церковнаго союза, возбуждаютъ въ немъ гордость, злобу и ненависть къ оставленнымъ собратіямъ; соблазняя людей тѣмъ, что сами отъ себя изобрѣли и называютъ истиной, полагаютъ ее въ отрицаніи того, что признала истиною отвергаемая ими церковь.

„Истина, говорятъ они.—есть драгоцѣннѣйшее достояніе души человѣческой. И такъ, если я увѣренъ, что обладаю истиной, какъ мнѣ оставаться въ бездѣйствіи, какъ утерпѣть, чтобъ не сообщить ее своему ближнему, пропадающему отъ того, что онъ не имѣетъ, не знаетъ истины?“ Но кто меня удостовѣритъ, непризванный учитель, что эта твоя истина утверждается не на одномъ личномъ твоемъ представленіи и свидѣтельствѣ? покажи мнѣ еще авторитетное свидѣтельство объ ней. Или ты можешь утверждать, что на ней лежитъ печать Божественнаго откровенія? Или ты въ правѣ провозгласить объ ней, подобно древнимъ пророкамъ: такъ речетъ Господь? Мнимая твоя достовѣрность не что иное, какъ личное, хотя и искреннее, твое убѣжденіе: если для тебя самого это значитъ все, то для меня, ближняго твоего, ровно ничего не значитъ. Или получилъ ты свыше повелѣніе итти въ міръ съ проповѣдью

и учить человѣчество тому, чему самъ научень свыше? Но такого велѣнія ты не можешь мнѣ выставить и явственно удостовѣрить. И такъ всякій проповѣдникъ новой вѣры, сколько бы ни считалъ непререкаемымъ свое убѣжденіе, долженъ же имѣть и показывать уваженіе къ убѣжденіямъ своихъ ближнихъ.

Но именно этого то уваженія фанатикъ новой вѣры и признавать не хочетъ, отвергая его, какъ нѣчто недостойное. Свою операцію начинаетъ онъ вести прямо съ вѣры своего ближняго, воздвигая противъ нея стѣнобитное орудіе для разрушенія всей ограды этого вѣрованія и цѣлой его системы, дабы поставить свое на его мѣсто. Это, вѣками утвержденное вѣроученіе для тѣхъ, кто держится его, составляетъ всю опору жизни; но чѣмъ оно глубже и искрепчѣе, чѣмъ тверже основаніе, на коемъ оно возникло и стоитъ, тѣмъ задорнѣе ведется противъ него аттака, тѣмъ больше разгарается желаніе разрушить его, и на обломкахъ его построить свое задуманное зданіе. Цѣль—повидимому—созидательная, но вся дѣятельность, къ ней направленная—разрушительная. Разрушивъ,—боецъ этотъ хочетъ строить, но и на мысль ему не приходитъ, какъ легко разрушить и какъ трудно строить на мѣстѣ разрушеннаго. Разрушенное стояло на фундаментѣ, вросшемъ въ глубину; но когда оно пало,—надобно для новаго зданія въ новой глубинѣ воздвигать новый фундаментъ, и дерзкою рукою стремиться повторять вѣковую работу духа человѣческаго: кто далъ на это право и силу непризванному разрушителю? Онъ овладѣлъ своей жертвой и вывелъ ее—куда? въ пустыню, гдѣ сотни дорогъ открыты во всѣ стороны и нѣтъ ни одного яснаго и широкаго пути. Какова бы ни была цѣль—вотъ гдѣ конецъ фанатическаго религіознаго прозелитизма: въ пустынѣ.

VI.

Передовые люди, основатели религій, на высотахъ созерцанія сознавая, въ системѣ вѣроученія, идею Божества и Его отношенія къ человѣку, создаютъ въ примѣненіи къ ней и формы культа, одухотворенныя тою же идеей. Но масса народная пребываетъ въ долинѣ, и свѣтъ чистаго созерцанія, озаряющій верхи горъ, не скоро до нея доходитъ. Въ массѣ религіозное представленіе, религіозное чувство выражается во множествѣ обрядностей и преданій, которыя съ высшей точки зрѣнія могутъ казаться суевѣріемъ и идолослуженіемъ. Строгій ревнитель вѣры возмущается, негодуетъ и стремится разбить насильственною рукой эту оболочку народной вѣры, подобно тому какъ Моисей разбилъ тельца, слитаго Ааропомъ по просьбѣ народа, въ то время когда пророкъ пребывалъ въ высокомъ созерцаніи на высотахъ Синайскихъ. Отсюда, доходящая до фанатизма, пуританская ревность вѣроучителей.

Но въ этой оболочкѣ, не рѣдко грубой, народнаго вѣрованія таится самое зерно вѣры, способное къ развитію и одухотворенію, таится та же вѣчная истина. Въ обрядахъ, въ преданіяхъ, въ символахъ и обычаяхъ—масса народная видитъ реальное и дѣйственное воплощеніе того, что въ отвлеченной идеѣ было бы для нея не реально и бездѣйственно. Что, если, разбивъ оболочку, истребимъ и самое зерно истины? что, если, исторгая плевелы, исторгнемъ вмѣстѣ съ ними и пшеницу? Что, если, стремясь разомъ очистить народное вѣрованіе подъ предлогомъ суевѣрія, истребимъ и самое вѣрованіе? Если формы, въ которыхъ простые люди выражаютъ свою вѣру въ живаго Бога, иногда смущаютъ насъ,—подумаемъ, не къ намъ ли

относится заповѣдь Божественнаго Учителя: „блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ вѣрующихъ въ Мя.“

Въ одной арабской поэмѣ встрѣчается такое поучительное сказаніе знаменитаго учителя Джелалледина. Однажды Моисей, странствуя въ пустынѣ, встрѣтилъ пастуха, усердно молившагося Богу. И вотъ какою молитвою молился онъ: „О, Господи Боже мой, какъ бы знать мнѣ, гдѣ найти Тебя и стать рабомъ Твоимъ. Какъ бы хотѣлось надѣвать сандаліи Твои и расчесывать Тебѣ волосы, и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебѣ молоко отъ стада моего: такъ Тебя желаетъ мое сердце!“ Распалился Моисей гнѣвомъ на такія слова и сказалъ пастуху: „Ты богохульствуешь: безтѣлесенъ Всевышній Богъ, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, невѣрный?“

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не могъ онъ представить себѣ образъ безъ тѣлесной формы и безъ нуждъ тѣлесныхъ: онъ предался отчаянію и отсталъ служить Господу.

Но Господь возгласилъ къ Моисею и такъ сказалъ ему: „Для чего отогналъ ты отъ Меня раба Моего? всякій человѣкъ принялъ отъ Меня образъ бытія своего и складъ языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебѣ ядъ, а иному медъ сладкій. Слова ничего не значатъ: Я взираю на сердце человѣка.“

VII.

Древній Персидскій поэтъ Мухаммедъ Руми (13 стол.)— авторъ знаменитой поэмы *Маснави*. Въ ней есть замѣчательные стихи о молитвѣ, достойные вѣрующей души.

„Нѣкто, въ сладость устамъ своимъ возопилъ въ тишинѣ ночной: „о Алла!“ А сатана сказалъ ему: „молчи ты, угрюмецъ, долго ли тебѣ болтать пустыя слова? не дождешься ты отвѣта съ высоты престольной, сколько ни станешь кричать: „Алла!“ и дѣлать печальный видъ!“

Смутился человѣкъ, горько ему стало, и повѣсилъ онъ голову. Тогда явился ему пророкъ Кизръ въ видѣніи и сказалъ: „Зачѣмъ пересталъ ты призывать Бога и раскаялся отъ молитвы своей“? И отвѣчалъ человѣкъ: „не слыхалъ я отвѣта, не было гласа: „Я здѣсь, и боюсь я, что отверженъ сталъ отъ благодатной дверп.“ И сказалъ ему Кизръ: „Вотъ что повелѣлъ мнѣ Богъ. Иди къ нему и скажи: О, искушенный во многомъ человѣкъ! Не Я ли поставилъ тебя на служеніе Свое? Не Я ли заповѣдалъ тебѣ взывать ко Мнѣ? И Мое: „Здѣсь Я“ одно и то же, что и твой вопль: „Алла!“ И твоя скорбь и стремленіе твое и горячность твоя—все это Мои къ тебѣ вѣстники; когда ты боролся въ себѣ и взывалъ о помощи—этой борьбою и воплемъ Я привлекалъ тебя къ Себѣ и возбуждалъ твою молитву. Страхъ твой и любовь твоя—покровы Моей милости, и въ одномъ твоемъ словѣ „о, Господи!“ множество отзывается голосовъ: „Я здѣсь съ тобою!“

Идеалы невѣрія.

I.

Древнее слово: „рече безумень въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ, выступаетъ нынѣ во всей своей силѣ. Правда его ясна какъ солнце, хотя нынѣ всѣми „передовыми умами“ овладѣло какое-то страстное желаніе обойтись безъ Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди,—по мысли добродѣтельные и честные, тѣ задаютъ себѣ вопросъ, какъ бы сдѣлать конструкцію добродѣтели, чести, и совѣсти безъ Бога. Жалкія усилія!

Франція, дойдя до крайней степени политическаго разложенія, задумала, въ лицѣ своего правительства организовать народную школу „безъ Бога“. На бѣду, у насъ, иные представители интеллигенціи не далеко ушли отъ московской княжны, лепетавшей: „Ахъ, Франція! нѣтъ въ мірѣ лучше края“, и недавно еще прославленный педагогъ указывалъ намъ на новую французскую школу, какъ на идеалъ для подражанія.

Въ числѣ новыхъ французскихъ книгъ, оффиціально предназначенныхъ для руководства при обученіи въ женскихъ школахъ насчетъ правительства, есть книга, называемая: „Нравственное и гражданское наставленіе молодымъ дѣвицамъ“, сочин. г-жи Гревилль (Instruction morale et civique des jeunes filles). Это нѣчто въ родѣ гражданскаго катихизиса нравственности, коимъ предполагается замѣнить въ школахъ обученіе Закону Божію.

Книга эта весьма замѣчательна. Она раздѣлена на три части, и каждая часть на отдѣльныя главы. Первая часть содержитъ въ себѣ правила нравственности, понятія о долгѣ, о чести, совѣсти и т. под. Вторая часть содержитъ въ себѣ краткое ученіе о государствѣ и о государственныхъ учрежденіяхъ. Третья часть—ученіе о женщинѣ, о ея призваніи, качествахъ и добродѣтеляхъ. Изложеніе книги—сжатое, простое, ясное—какъ пишутся учебники, со множествомъ наглядныхъ примѣровъ, съ картинками въ текстѣ. Нельзя ничего возразить противъ сущности самаго ученія: оно зоветъ къ порядку, къ доброй нравственности, къ чистотѣ мысли и намѣренія, къ добродѣтели, и обращается энергически къ чувству и сознанію долга, а женщинѣ строго указываетъ ея обязанности въ домашней жизни и въ обществѣ.

Но примѣчательно вотъ что. Ни разу ни на одной страницѣ не упоминается о Богѣ, нѣтъ ни малѣйшаго намека на религіозное чувство. Авторъ, изъясняя глубокое и рѣшительное значеніе *совѣсти* въ человѣкѣ, даетъ такое опредѣленіе совѣсти: „совѣсть есть соображеніе того *мнѣнія,* которое имѣютъ о насъ и о дѣйствіяхъ нашихъ другіе люди“ (considération de l'opinion des autres). На этомъ-то зыбкомъ и колеблющемся грунтѣ *людского мнѣнія* сочинители стремятся утвердить нравственныя основы цѣлой

жизни! Подлинно исполняется на этомъ слово: „Мнящіеся быть мудрыми—обезумѣли.“

Къ несчастію, въ этотъ потокъ безумія, разливающійся нынѣ во Франціи, привлекаются, и изъ нашей бѣдной Россіи, мелкіе ручьи доморощенной интеллигенціи; и отъ глашатаевъ ея, изъ журналовъ и газетъ, изъ передовыхъ статей и фельетоновъ, слышится повторяемый хоромъ тотъ же голосъ московской княжны. Къ тому же хору присоединяются нерѣдко благонамѣренные, но чрезъ мѣру наивные и неопытные умы, воображающіе, что журналы и газеты приносятъ имъ какое-то „новое слово“ цивилизаціи.

Жалко читать, какъ журнальные критики разсуждаютъ въ вопросѣ школы, что безъ религіи, конечно, нельзя, что религіозное обученіе нужно, но все это безъ церкви и ея служителей. Говорили бы уже прямѣе и проще. Мы-де не отвергаемъ религіознаго обученія, мы-де даже требуемъ его, мы не понимаемъ школы безъ него,—только не хотимъ *клерикализма*. А подъ покровомъ этого термина разумѣется церковь и церковность. Этотъ іезуитскій пріемъ изложенія, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводитъ въ заблужденіе многихъ читателей, не умѣющихъ „различать духъ“ писанія.

Не знаютъ эти добрые люди, что нынѣ и слово *религія*, какъ и многія другія слова, измѣнилось въ своемъ значеніи, и подъ нимъ стали уже многіе разумѣть нѣчто такое, отъ чего, если-бъ распозналъ, отступилъ бы съ ужасомъ человѣкъ, подлинно вѣрующій въ Бога. Не знаютъ, что въ наше время выдумана религія *безъ Бога*, и самое слово *Богъ*, въ употребленіи у такъ называемыхъ *людей науки*, получило особливое значеніе.

Въ 1882 году появилась замѣчательная книга, обратившая на себя общее вниманіе. Отрицаніе Бога высказывалось

большею частью ненавистниками всякой религіи, съ чувствомъ ожесточенія, съ выраженіемъ легкомысленной или злобной ироніи, съ проповѣдью объ исключительномъ значеніи *матеріи* для вселенной. Въ этой книгѣ въ первый разъ выразилось, въ спокойномъ тонѣ, съ достоинствомъ, съ идеальнымъ воззрѣніемъ на жизнь, цѣлое ученіе о религіи безъ Бога. Книга эта называется: *Натуральная религія* (Natural Religion, Lond. 1883). Авторъ ея — оксфордскій профессоръ Сили (Seeley), тотъ самый, коего первое сочиненіе *Ecce Homo*, появившееся лѣтъ за десять предъ тѣмъ, обратило тогда на себя вниманіе не только людей мірской науки, но и благочестивыхъ идеалистовъ, мнившихъ найти въ немъ какое-то новое слово о Христѣ и о христіанской вѣрѣ. Нѣкто изъ увѣровавшихъ въ эту книгу издалъ ее и въ русскомъ переводѣ.

Но людямъ церковнымъ и въ то время книга эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись къ ней съ довѣріемъ.

Книга эта содержала въ себѣ художественный анализъ земной жизни и характеръ Іисуса Христа, исключительно въ чертахъ человѣческой Его натуры. Она была написана въ духѣ глубокаго благоговѣнія, языкомъ философскимъ, но не чуждымъ терминовъ церковныхъ и богословскихъ. Цѣлію анализа явно выказывалось намѣреніе выяснить образъ Христовъ для благоговѣйнаго подражанія. Казалось, авторъ — христіанинъ, исполненный благочестиваго чувства. Однако, многимъ благочестивымъ читателямъ этой книги было отъ нея смущеніе: какъ будто съ ихъ христіанскимъ воззрѣніемъ и чувствомъ не сходится тоже, повидимому, христіанское чувство и воззрѣніе автора. Образъ Христа въ этой книгѣ былъ образомъ верховной святости, чистоты и благости, но не родной,

не свой, не тотъ, Кого мы привыкли съ дѣтства чтить Богочеловѣкомъ, Словомъ Божіимъ, не тотъ Христосъ, Кого славитъ Церковь Христова. Что-то неладное слышалось въ книгѣ, какъ будто авторъ ея или утратилъ вѣру, или недалеко стоитъ отъ того. Однако, въ этой книгѣ авторъ видимо утверждалъ еще вѣру въ личное бытіе Бога, въ безсмертіе души человѣческой, въ мессіанское значеніе пришествія Христа въ міръ, и даже, хотя съ нѣкоторымъ колебаніемъ, въ дѣйствительность чудесъ Христовыхъ.

Прошло 10 лѣтъ, и онъ является, какъ ни въ чемъ не бывало, восторженнымъ проповѣдникомъ религіи, но религіи новой, не Христовой. Старое откровеніе,—говоритъ онъ,—отслужило свою службу; вмѣсто него явилось новое: новѣйшіе естествоиспытатели, историки, филологи—принесли намъ такое откровеніе, о коемъ и не мечтали древніе пророки. Съ этой точки зрѣнія библейская критика нѣмецкихъ ученыхъ выше и совершеннѣе самой Библіи. Обращаясь, съ необыкновенною наивностью, къ людямъ вѣрующимъ и церковнымъ, онъ говоритъ: о чемъ намъ спорить, о чемъ враждовать другъ съ другомъ? Мы можемъ соединиться въ одной вѣрѣ. Мы, люди науки, тоже вѣруемъ въ Бога. Нашъ Богъ—природа, которая есть въ извѣстномъ смыслѣ откровеніе. Итакъ, мы не безбожники, повторяетъ онъ, и весь споръ между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь споръ о словахъ. Не все ли равно: у насъ Богъ—природа, и научная теорія вселенной есть тоже теорія теизма. Вѣдь, природа есть сила внѣ насъ сущая, законъ ея для насъ безусловенъ,—вотъ, стало быть, Божество, которому мы покланяемся.

Не любопытно ли, что авторъ, отвергая личное бытіе Божіе, въ то же время протестуетъ энергически противъ обвиненія въ атеизмѣ, и самъ отвергаетъ и обсуждаетъ

атеизмъ. Что-же такое атеизмъ, по его мнѣнію? На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ такимъ измышленіемъ ума, который простому уму можетъ показаться безуміемъ.

„То, что обыкновенно называютъ атеизмомъ, есть очень метафизическая форма отрицанія и не имѣетъ серьезнаго значенія. Подлинный, дѣйствительный атеизмъ имѣетъ гораздо болѣе серьезное значеніе и заключаетъ въ себѣ великое нравственное зло. Настоящій атеизмъ можетъ быть названъ общимъ терминомъ *своеволіе* (wilfulness). Именно, всякая дѣятельность человѣческая есть сдѣлка съ природою, сдѣлка нашей потребности съ неотразимымъ закономъ природы... Не признавать ничего, кромѣ собственной воли, воображать доступнымъ все, что намѣтила сильная воля, не признавать внѣ себя никакой высшей силы, которую надлежитъ принимать въ соображеніе и склонять на свою сторону для успѣха въ предпріятіи, вотъ въ чемъ заключается *чистый атеизмъ*. Желая пояснить примѣромъ эту смутную и спутанную мысль, авторъ приводитъ въ примѣръ государство, являющее въ судьбахъ своихъ образъ чистаго атеизма, и указываетъ на Польшу. Sedet aeternumque sedebit,—говоритъ онъ,—несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволіе, за то, что услаждалась безграничною личною свободой, не хотѣвшей считаться съ природою вещей“.

Составляя свою теорію религіи, авторъ описываетъ подробно, какъ выраждается, по его мнѣнію, религіозное чувство изъ науки, и какъ, проходя чрезъ призму воображенія, оно расчленяется въ нравственномъ существѣ человѣка въ форму троякой религіи: религію природы, религію человѣчества и религію красоты.

Въ этой книгѣ, написанной съ талантомъ и одушевленіемъ, высказано, хотя въ первый разъ съ такою пол-

потою, далеко не новое ученіе; читатель встрѣчаетъ въ немъ знакомыя черты столь моднаго въ наше время позитивизма, черты,—знакомыя по сочиненіямъ Канта, Джорджа Элліота и столь излюбленнаго у русскихъ переводчиковъ Герберта Спенсера. Ни въ одномъ изъ помянутыхъ сочиненій не обличается такъ явственно внутреннее безсиліе этой модной теоріи, какъ въ книгѣ „Natural Religion“. До какого безумія можетъ договориться умъ, когда, увлекаемый гордостью самообожанія, отвергаетъ *сверхъестественное* въ жизни и вселенной, и принимается строить свою теорію жизни въ ея отношеніяхъ ко вселенной. Эта теорія осуждена вертѣться въ заколдованномъ кругу и сама себѣ противорѣчитъ. Упраздняя личнаго Бога, она пытается удержать религію, и напрасно пытается установить предметъ религіознаго чувства, ибо кромѣ живаго Бога нѣтъ предмета для религіи. Отвергая невидимый міръ, безсмертіе души и будущую жизнь, она полагаетъ, однако, цѣлью жизни счастіе и напрасно пытается ограничить его предѣлами матеріи и земного бытія. Называя откровеніе выдумкою, или мечтою, и всякій догматъ ложью, она сама, однако, ищетъ опоры себѣ не въ иномъ чемъ, какъ въ новомъ догматѣ, выставляя, въ видѣ аксіомы, въ которую должно вѣрить, непремѣнный и безконечный прогрессъ человѣчества.

Эта теорія какъ разъ отражаетъ въ себѣ то *своеволіе* и гордое упорство мысли, которое нашъ авторъ соединяетъ въ своемъ понятіи съ атеизмомъ. Въ ней не видно той цѣльной и ясной *увѣренности*, которая служитъ признакомъ истины и прочности ученія. Проповѣдники ея—въ своей проповѣди о счастіи человѣчества—всѣ сотыкаются на дѣйствительности, которой не могутъ отрицать. Эта дѣйствительность есть неотвратимое присутствіе *зла*

и *дѣйствія*, насилія и неправды въ человѣческой жизни — аргументъ *пессимизма*. Этого аргумента нельзя утаить; одни изъ апостоловъ позитивизма стараются подавить и заглушить его, или лицемѣрно проходятъ его молчаніемъ; другіе, болѣе добросовѣстные, останавливаются передъ нимъ съ грустью и сомнѣніемъ. Къ числу послѣднихъ относится и нашъ авторъ. Прославлял новую, проповѣдуемую имъ религію природы, человѣчества и красоты, доказывая всю силу и дѣйственность соединяемаго съ нею религіознаго культа, онъ въ то же время говоритъ: „Едва начинаемъ мы успокоиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлѣетъ для человѣческой жизни, какъ поднимаетъ свою голову пессимизмъ и приводитъ насъ въ смущеніе“. „Если бы не пессимизмъ, замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, ничто не смущало бы нашего религіознаго поклоненія“. И въ самомъ концѣ книги, построивъ свое зданіе, говоритъ онъ такія рѣчи:

„Чѣмъ далѣе расширяются наши мысли по мѣрѣ того, какъ вселенная объемлетъ насъ и мы привыкаемъ къ безконечности, въ пространствѣ и времени, тѣмъ болѣе поражаетъ насъ чувство собственнаго ничтожества, и мы отъ ужаса цѣпенѣемъ — нравственный параличъ овладѣваетъ нами. На время утѣшаемъ себя идеей самопожертвованія, говоримъ: пускай *я* исчезну, буду думать о другихъ. Но вотъ, скоро и другіе становятся для насъ столь же презрительными, какъ сами; всѣ печали человѣческія, заодно, кажется, не стоятъ того, чтобы облегчить ихъ, счастье человѣческое — даже высшее — представляется такъ блѣдно, что не стоитъ заботиться о приращеніи. Весь міръ нравственный сводится на одну точку; градъ духовной жизни, жилище святыхъ — уходитъ вдаль и свѣтится чуть-чуть замѣтною звѣздочкой. Добро и зло, правда

и неправда кажутся безконечно малыми, эфемерными величинами, а вѣчность и безконечность остаются гдѣ-то внѣ нравственнаго міра. Чувство любви замираетъ и истощается въ мірѣ, гдѣ все доброе и все пребывающее—холодно,—истощается въ своей собственной сознательной слабости и безпредметности. Сверхъестественная религія—прибавляетъ авторъ тутъ же,—наполняетъ всю эту пустоту, связуя любовь и правду съ вѣчностью. А если она потрясена, то къ чему послужитъ естественная религія?"

Можно ли повѣрить, что эти слова написаны горячимъ проповѣдникомъ естественной религіи? Такъ-то серьезный умъ способенъ запутаться въ сотканной имъ же самимъ умственной сѣти.

Сущность всей этой книги, при всей умѣренности тона, при всей искренности автора—безотрадный парадоксъ. Что различныя міровоззрѣнія—научное, художественное, гуманитарное, заключаютъ въ себѣ элементы религіознаго чувства—это вѣрно. Но они не заключаютъ въ себѣ элементовъ новой вѣры, новой церкви, а есть отдѣльные члены—disjecta membra—того же христіанскаго міровоззрѣнія. Никакая религія невозможна безъ признанія аксіоматическихъ истинъ, недостигаемыхъ индуктивнымъ путемъ. Къ такимъ аксіомамъ принадлежитъ бытіе *личнаго* Божества, духовность души человѣческой; отсюда вытекаетъ *супернатурализмъ*, безъ котораго немыслима никакая религія. Научныя же истины (кромѣ математическихъ) по существу своему условны, существуютъ сознательно лишь для людей ученыхъ и лишь *обманомъ* могутъ быть навязаны массамъ въ формѣ догматической. Этотъ обманъ нынѣ и происходитъ... мы при немъ присутствуемъ ежедневно.

II.

Нетерпимость къ чужой вѣрѣ и къ чужому мнѣнію никогда еще не выражалась такъ рѣшительно, какъ выражается въ наше время, у проповѣдниковъ радикальныхъ и отрицательныхъ ученій: у нихъ она неумолимая, жестокая, ѣдкая, соединенная съ ненавистью и презрѣніемъ. Если вдуматься въ отношеніе этихъ новыхъ учителей къ непризнаваемой ими вѣрѣ,—оно окажется, можетъ быть, еще ужаснѣе старинной религіозной нетерпимости, вызывавшей кровавыя преслѣдованія за вѣру. Въ послѣднемъ случаѣ преслѣдованіе основывалось на безусловной же вѣрѣ въ истину безусловно существующую. Когда человѣкъ вѣруетъ въ данное положеніе, что оно *должно быть* истиною для всѣхъ, что на немъ зиждется безусловное начало жизни и благо для всѣхъ и каждаго, какъ магометанинъ вѣруетъ въ Коранъ, понятно, что такой человѣкъ считаетъ своимъ долгомъ не только исповѣдывать открыто свое ученіе, но въ случаѣ нужды, и насильно навязывать его другимъ. Но когда дѣло идетъ, все-таки, не болѣе какъ о мнѣніи, о предположеніи, хотя бы и наиболѣе вѣроятномъ для того, кто его вывелъ,—какъ понять фанатизмъ такого мнѣнія, какъ понять, что проповѣдникъ его не признаетъ и не допускаетъ ни для себя, ни для другихъ не только противоположнаго мнѣнія, но даже сдѣлки, хотя бы условной и временной, съ противоположнымъ мнѣніемъ? Между тѣмъ, такое страстное отношеніе къ своему мнѣнію или къ мнѣнію своей школы составляетъ принадлежность всѣхъ отрицательныхъ ученій. Отвергая, какъ будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую исторію духовнаго развитія въ человѣчествѣ, не признавая ни за какимъ существующимъ издревле

вѣрованіемъ и духовнымъ состояніемъ — права на самостоятельное существованіе, не останавливаясь ни передъ одною святынею личнаго вѣрованія, заключеннаго въ душѣ человѣческой, — они требуютъ для себя свободнаго входа во всякую душу и повсюду хотятъ водворить свою такъ называемую истину. Это называется у нихъ вѣрностью своимъ убѣжденіямъ. Одинъ изъ представителей ученія Конта и позитивистовъ (John Morley *On Compromise*) говоритъ, напр., въ своей книгѣ, что первый долгъ всякаго человѣка въ отношеніи къ себѣ самому и къ человѣчеству — разрѣшать въ душѣ своей вопросъ: вѣруетъ онъ или не вѣруетъ въ бытіе Божіе? Затѣмъ, если положимъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что вѣра въ Бога есть не что иное, какъ слѣпое и безумное суевѣріе, — долгъ его, самый священный, вторгаться съ этимъ убѣжденіемъ во всякую душу, пользоваться всякимъ случаемъ и поводомъ, чтобы передавать это убѣжденіе — прежде всего роднымъ и близкимъ, а потомъ, если можно провесть его въ массу, — всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякія явленія и формы частнаго и общественнаго быта, въ которыхъ прямо или косвенно выражается вѣра, противоположная этому убѣжденію... Такой образъ дѣйствія — что же иное, какъ не страшное насиліе надъ чужою совѣстью, и во имя чего? Во имя только своего личнаго мнѣнія!

Не видать и не слыхать ни любви, ни вѣры въ этой безднѣ самолюбія! А безъ любви и вѣры пѣтъ истины. Какая разница — слышать голосъ стараго, истиннаго учителя. Сколько вѣры и любви, сколько глубокаго знанія души человѣческой въ апостольскомъ словѣ къ Коринѳянамъ о томъ, какъ слѣдуетъ уважать человѣческую совѣсть. Онъ знаетъ, что есть истина, но и съ этою истиной духовнаго вѣдѣнія какъ осторожно велитъ онъ подступать

къ душѣ человѣческой. Главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы душа приняла и обняла новую для нея истину *въ духѣ искренности и правды*, безъ раздвоенія, безъ разлада съ собою, прямою цѣльною вѣрой. Все, что не отъ вѣры,—грѣхъ. И апостолъ учитъ сильныхъ, знающихъ, чтобъ они щадили совѣсть слабой братіи *въ самомъ существѣ*, покуда душа не созрѣла еще до воспріятія истины цѣльною вѣрой.

Вы знаете,—говоритъ онъ,—что пища не поставитъ насъ предъ Богомъ: ѣдимъ ли мы—не пріобрѣтаемъ, не ѣдимъ ли—не лишаемся. Вы знаете, что идолъ—ничто, что ложный богъ не существуетъ вовсе, и потому вы съ спокойною совѣстью покупаете на торгу и ѣдите мясо, которое принесено было въ жертву идолу. Но не у всѣхъ такое вѣдѣніе: есть слабые, у которыхъ можетъ быть *идольская совѣсть*, для которыхъ идолъ—есть еще нѣчто существующее, страшное и злое: для нихъ ѣсть такое мясо—значитъ приносить жертву идолу, и когда они видятъ, что вы ѣдите его, ихъ слабая совѣсть соблазняется, то-есть, приходитъ въ разладъ, въ раздвоеніе по предмету вѣры. Итакъ, чтобы не соблазнять совѣстью слабаго брата, лучше не ѣсть мяса во вѣки. Апостолъ—проповѣдникъ *свободы* христіанской, происходящей отъ увѣренности, жертвуетъ въ этомъ случаѣ *свободою*—охраненію *совѣсти*, потому что совѣсть для него всего дороже.

III.

Удивительно безуміе, до котораго доходятъ умные люди, взросшіе въ отчужденіи отъ дѣйствительной жизни, и ослѣпленные гордою увѣренностью въ неногрѣшимости разума и логики. Обожаніе разума, отвративъ ихъ отъ положительной религіи, доводитъ ихъ, наконецъ до нена-

висти ко всякому вѣрованію въ Единаго Живаго Бога. Но тѣ изъ нихъ, которые добросовѣстны настолько, что не могутъ отвергать потребности въ вѣрѣ, заявляемой всѣмъ человѣчествомъ,—тѣ, у кого есть еще сердце, не совсѣмъ изсушенное черствою логикой мысли,—допускаютъ законность религіознаго чувства въ природѣ человѣческой и пытаются удовлетворить его какою-то новою, ими измышленною религіей. Вотъ тутъ и приходится дивиться мечтательности плановъ, изобрѣтаемыхъ умами, повидимому стремящимися изгнать все похожее на мечту, изъ своихъ выводовъ и соображеній. Штраусъ, въ своемъ сочиненіи „О старой и новой вѣрѣ", отвергая христіанство, говоритъ съ энтузіазмомъ о религіозномъ чувствѣ, но предметомъ его и центромъ ставитъ вмѣсто Живаго Бога—идею вселенной, такъ называемое: *Universum*. Въ Лондонѣ появились въ свѣтъ найденныя по смерти Милля отрывочныя мысли его о религіи, подъ заглавіемъ: „Три статьи о религіи: Природа, Польза религіи и Деизмъ". Пользу религіи онъ признаетъ несомнѣнно, но отвергаетъ христіанство, хотя выражается о лицѣ Христа съ величайшимъ энтузіазмомъ. „Невозможно,—говоритъ онъ,—оспаривать великое значеніе религіи для отдѣльнаго человѣка; это источникъ личнаго удовлетворенія и высокаго духовнаго настроенія для каждаго. Но спрашивается, для достиженія этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемаго нами міра, или и безъ того одна идеализація нашей земной жизни, одно возбужденіе и развитіе высшихъ о ней представленій могутъ создать для насъ поэзію, и даже въ высшемъ смыслѣ этого слова, религію, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (съ помощью воспитанія) еще лучше, чѣмъ вѣра въ существа невидимыя, благородить наше существованіе и дѣятельность?"

Вопросъ,—достойный Милля, какимъ мы его знаемъ по исторіи его воспитанія. Любопытно, какъ же онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ. Милль не могъ искать рѣшенія, подобно Штраусу, въ идеѣ вселенной; не могъ потому, что Милль, страшно сказать, не вѣруетъ въ природу; въ началѣ той же книги онъ, вѣрный, какъ всегда, отчужденію своему отъ жизни, входитъ въ изслѣдованіе: „насколько вѣрно то ученіе, которое полагаетъ въ природѣ мѣрило правды и неправды, добро и зло; и руководственнымъ началомъ для человѣка ставитъ сообразованіе съ природою или подражаніе природѣ". Этого ученія Милль не признаетъ, потому что въ природѣ видитъ слѣпую силу, и ничего болѣе. Она внушаетъ желанія, которыхъ не удовлетворяетъ, воздвигаетъ великія дарованія, силы и дѣла съ тѣмъ, чтобъ въ одно мгновеніе сокрушить ихъ,—словомъ сказать, разоряетъ въ мигъ, слѣпо и случайно, все, что ею самою создано. Оттого Милль отказывается строить на природѣ какую бы то ни было систему нравственности или религіи.

Что-же придумываетъ Милль? Вотъ подлинныя слова его: „Когда представимъ себѣ, до какого сильнаго и глубокаго чувства можетъ достигнуть, при благопріятныхъ условіяхъ воспитанія, любовь къ отечеству, намъ станетъ понятно, что очень возможно и любовь къ обширнѣйшему отечеству, то-есть, къ цѣлому міру, довести до подобной же силы развитія и обратить ее въ источникъ высшихъ духовныхъ ощущеній и въ начало долга. Кто желаетъ ознакомиться съ понятіями древности объ этомъ предметѣ, пусть читаетъ Цицеронову книгу: De officiis. Нельзя сказать, чтобы мѣра нравственности, установляемая въ этомъ знаменитомъ разсужденіи, была очень высокая. По нашимъ понятіямъ, эта нравственность во многихъ случаяхъ очень слабая и допускающая сдѣлки съ совѣстью.

Но относительно одного предмета—относительно долга къ отечеству—не допускаетъ она никакой сдѣлки. Чтобы человѣкъ, имѣющій хотя малую претензію на добродѣтель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семействомъ—всѣмъ, что ему дорого на свѣтѣ, этого не допускалъ и въ предположеніи славный проповѣдникъ греческой и римской нравственности. И такъ исторія показываетъ, что людямъ можно было привить воспитаніемъ не только теоретическое убѣжденіе въ томъ, что благо отечества должно быть выше всякихъ иныхъ соображеній, но и практическое сознаніе, что въ этомъ состоитъ величайшій долгъ жизни. Если это было возможно, то почему-же нельзя внушить имъ чувство точно такого же безусловнаго долга относительно общаго блага для цѣлаго міра? Такая нравственность въ натурѣ высоко одаренной почерпала бы силу изъ чувства симпатіи, благоволенія, восторженнаго одушевленія идеальнымъ величіемъ, а въ натурахъ низшей организаціи—изъ тѣхъ же чувствъ, но мѣрѣ природнаго ихъ развитія, да притомъ еще изъ чувства стыда. Это высокая нравственность не зависѣла бы нисколько отъ надежды на награду. Единственною наградой, которую имѣли бы въ виду, и мысль о коей служила бы утѣшеніемъ въ печали и опорою въ минуты слабости,—единственною наградою было бы несомнительное загробное бытіе (!),—но въ этой жизни одобреніе всѣхъ уважаемыхъ нами людей и, въ идеальномъ смыслѣ, одобреніе всѣхъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ людей, кого мы чествуемъ и кого похваляемъ. Дѣйствительно, та мысль, что дѣло наше одобрили бы умершія друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить насъ не менѣе, чѣмъ мысль объ одобреніи современниковъ... Сколько разъ люди высокаго духа одушевлялись къ дѣлу

мыслью о томъ, что имъ сочувствовалъ бы Сократъ, Говардъ, Вашингтонъ, Антонинъ. Если такое настроеніе духа назовемъ просто нравственнымъ, слово это будетъ недостаточно. Оно есть дѣйствительно—*религія:* добрыя дѣла составляютъ только часть религіи, плоды ея, но не самую религію. Сущность религіи состоитъ въ крѣпкомъ и серьезномъ направленіи чувствъ и желаній къ идеальной цѣли, превосходящей всѣ личныя цѣли и желанія. Это условіе осуществляется въ религіи *гуманности* точно такъ же, какъ и въ сверхъестественныхъ религіяхъ: я убѣжденъ даже, что осуществляется еще лучше и совершеннѣе"...

Приведенныя слова сами за себя говорятъ. Они показываютъ всю близорукость,—лучше сказать—все безуміе человѣческой мудрости, когда она хочетъ дѣлать отвлеченную конструкцію жизни и человѣка, не справляясь съ жизнью и не зная души человѣческой. Такая религія, какую воображаетъ Милль, можетъ быть, пожалуй, достаточна для подобныхъ ему мыслителей, заключившихъ себя отъ всего міра въ скорлупу отвлеченнаго мышленія; но развѣ можетъ принять ее и понять ее народъ,—живой организмъ,—объединяющійся только живымъ чувствомъ и сознаніемъ, а не мертвымъ и отвлеченнымъ началомъ? Въ народѣ такая религія, если бы могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотомъ къ язычеству. Народъ, который нельзя себѣ представить въ отдѣленіи отъ природы,—если бы могъ позабыть вѣру отцовъ своихъ,—снова олицетворилъ бы для себя какъ идею—вселенную, разбивъ ее на отдѣльныя силы, или то человѣчество, которое ставятъ ему въ видѣ связующаго духовнаго начала, разбивъ его на представителей силы духовной,—и явились бы только вновь многіе лживые боги вмѣсто единаго Бога истиннаго... Неужели этому суждено еще сбыться?

Новая вѣра и новые браки.

Насъ увѣряютъ, что старой нашей вѣрѣ приходитъ конецъ, что ее смѣнитъ новая вѣра, которой заря, будто бы, занимается. Богъ дастъ, если это и случится, то еще не скоро,—и если случится, то лишь на время. Конечно, то будетъ время не просвѣщенія, а помраченія.

Въ старой вѣрѣ нашей—истина природы человѣческой, истина непосредственнаго ощущенія и сознанія, та истина, которая отзывается въ правду, изъ глубины духа, на слово божественнаго откровенія. Эта истина есть—и зерно ея лежитъ въ каждой душѣ. Про нее сказано: „всякъ, иже есть отъ истины, послушаетъ гласа Моего.“

Старая вѣра наша основана на томъ, что каждый человѣкъ чувствуетъ въ себѣ живую душу, безсмертную, единую, и этой живой души не смѣшиваетъ ни съ природою, ни съ человѣчествомъ, въ ней сознаетъ *себя* передъ Богомъ и передъ людьми, и въ ней хочетъ жить вѣчно. Своей живой душою вступаетъ онъ въ свободный союзъ любви съ другими людьми, и какъ живетъ ею, такъ и отвѣчаетъ за нее самъ. Ею ощущаетъ онъ своего Со-

здателя, такъ же просто, какъ живетъ, и въ этомъ простомъ ощущеніи, независимо отъ разума, обрѣтаетъ свою вѣру.

Являются проповѣдники новой вѣры. Одни смѣются надъ старой вѣрой—и все хотятъ разрушить, не желая создать новаго. Другіе, повидимому, серьезнѣе: они *премудрости ищутъ* и хотятъ навязать намъ свою надуманную премудрость; всякій изъ нихъ предлагаетъ намъ свое сочиненіе, свою конструкцію вѣры, потому что, сознавая все-таки необходимость вѣрованія, они хотятъ только сочинить свое. Но какія жалкія эти сочиненія! Всѣ они безсильны собрать около себя и одушевить живою идеей—живыя человѣческія души, потому что ни одно изъ нихъ не ставитъ живаго Духа Божія въ центрѣ вѣрованія.

Въ послѣднее время много появилось отдѣльныхъ системъ, въ которыхъ философы, каждый по своему, стараются построить для человѣчества—*вѣру безъ Бога*. Всѣ воображаютъ, что построили такую вѣру *разумомъ;* но это неправда. Разуму человѣческому—когда онъ разсуждаетъ прямымъ путемъ, не закрывая отъ себя и не отрицая фактовъ, существующихъ въ природѣ и въ душѣ человѣческой,—некуда дѣваться отъ идеи о Богѣ. Настоящій источникъ безбожія не въ разумѣ, а въ *сердцѣ*, совершенно такъ, какъ сказано пророкомъ: сказалъ безумный въ *сердцѣ* своемъ: нѣтъ Бога. Въ сердцѣ, т. е. въ желаніи, источникъ всякаго паденія,—какъ бы ни старался разумъ осмыслить себѣ всякое паденіе. Начинается всегда съ того, что сердце ищетъ себѣ полной свободы и возмущается противъ заповѣди и противъ Того, у Кого начало и конецъ всякой заповѣди. Чтобы освободиться отъ заповѣди, нѣтъ другого пути, какъ отвергнуть верховный авторитетъ ея, и поставить на мѣсто его свой авторитетъ, свое *знаніе*. Повторяется, въ безконечные вѣки, самая старая изо всѣхъ

человѣческихъ исторій. „Ты самъ можешь знать добро и зло; самъ можешь быть себѣ Богомъ“. Вотъ откуда искони идетъ безбожіе.

Но чудно, по правдѣ, видѣть, какъ разумъ самъ себя обманываетъ. Какая, кажется, религія, безъ Бога,—а такую именно религію проповѣдуютъ безбожники. Они говорятъ: „вмѣсто старыхъ сказокъ о Богѣ, возьми дѣйствительную истину. Бога не видать нигдѣ; дѣйствительно есть—*природа*, дѣйствительно есть—*человѣчество*. Оно не только фактъ, оно есть сила, способная дойти съ теченіемъ вѣковъ и тысячелѣтій, посредствомъ опыта и разума, до безграничнаго развитія, до невообразимаго совершенства. Въ этой идеѣ столько внутренней глубины и силы, что она совершенно достаточна замѣнить человѣку вполнѣ религіозное чувство и связать всѣхъ людей во-едино общей религіей *человѣчества*“. (Развѣ это не все равно, что библейское: будете яко бози?) Таково ученіе новѣйшей *позитивной* науки и такъ называемаго *утилитаризма*.

Но вотъ, съ другой стороны, появляется знаменитый апостолъ Тюбингенской школы богословія, столпъ библейской ученой критики, дожившей до старости въ ученомъ отрицаніи историческихъ основъ христіанства. Это докторъ Штраусъ, авторъ „Жизни Іисуса“, авторъ новой своей книги „О старой и новой вѣрѣ“, въ которой онъ самъ говоритъ, что изложилъ исповѣдь свою, результатъ всѣхъ ученыхъ трудовъ своихъ и философскихъ размышленій о Богѣ, природѣ и человѣкѣ. Въ ту пору, когда онъ былъ еще молодъ и писалъ свою „Жизнь Іисуса“, онъ входилъ еще осторожно и съ нѣкоторымъ уваженіемъ въ разборъ фактовъ, освященныхъ вѣковымъ вѣрованіемъ человѣчества, касался еще вдумчиво до основныхъ идей, лежащихъ въ глубинѣ вѣрованія; въ немъ еще слышались остатки богопочтенія. Но теперь,

когда онъ говоритъ о Богѣ, въ словѣ его слышится какъ будто раздражительное ожесточеніе противъ Бога, какъ противъ вредной и лживой басни, извратившей мысль человѣческую. Слышно, какъ „сердится Юпитеръ“.

Но, отвергая Бога, Штраусъ, по странному противорѣчію мысли, не хочетъ разстаться съ религіознымъ чувствомъ. Онъ сознаетъ въ себѣ *потребность* этого чувства, сознаетъ и присутствіе религіознаго ощущенія. Что же служитъ предметомъ его, что можетъ имѣть достаточную силу для того, чтобы овладѣть душой и наполнить ее? Не личное божество, котораго нѣтъ,—отвѣчаетъ Штраусъ,—но *вселенная* (Universum), составляющая источникъ всяческаго блага и всяческой силы, и существующаго по закону чистѣйшаго разума. Мы *требуемъ*, говоритъ онъ, для этой вселенной, того же самаго благоговѣйнаго чувства, съ которымъ добрый человѣкъ старой вѣры относился къ своему Богу.

Что же такое эта вселенная, и есть-ли въ ней что духовное? Отвѣчая на этотъ вопросъ, Штраусъ являетъ въ себѣ послѣдователя *позитивной* философіи и новѣйшаго матеріализма. Ученіе Канта и Лапласа объ исключительномъ дѣйствіи механическихъ силъ въ планетной системѣ распространяетъ онъ безусловно на всѣ явленія животной и психической жизни, почитаетъ духъ человѣческій не инымъ чѣмъ, какъ результатомъ сложнаго дѣйствія однѣхъ матеріальныхъ, механическихъ силъ. Души въ духовномъ смыслѣ не признаетъ Штраусъ. Естественно, что онъ слѣдуетъ восторженно теоріи Дарвина о происхожденіи видовъ, не ограничиваясь приложеніемъ этой теоріи къ явленіямъ внѣшняго міра, но распространяя ее произвольно и мечтательно на всякаго рода явленія жизни. Противорѣчія и скачки въ выводахъ нисколько не смущаютъ его. Всѣ сомнѣнія устраняются въ немъ его *новою вѣрой*, вѣрой въ излюбленную

имъ гипотезу—несовмѣстную, по его мнѣнію, съ бытіемъ Бога. Нужды нѣтъ, что то или другое общее положеніе (напримѣръ, о произвольномъ зарожденіи) еще не доказано. Не знаю, какъ именно и когда,—говоритъ Штраусъ,—но оно непремѣнно будетъ доказано. Въ проблемѣ о происхожденіи человѣка онъ не задумывается надъ трудными вопросами о томъ, какъ объяснить и какъ согласить съ системою—происхожденіе въ человѣкѣ умственныхъ силъ, нравственныхъ идей, эстетическихъ понятій? Все объясняетъ одно, точно магическое, словечко: *натуральный подборъ особей*. Подлинно, если въ этомъ мечтательномъ увлеченіи излюбленною теоріей заключается новая вѣра, то она есть не что иное, какъ *новое суевѣріе*. Ученіе Дарвина появилось какъ нельзя болѣе кстати, въ подкрѣпленіе проповѣдникамъ новой вѣры. Оно какъ будто озарило ихъ новымъ свѣтомъ, какъ будто принесло имъ ключевой камень, котораго не доставало, чтобы замкнуть сводъ надъ цѣлою системой. Ухватившись за это ученіе, многіе уже готовы провозгласить или провозглашаютъ старую вѣру окончательно разбитою и уничтоженною. Со всѣхъ сторонъ спѣшатъ прилагать начала, выведенныя Дарвиномъ, ко всѣмъ явленіямъ общественнаго быта—и выводятъ изъ нихъ такія послѣдствія, о которыхъ, можетъ быть, не помышлялъ самъ Дарвинъ. Школа,—какъ нерѣдко случается, забѣгаетъ впередъ учителя и, пожалуй, вскорѣ провозгласитъ его самого отсталымъ. Между тѣмъ ученіе Дарвина, само по себѣ, въ сферѣ тѣхъ данныхъ, изъ которыхъ оно выведено, едва-ли оправдываетъ тѣ опасенія за цѣлость вѣры, которыя возбудило оно во многихъ ея ревнителяхъ. Система Галилея, теорія Ньютона, новыя открытія въ геологіи—возбуждали въ свое время еще болѣе волненій и опасеній; но вѣра вѣрующихъ не пострадала отъ нихъ. То же будетъ, конечно, и съ ученіемъ Дарвина. При-

томъ, въ настоящее время и его нельзя еще признать утвердившимся въ наукѣ, и первый энтузіазмъ, имъ возбужденный, начинаетъ ослабѣвать. Въ него вѣруютъ безусловно только dii minorum gentium. Передовые люди науки уже начинаютъ убѣждаться въ томъ, что это ученіе въ сущности представляетъ только гипотезу, болѣе или менѣе вѣроятную, но еще не удостовѣренную достаточнымъ числомъ данныхъ; что положенія, выведенныя геніальнымъ ученымъ изъ многочисленныхъ его наблюденій, въ сущности оказываются смѣлыми и остроумными обобщеніями подмѣченныхъ имъ явленій,—еще оставляющими много мѣста недоумѣніямъ и сомнѣніямъ.

Но эти положенія, возведенныя на степень непреложной истины, повторяются уже массою какъ verbum magistri, и стали съ одной стороны поговоркою въ устахъ пошлыхъ болтуновъ либерализма, съ другой стороны многимъ серьезнымъ умамъ дали основаніе для множества новыхъ умственныхъ комбинацій. Кто нынче не говоритъ о Дарвинѣ? Кто не играетъ словами: *естественный подборъ, половой подборъ, борьба за существованіе?* Однако, не однихъ людей легкомысленныхъ, но и людей подлинно ученыхъ и серьезныхъ—открытіе Дарвина заставляетъ дѣлать странные скачки въ разсужденіяхъ и выводахъ науки; заставляетъ высказывать такія рѣчи, которыя здравому, не предубѣжденному сужденію представляются не иначе, какъ фантазіей или безуміемъ. Это случается всего чаще тогда, когда при помощи Дарвинова ученія хотятъ построить и завершить систему такого міросозерцанія, въ которомъ не оставалось бы мѣста Божеству. И дѣйствительно, Дарвиново ученіе очень выгодно для аргументаціи новаго матеріализма. Человѣкъ, по мнѣнію Дарвина, совершенно напрасно присвоивалъ себѣ и своему духу какое-то особое, привилегированное положеніе во вселенной; на этомъ основаніи онъ во-

ображалъ себя одного въ числѣ прочихъ животныхъ, подъ прямымъ и личнымъ водительствомъ Божества. Это заблужденіе, и заблужденіе вредное (the pernicious idea). Человѣкъ, какъ и всякое иное животное, есть не что иное, какъ продуктъ послѣдовательнаго и безграничнаго развитія природныхъ формъ животной жизни. Желающему не трудно вывести отсюда заключеніе, что, *стало быть,* Бога нѣтъ, и нѣтъ души безсмертной. Далѣе, изъ ученія Дарвинова слѣдуетъ, что всѣ существующія формы живого бытія образовались и всѣ послѣдующія образуются изъ вѣковѣчнаго и непрестаннаго движенія матеріи, выводящаго изъ одной формы другую, съ новымъ развитіемъ и съ новыми орудіями для потребностей. Желающему не трудно вывести отсюда такое заключеніе, что въ самой матеріи заключается творческая сила—именно это вѣковѣчное движеніе; что въ немъ заключается вся будущность природы и человѣчества—способная къ безграничному прогрессу и совершенствованію, и что затѣмъ нѣтъ никакой надобности отыскивать еще внѣ самой матеріи конечную творческую силу, равно какъ и промыслъ Создателя о вселенной и человѣкѣ. Понятно, какъ сходится такой выводъ со вкусомъ мысли, отвергающей Бога и вѣрующей въ человѣчество. Непонятно только, какъ можетъ здравый смыслъ повѣрить въ вѣчность матеріи, отвергая начальную ея причину, и повѣрить тому, что движеніе, само по себѣ,—движеніе чего бы то ни было, однимъ теченіемъ—хотя бы и вѣковѣчнаго времени—способно произвесть все, что угодно представить себѣ любому воображенію.

Печальное будетъ время,—если наступитъ оно когда-нибудь,—когда водворится проповѣдуемый нынѣ новый культъ человѣчества. Личность человѣческая немного будетъ въ немъ значить; спимутся и тѣ, какія существуютъ теперь, нравственныя преграды насилію и самовластію.

Во имя доктрины, для достиженія воображаемыхъ цѣлей къ усовершенствованію *породы*, будутъ приноситься въ жертву самые священные интересы личной свободы, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти; о совѣсти, впрочемъ, и помина не будетъ при воззрѣніи, отрицающемъ самую идею совѣсти. Наши реформаторы, воспитавшись сами въ кругу тѣхъ представленій, понятій и ощущеній, которыя отрицаютъ, не въ состояніи представить себѣ ту страшную пустоту, которую окажетъ нравственный міръ, когда эти понятія будутъ изъ него изгнаны. Каковы бы ни были увлеченія пылкаго законодателя, правителя, пылкой власти всякаго рода,—надъ нею все-таки носится безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представленіе о личности человѣческой, о такой личности, которую нельзя раздавить такъ, какъ давятъ насѣкомое. Это представленіе имѣетъ корень въ вѣковѣчномъ понятіи о томъ, что у каждаго человѣка есть живая душа, единая и безсмертная, слѣдовательно, имѣющая *безусловное бытіе*, которое не можетъ истребить никакая человѣческая сила. Оттого, между нами нѣтъ такого злодѣя и насильника, который, посреди всѣхъ своихъ насилій, не озирался бы на попираемую имъ живую душу съ нѣкоторымъ страхомъ и почтеніемъ. Отнимите это сознаніе:—во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человѣка странно обольщаютъ себя, когда во имя этой свободы присоединяются къ возникающему культу человѣчества.

Къ счастію, можно понадѣяться, что эти новые горизонты, которые возвѣщаетъ намъ въ будущемъ гуманитарное ученіе, никогда не откроются для человѣчества, или, по крайней мѣрѣ, откроются не для всѣхъ и не надолго. Что могли бы намъ открыть эти горизонты новой

вѣры и новой жизни,—о томъ мы можемъ судить лишь по нѣкоторымъ выводамъ и политическимъ приложеніямъ, на которыя отъ времени до времени намъ указываютъ. Вотъ одинъ изъ образчиковъ такого приложенія дарвинизма къ сферѣ практическаго законодательства. Есть особливое разсужденіе Дарвина „о благодѣтельныхъ для человѣчества стѣсненіяхъ брачнаго союза“. Въ самомъ началѣ статьи Дарвинъ объясняетъ, что одна изъ основныхъ идей христіанства—есть идея о личной отвѣтственности каждаго человѣка за свою душу и о независимости человѣка, въ духовной его сферѣ, отъ другихъ людей. Вслѣдствіе того предполагается, что человѣкъ въ правѣ располагать, на свой отвѣтъ, и своимъ тѣломъ. Эта идея и это право должны, по мнѣнію Дарвина, уступить дѣйствію новаго открытаго имъ закона—его такъ называемой эволюціонной доктринѣ. Человѣкъ въ правѣ располагать своимъ тѣломъ и дозволять себѣ удовлетвореніе тѣлесныхъ потребностей лишь потолику, поколику то и другое согласуется съ нормальнымъ развитіемъ цѣлой *породы*. Итакъ, по мѣрѣ того какъ наука дарвинизма будетъ изъ своихъ наблюденій надъ фактами матеріальной жизни дѣлать новые выводы и обобщенія закона эволюціи, законодательство можетъ и должно стѣснять личную свободу человѣка, даже въ удовлетвореніи органическихъ его потребностей...

Ссылаясь на статистическія данныя, собранныя въ двухъ, трехъ ученыхъ сочиненіяхъ о физіологическомъ вліяніи наслѣдственности на человѣческій организмъ, Дарвинъ утверждаетъ, что въ Англіи на каждые 500 человѣкъ приходится одинъ безумный, что это безуміе происходитъ въ большей части случаевъ отъ наслѣдственнаго къ нему расположенія, передаваемаго бракомъ и рожденіемъ, и что количество отдѣльныхъ случаевъ безумія увеличивается со

временемъ въ геометрической прогрессіи. Итакъ, человѣческой породѣ угрожаетъ безграничное распространеніе зла, противъ коего необходимо принять мѣры. Съ этимъ выводомъ можно согласиться. Все дѣло состоитъ въ томъ, какія потребны мѣры. Дарвинъ, съ своей точки зрѣнія, предлагаетъ стѣснить для человѣчества до крайней возможности свободу вступленія въ бракъ. „Необходимо, говоритъ онъ, улучшить, укрѣпить физическій организмъ въ породѣ человѣческой; для этой цѣли мы должны придумать искуственное средство *въ замѣну ослабѣвшей силы естественнаго подбора* (natural selection). Только при такомъ условіи возможенъ прогрессъ въ породѣ человѣческой. Mens sana in corpore sano. *Успѣхи врачебнаго искуства* служатъ въ этомъ случаѣ *не къ общей пользѣ, а ко вреду.* Нѣтъ сомнѣнія, что въ массѣ нашего цивилизованнаго общества уровень здоровья понизился до тревожныхъ размѣровъ, и что врачебное искуство, *поддерживая слабые организмы, будетъ только увеличивать зло для будущихъ поколѣній.* Необходимо, по мнѣнію Дарвина, *сократить число слабыхъ, вступающихъ въ состязаніе съ сильными въ борьбѣ за существованіе.*“

И вотъ какія средства предлагаетъ Дарвинъ законодательству для этой цѣли. Всѣ существующія нынѣ въ законѣ препятствія ко вступленію въ бракъ должны оставаться въ силѣ. Сверхъ того, законъ долженъ, *во-первыхъ,* признать рѣшительнымъ поводомъ къ разводу появленіе у одного изъ супруговъ нѣкоторыхъ болѣзней. Какихъ? Дарвинъ приводитъ цѣлую номенклатуру болѣзней, передаваемыхъ по наслѣдству; мы находимъ здѣсь болѣзни легкихъ, желудка, печени, подагру, золотуху, ревматизмъ и т. п., такъ что всякому супругу, не обладающему геркулесовскимъ здоровьемъ, приходилось бы трепетать ежедневно за цѣлость своего брачнаго союза, тѣмъ болѣе, что расторженіе его по болѣзни

было бы связано съ государственнымъ интересомъ, или, правильнѣе сказать, съ интересомъ всего человѣчества. И можно думать, что Дарвинъ имѣетъ въ виду приложеніе къ дѣламъ этого рода—слѣдственнаго процесса, потому что далѣе, *во-вторыхъ*, предлагаетъ онъ ввести общую систему медицинскаго осмотра для удостовѣренія упомянутыхъ болѣзней, по образцу принятой въ *Германіи системы осмотра для удостовѣренія способности къ военной службѣ. Въ-третьихъ*, Дарвинъ предлагаетъ постановить слѣдующее правило. Никто не можетъ вступать въ бракъ, не представивъ удостовѣренія въ томъ, что онъ никогда въ жизнь свою не страдалъ припадками безумія. Мало того. Онъ долженъ еще представить *чистую свою родословную* (untainted pedigree), т. е. доказать, что его родители и даже дальнѣйшіе, восходящіе и боковые родственники никогда не имѣли подобныхъ припадковъ. Все это необходимо,—поясняетъ Дарвинъ,—для того, чтобы въ массѣ человѣчества значительно умножилась способность къ счастью (capacity for happiness), съ уничтоженіемъ главнаго препятствія къ счастью, т. е. болѣзни.

Возможно ли вводить такія стѣсненія? спрашиваетъ самъ Дарвинъ, и отвѣчаетъ: пустяки! Такія-ли еще стѣсненія существуютъ въ разныхъ брачныхъ законахъ. Въ доказательство приводитъ онъ на трехъ страницахъ примѣры изъ разныхъ законодательствъ, больше всего изъ варварскихъ, ссылаясь заодно и на Пруссію, и на Сіамъ, и на Китай, и на Мадагаскаръ, и на остяковъ съ тунгусами. Ему нравится, повидимому, всякое запрещеніе вступать въ бракъ и всякій поводъ къ разводу. Въ концѣ своей рѣчи онъ даже не останавливается на самомъ простомъ вопросѣ, который можно было бы предложить ему: къ чему послужатъ законныя запрещенія брака, когда помимо брака невозможно будетъ удержать натуральнаго сожитія и, стало быть, дѣторожденія?

Можетъ быть, вопросъ этотъ и приходилъ на мысль автору, но достаточнымъ на него отвѣтомъ представлялся ему, приведенный въ этой же статьѣ, примѣръ Японіи, гдѣ *проституція* не только терпима, но даже подъ рукою покровительствуется государствомъ, такъ какъ ею задерживается *чрезмѣрное нарожденіе людей...*

Такъ судитъ самъ первоверховный апостолъ дарвинизма! Очевидно, что основнымъ закономъ бытія представляется ему *„охраненіе сильныхъ* и *истребленіе слабыхъ“*. И это самое правило хочетъ онъ, повидимому, возвести въ *положительный законъ* для гражданскаго общества. Вотъ образчикъ крайняго увлеченія односторонней идеей, собственнаго изобрѣтенія. Кромѣ ея — будущій законодатель общества ничего не видитъ, и не признаетъ, повидимому, въ жизни и развитіи никакихъ иныхъ мотивовъ, кромѣ физіологическихъ. О нравственныхъ мотивахъ не упоминаетъ онъ вовсе. Сильные и слабые организмы представляются ему числами, отвлеченными величинами, на которыхъ онъ дѣлаетъ разсчетъ математически. Онъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ: дѣйствительно-ли сильнымъ его прибудетъ силы отъ того, что погибнутъ всѣ слабые? Онъ не хочетъ знать той истины, что всякая сила возрастаетъ отъ дѣятельности, отъ испытанія и упражненія, и что сильнымъ не на чемъ будетъ испытывать и возвращать свою силу, когда не будетъ слабыхъ, требующихъ помощи и покровительства; что сами слабые, возрастая при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ окрѣпнуть, достигнуть силы и стать способными передать ее другому поколѣнію. Наконецъ, и сильные, устоявшіе въ натуральной борьбѣ, способны-ли будутъ послужить къ усовершенствованію породы, если сила ихъ будетъ поддерживаться механическимъ процессомъ на счетъ слабыхъ?

Новое христіанство безъ Христа.

Замѣчательное явленіе нашего времени представляетъ несущееся отовсюду отрицаніе церкви со всѣми ея догматами и установленіями, соединенное съ проповѣдью христіанства—безъ Христа. Никѣмъ непризванные учители разныхъ толковъ, объединяясь лишь въ этомъ отрицаніи, проповѣдуютъ съ ревностію, доходящею до фанатизма и до глумленія надъ всякимъ возраженіемъ, туманное, неприведенное въ систему, но повелительное примѣненіе къ жизни началъ, произвольно извлеченныхъ и произвольно истолкованныхъ изъ Евангелія; но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаютъ Евангеліе во всей его цѣлости и отрицаютъ вмѣстѣ съ церковью главу церкви—Іисуса Христа—Богочеловѣка. Они называютъ это свое христіанство истиннымъ, а то, которое отъ начала проповѣдывалось церковью,—ложнымъ.

Въ отрицаніи людямъ всего легче объединиться: ихъ влечетъ къ этому общій духъ недовольства и смутнаго стремленія къ лучшему. Всякій, сосредоточась на своемъ *я*, всегда себялюбивомъ, самочинномъ, исключительномъ, отрѣшаясь въ

духѣ отъ міра своихъ собратій,—приходитъ къ отрицанію. Возмущаясь противъ неправды и зла въ человѣческихъ отношеніяхъ, забываетъ притомъ о своей неправдѣ, ищетъ водворенія правды въ человѣчествѣ и забываетъ притомъ, что всякій человѣкъ раздвоенъ въ себѣ—хочетъ чего не дѣлаетъ и дѣлаетъ чего не хочетъ, и что жизнь человѣчества совершается тысячами и милліонами годовъ и впадаетъ въ вѣчность; что тѣмъ же ходомъ идетъ въ человѣчествѣ, прерывистая и мучительная эволюція правды, коей вѣчные законы, отъ вѣка начертанные, отъ вѣка нарушаются и подвергаются поруганію. Хранительницей этихъ законовъ, говорятъ они, поставила себя церковь: она не умѣла водворить ихъ въ дѣйствительности;—зданіе ея обветшало, дѣло ея преисполнено мертвыхъ формальностей, суевѣрій, обмановъ и злоупотребленій. Надо разрушить это зданіе—и новый законъ любви и правды объявить человѣчеству: разрушимъ церковь. Самый легкій способъ усовершенія учрежденій, по мнѣнію поваторовъ, есть разрушеніе существующихъ. Съ этого начинаютъ и нео-христіане, но на мѣсто разрушеннаго учрежденія не въ силахъ они построить новое; ставя законъ своего изобрѣтенія, ничего не хотятъ и не умѣютъ создать для храненія и возможнаго въ природѣ человѣческой осуществленія закона, какъ будто самъ законъ долженъ самостоятельно дѣйствовать и самъ собою объединить человѣчество для новой жизни.

Прежде чѣмъ отрицать церковь и ея вѣрованія, надобно *знать* ее. А для того, чтобы знать ее, мало изучить внѣшнимъ образомъ догматы ея, учрежденія и обычаи. Церковь есть живой организмъ, совокупность вѣрующихъ душъ; и для того, чтобы познать церковь, надобно войти въ душу народа, который составляетъ церковь, надобно жить одной жизнью съ народомъ, какъ съ равными собратіями, не ставя

себя выше народа, не относясь къ нему съ однимъ отрицаніемъ, какъ къ толпѣ невѣжественной и дикой. Но къ этому неспособны самочинные пророки нео-христіанства; и потому, когда они обличаютъ пороки и зло и ложь въ жизни церковной, въ этихъ обличеніяхъ нѣтъ любви, а слышится только гордость самодовлѣющей мысли и злоба раздраженія; нѣтъ того пламеннаго стремленія къ исправленію и усовершенію, той горячей надежды на побѣду любви и правды,— что слышится въ рѣчахъ Христа,—а обличенія, исполненныя гордаго духа, приводятъ лишь къ голому отрицанію.

Откуда все это? Невольно думается, что идеаломъ нынѣшняго вѣка, конечнымъ пунктомъ прогресса въ человѣчествѣ становится теперь самодовлѣющее *я*, стремящееся въ человѣческомъ образѣ возвыситься надъ человѣчествомъ и самому быть себѣ закономъ. Таковы, повидимому, идеалы новѣйшихъ философскихъ ученій, таковы герои излюбленныхъ романовъ, драмъ и поэмъ въ новѣйшей литературѣ. Идеальнымъ представляется человѣкъ, кто самъ себя ставитъ конечною цѣлью своихъ дѣйствій и на другихъ людей смотритъ какъ на орудіе для своего возвеличенія. Быть самимъ собою, слушать только своей воли и своего хотѣнія, ничего и никого не признавать надъ собою, сверхъ себя—таковъ идеалъ человѣка, стремящагося быть *сверхъ-человѣкомъ*. Подъ эту мысль, въ сущности чудовищно нелѣпую, иные подкладываютъ въ основаніе другую мысль: всего этого долженъ достигнуть человѣкъ посреди общества для того, чтобы, овладѣвъ имъ, подчинить его себѣ *для его же блага*, и водворить въ немъ царство любви и братства. Но такого основанія никакая философія признать не можетъ. Что исходитъ изъ эгоизма и на эгоизмѣ основано, въ томъ не можетъ быть никакихъ зачатковъ любви и преданности, и тотъ, кто сознательно заключилъ себя въ своемъ *я*, не можетъ сбросить его съ себя

и освободиться. Правда, для дѣятельности, посвященной общественному благу, потребны не бездушные, равнодушные и безхарактерные люди, но *лица* съ характеромъ и совѣстію, и такое лицо всякій, желающій служить обществу, долженъ воспитать въ себѣ. Но и личность, въ нравственномъ смыслѣ, можетъ образоваться и достигнуть развитія не иначе, какъ чрезъ сношеніе человѣка съ подобными себѣ: такъ только человѣкъ можетъ выработать въ себѣ *достоинство*. Но когда человѣкъ начинаетъ съ того, что чуждаясь общества, посреди коего живетъ, подвергаетъ его презрѣнію, для того чтобы въ отчужденіи воспитать въ себѣ свое гордое, причудливое *я*, и затѣмъ присвоить себѣ миссію—разорить это общество въ конецъ и на мѣсто его создать новое по своему плану;—въ этомъ нѣтъ никакой мудрости, а одно лишь безуміе.

Тѣмъ не менѣе—въ наши дни это безуміе возводится въ идеалъ, художественно изображаемый мыслителями и поэтами. А за ними, не разсуждая, увлекаемая талантомъ, стремится стаднымъ движеніемъ толпа, восхищаясь героями и героинями идеализованнаго эгоизма. Одинъ за другимъ появляются самозванные пророки безумной автономіи мышленія и дѣйствія.—пророки соціальной реформы, пророки анархіи и злодѣйства, пророки—новыхъ вѣрованій, отрицающихъ религію. А когда берется за это—художникъ мышленія и слова, онъ привлекаетъ къ себѣ толпу поклонниковъ. Многія увлеченія, при внутренней несостоятельности ученія доходящія нерѣдко до энтузіазма, объясняются силою художественной его конструкціи. Когда идея—какая бы ни была,—овладѣваетъ геніальнымъ художникомъ мышленія и слова, онъ можетъ приложить къ ея развитію всю силу своего таланта и воздвигнуть на ней зданіе, поражающее красотою и стройностью логическихъ выводовъ изъ мысли, въ существѣ своемъ ложной. Но къ распознанію этой основной лжи неспо-

собна толпа, увлеченная своимъ восторгомъ. А творецъ-художникъ, увлекаясь и своимъ созданіемъ, и восторгами своихъ поклонниковъ, самъ входитъ мало-по-малу въ роль пророка, призваннаго обновить человѣчество новою идеей и разсылать во всѣ концы восторженныхъ ея проповѣдниковъ—учениковъ своихъ.

Наше время изобилуетъ ученіями, основанными на началахъ крайняго матеріализма, отрицающаго духовную силу въ жизни человѣчества. Раздѣляясь на множество отдѣльныхъ системъ и толковъ подъ разными названіями (позитивизмъ, натурализмъ, агностицизмъ, утилитаризмъ, крайній соціализмъ, анархизмъ и пр.), эти ученія, сложившись въ научно-художественное построеніе, расплодившись въ обширной литературѣ, пріобрѣли себѣ множество восторженныхъ поклонниковъ, располагаютъ безконечными средствами пропаганды посредствомъ печатнаго и устнаго слова, и мало-по-малу овладѣваютъ умами возрастающаго поколѣнія. Такъ создается почва для невѣрія, для легкомысленной критики на церковь и легкомысленнаго отъ нея отчужденія.

Но отойдя отъ своей церкви, въ коей родились, люди не могутъ отрѣшиться отъ многихъ ощущеній и впечатлѣній своего общества, порожденныхъ и воспитанныхъ вѣками христіанскаго ученія. Опытъ показываетъ, что гдѣ засохли корни вѣры, тамъ еще остаются корни суевѣрія, повсюду нерѣдко смѣшаннаго съ неглубоко сидящею вѣрою. Остается какое-то ощущеніе духа въ жизни, какой-то страхъ передъ чертою, отдѣляющею духъ отъ матеріи. Отсюда замѣчаемое повсюду въ нашъ вѣкъ,—подобно тому, что происходило въ вѣкъ разложенія Римско-языческой культуры—исканіе какой нибудь вѣры: съ одной стороны размноженіе суевѣрій, иногда дикихъ и чудовищныхъ, создающихъ себѣ особливый культъ,—съ другой—стремленіе найти отвѣтъ на запросы духа въ

магомегантствѣ и буддизмѣ; и наконецъ—стремленіе создать новую религію на раціопальныхъ началахъ, вложивъ въ нее, по внушенію фантазіи, нравственныя правила, взятыя изъ Евангелія—религію любви подъ названіемъ очищеннаго христіанства. Отрицаясь отъ церкви, разрушая всякую ограду церковной вѣры и церковнаго единенія,—апостолы этихъ ученій хотятъ, вмѣсто церкви, создать какое-то расплывающееся въ любви всемірное братство мнимыхъ послѣдователей Христа—безъ *вѣры* во Христа. Осудивъ церковь, не съумѣвшую въ теченіе вѣковъ осуществить царство Божіе на землѣ, сами они мечтаютъ достигнуть этого своимъ ученіемъ, водворивъ любовь, общее довольство, равенство безъ порока и преступленія: вотъ, проповѣдуютъ они, истинная цѣль нашего ученія—осуществленіе на землѣ царства любви и мира.

Напрасная мечта, напрасная смута умовъ и сердецъ человѣческихъ. Религія не можетъ быть безъ вѣры,—а это новое мнимое христіанство—въ кого и во что вѣруетъ, и на чемъ, кромѣ бѣднаго слова человѣческаго, утверждаетъ и свои заповѣди и свое мечтательное чаяніе царства любви и правды на землѣ? Это ученіе ходитъ по землѣ и не имѣетъ того, чѣмъ живетъ церковь Христова—стремленія къ небу. Въ церкви это стремленіе—не праздно и не мечтательно, потому что имѣетъ живую цѣль, *живой образъ* Христа Спасителя—Богочеловѣка.

Вѣра не можетъ держаться на одномъ *ученіи*, какъ бы ни было оно чисто и возвышенно: не можетъ держаться и на одномъ собраніи догматовъ. Могутъ они проповѣдывать жизнь, но жизни въ нихъ еще нѣтъ. Жизнь христіанской церкви—*въ лицѣ* Христа, Богочеловѣка, въ комъ вѣчно идеальное существо Божества воплотилось и явилось человѣку. Онъ, явившись, овладѣлъ всею душой человѣка и явилъ

ему *Отца Небеснаго*. Христіанство безъ Христа быть не можетъ, а завѣтъ Христа не въ томъ состоитъ, чтобы водворить на землѣ царство отъ міра сего,—царство всеобщаго довольства, благополучія и мира: царство Его не отъ міра сего. Въ существѣ бытія по закону Его поставлена *радость*, но не счастіе, не покой, не матеріальное благосостояніе,—а съ радостію духа—и со служеніемъ ближнему—жертва, ношеніе ига Христова, крестъ, блаженство нищихъ духомъ и плачущихъ, освобожденіе отъ грѣха и—жизнь вѣчная. Кто хочетъ изъять все это изъ христіанства, тотъ уничтожаетъ его въ самомъ корнѣ, и льстивое мечтаніе гордой мысли воздвигаетъ на мѣсто вѣчной правды Христовой.

Духовная жизнь.

I.

Старыя учрежденія, старыя преданія, старые обычаи — великое дѣло. Народъ дорожитъ ими, какъ ковчегомъ завѣта предковъ. Но какъ часто видѣла исторія, какъ часто видимъ мы нынѣ, что не дорожатъ ими народныя правительства, считая ихъ старымъ хламомъ, отъ котораго нужно скорѣе отдѣлаться. Ихъ поносятъ безжалостно, ихъ спѣшатъ перелить въ новыя формы и ожидаютъ, что въ новыя формы немедленно вселится новый духъ. Но это ожиданіе рѣдко сбывается. Старое учрежденіе тѣмъ драгоцѣнно, по тому незамѣнимо, что оно не придумано, а создано жизнью, вышло изъ жизни прошедшей, изъ исторіи, и освящено въ народномъ мнѣніи тѣмъ авторитетомъ, который даетъ исторія и.... одна только исторія. Ничѣмъ инымъ нельзя замѣнить этого авторитета, потому что корни его въ той части бытія, гдѣ всего крѣпче связуются и глубже утверждаются нравственныя узы — именно въ *безсознательной* части бытія. Напрасно полагаютъ иные, что можно за-

мѣнить его сознаніемъ *идеи* вновь введеннаго учрежденія, которое желаютъ привить къ народной мысли; только отдѣльныя лица могутъ скоро усвоить себѣ такое сознаніе разсудочною силой и найти въ немъ для себя источникъ одушевленія и вѣры. Для массы недоступно такое сознаніе; когда хотятъ его привить къ ней извнѣ, оно преломляется, дробится, искажается въ ней, возбуждая лживыя и фантастическія представленія. Масса усвоиваетъ себѣ идею только непосредственнымъ чувствомъ, которое воспитывается и утверждается въ ней не иначе, какъ исторіей, передаваясь изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Разрушить это преданіе возможно, но невозможно, по произволу, возстановить его.

Въ глубинѣ старыхъ учрежденій часто лежитъ *идея*, глубоко вѣрная, прямо истекающая изъ основъ народнаго духа, и хотя трудно бываетъ иногда распознать и постигнуть эту идею подъ множествомъ внѣшнихъ наростовъ, покрововъ и формъ, которыми она облечена, утратившихъ въ новомъ мірѣ первоначальное свое значеніе, но народъ постигаетъ ее чутьемъ, и потому крѣпко держится за учрежденія въ привычныхъ имъ формахъ. Онъ стоитъ за нихъ, со всѣми оболочками, иногда безобразными и, повидимому, безсмысленными, потому что оберегаетъ инстинктивно зерно истины, подъ ними скрытое, оберегаетъ противъ легкомысленнаго посягательства. Это зерно всего дороже, потому что въ немъ выразилась древнимъ установленіемъ ископная потребность духа, въ немъ отразилась истина, въ глубинѣ духа скрытая. Что нужды, что формы, которыми облечено установленіе, грубыя: грубая форма — произведеніе грубаго обычая, грубаго права, — внѣшней скудости, явленіе преходящее и случайное. Когда измѣнятся къ лучшему нравы, тогда и форма одухотворится, облагородится. Очистимъ внутренность,

поднимемъ духъ народный, освѣтимъ и выведемъ въ сознаніе *идею*,—тогда грубая форма распадется сама собою и уступитъ мѣсто другой, совершеннѣйшей; внѣшнее само собою станетъ чисто и просто.

Но этого не хотятъ знать народные реформаторы, когда разсвирѣпѣютъ негодованіемъ на грубость формы и на злоупотребленіе въ древнихъ установленіяхъ. Изъ-за обрядовъ и формъ, они забываютъ о сущности учрежденія и готовы разбить его совсѣмъ, ничего въ немъ не видя, кромѣ грубости и обряднаго суевѣрія. Сами они думаютъ, что перешли черезъ него, пережили его и могутъ безъ него обойтись, но забываютъ о милліонахъ, которымъ оно доступно по мѣрѣ быта и духовнаго развитія ихъ лишь въ этой грубой обрядности. Разбейте ее, въ виду народа,—и народъ, только ее знающій, утратитъ съ обрядностью цѣлое учрежденіе, утратитъ, можетъ быть, навсегда, возможность уловить снова заложенную въ немъ предками идею и облечь ее въ новую форму. Не лучше-ли было бы начать преобразованіе изнутри, просвѣтить сначала духъ народный, углубить въ немъ идею, очистить и обогатить нравственный и умственный бытъ его? Тогда и идея была бы спасена, и насилія народной жизни не было бы, и грубая форма сама собою перелилась бы въ новую.

„Великое дѣло—говоритъ Карлейль—существующее, дѣйствительное, то—что возникло изъ бездонныхъ пропастей теоріи и возможности, образовалось и стоитъ между нами опредѣлительнымъ, безспорнымъ фактомъ, на которомъ люди живутъ и дѣйствуютъ, жили и дѣйствовали. Недаромъ такъ крѣпко держатся за него люди, пока онъ стоитъ еще, съ такой скорбью покидаютъ его, когда онъ разсыпается и уходитъ. Остерегись же, опомнись, восторженный поклонникъ перемѣны и преобразованій! Подумалъ-ли ты, что зна-

читъ обычай въ жизни человѣчества, какъ чудно все наше знаніе, вся наша практика повѣшены надъ безконечною бездной невѣдомаго, несодѣяннаго—и все существо наше точно безконечная бездна, черезъ которую переброшенъ мостъ обычая, тонкимъ земляннымъ слоемъ, сложеннымъ вѣковою работой...

„Этотъ земляной мостъ—система обычаевъ, опредѣленныхъ путей для вѣрованія и для дѣланія: не будетъ его—не будетъ и общества. Съ нимъ оно держится; хорошо-ли, худо-ли—существуетъ. Въ нихъ, въ этихъ обычаяхъ, истинный кодексъ законовъ, истинная конституція общества; единственный, хоть и неписанный, кодексъ, котораго никоимъ образомъ нельзя не признать, которому нельзя не повиноваться. Что мы называемъ писаннымъ кодексомъ, конституціей, образомъ правленія—все это развѣ не миніатюрный образъ, не экстрактъ того же неписаннаго кодекса? Да, такимъ долженъ быть писаный законъ, и такимъ всегда стремится быть, но никогда не бываетъ, и въ этомъ противорѣчіи начало борьбы безконечной...

„Но если въ обычаѣ ты чувствуешь ложь, и эта ложь давитъ тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, неужели не разрушить ея? Да, не мирись съ ложью и разрушай ложь, но помни, въ какомъ духѣ разрушаешь: смотри, чтобы не въ духѣ ненависти и злобы, не съ насиліемъ эгоизма и самоувѣренности, а въ чистотѣ сердца, со святою ревностью къ правдѣ, съ нѣжностью,—съ состраданіемъ. Смотри—разрушая ложь, не замѣнишь ли ты ее новою ложью, новою неправдой, отъ тебя самого исходящей, своею ложью, своей неправдою, отъ которой новыя лжи и неправды родятся? Если такъ,—послѣднія у тебя будутъ горше первыхъ“...

II.

Изъ-за свободы ведется вѣковая брань въ мірѣ человѣческихъ учрежденій и отношеній, но гдѣ она, эта свобода—если нѣтъ ея въ душѣ человѣческой? Отовсюду разумъ ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить ихъ повидимому для свободы, но на самомъ дѣлѣ для того, чтобы поставить на мѣсто ихъ авторитеты настоящей минуты, вновь изобрѣтенные сегодня, можетъ быть для того только, чтобы завтра на смѣну имъ явились еще новые. Современный проповѣдникъ разума и свободы смотритъ презрительно на православно-вѣрующихъ, за то что они держатся вѣры, которую приняли въ церкви отъ отцовъ и дѣдовъ, и остаются вѣрны преданію; но и онъ развѣ самъ изъ себя выработалъ то, что считаетъ основными мнѣніями своими о церкви и о главныхъ предметахъ жизни духовной? Онъ осмѣиваетъ благоговѣйное чувство церковнаго человѣка и называетъ его суевѣріемъ. А у него самого за плечами стоитъ такъ называемое общественное мнѣніе и связываетъ его благоговѣйнымъ страхомъ: развѣ это не величайшее изъ суевѣрій?—Намъ дорого наше прошедшее, и мы относимся съ уваженіемъ къ исторіи. Онъ смѣется, онъ презираетъ прошедшее и вѣруетъ въ настоящее: но это поклоненіе настоящему чѣмъ лучше нашего, осмѣяннаго имъ чувства? Намъ говорятъ: сбросьте съ себя ярмо закона, разорвите вѣковыя цѣпи преданія, и будете свободны... Но какая же то свобода, когда вмѣстѣ съ тѣмъ настоящее *statu quo* возводится намъ въ законъ и ложится на насъ ярмомъ еще тяжеле прежняго, когда вмѣсто непогрѣшимаго и вдохновеннаго Писанія, которое отнимаютъ у насъ, велятъ намъ вѣрить въ непогрѣшимость мнѣнія толпы народной и хотятъ, чтобы въ большинствѣ голосовъ слышали мы непререкаемый и непогрѣшимый голосъ истины!

III.

Старые Листья

(изъ Саллета).

Срывая съ дерева засохшіе листы,
Вы не разбудите заснувшую природу,
Не вызовете вы, сквозь снѣгъ и непогоду,
Весенней зелени, весенней теплоты!

Придетъ пора—тепло весеннее дохнетъ,
Въ застывшихъ сокахъ жизнь и сила разольётся,
И самъ собою листъ засохшій отпадетъ,
Лишь только свѣжій листъ на вѣткѣ развернется.

Тогда и старый листъ подъ солнечнымъ лучомъ,
Почуявъ жизнь, придетъ въ весеннее броженье:
Въ немъ—новой поросли готовится наземъ,
Въ немъ—свѣжій сокъ найдетъ младое поколѣнье...

Не съ тѣмъ пришла весна, чтобъ гнѣвно разорять
Вѣковъ минувшихъ плодъ и дѣло въ мірѣ новомъ:
Великаго удѣлъ—творить и исполнять:
Кто разоряетъ—малъ во царствіи Христовомъ.

Не быть творцомъ, когда тебя ведетъ
Къ прошедшему одно лишь гордое презрѣнье.
Духъ—создалъ старое: лишь въ *старомъ* онъ найдетъ
Основу твердую для *новаго* творенья.

Вѣкъ будутъ истинны—пророки и законъ,
Въ чертѣ единой—вѣчный смыслъ таится,
И въ новой истинѣ лишь то должно открыться,
Въ чемъ былъ издревле смыслъ глубокій заключенъ.

IV.

* * *

Въ пыли и бренiи земномъ
Зерно чистѣйшее хранится,
И пробиваетъ прахъ росткомъ,
Чтобы подъ солнечнымъ лучомъ
Могучимъ деревомъ развиться.

Въ пустынѣ, зноемъ дня спаленной,
Гдѣ только враповъ слышенъ крикъ,
Подъ грудой камней раскаленной
Сокрытъ живительный родникъ
Воды прозрачной и студеной.

Гдѣ солнца лучъ на вѣкъ угасъ
Въ пучинѣ хладной дна морского,
Тамъ ищетъ смѣлый водолазъ
Жемчужинъ, блещущихъ для глазъ
Отливомъ неба голубого.

Подъ грубой каменной корой
Алмазъ таится драгоцѣнный;
Но млатъ дробитъ за слоемъ слой—
И блещетъ чудною красой
Алмазъ, изъ камня извлеченный.

Не такъ ли въ мірѣ суждено,
По волѣ тайной Провидѣнья,
Чтобъ слова Божiя зерно
Было на днѣ схоронено
Соблазновъ, лжи и заблужденья?

Чтобъ чудный даръ воды живой,
Излитый Божіей рукой
На міръ въ потокахъ безпредѣльныхъ,
Вкушался жаждущей толпой
Въ сосудахъ грѣшныхъ и скудельныхъ?

Но вѣчной истины зерна
Сплетенье лжи не заглушаетъ,
И древо жизни и добра
Отъ зла и смерти торжества
Весь міръ собою охраняетъ.

Но и воды живой струя
Въ сосудахъ грѣшныхъ не мутится,
И дня великаго заря,
Лучами кроткими горя,
Во вѣки тьмою не затмится.

* * *

V.

Одинъ развѣ глупецъ можетъ имѣть обо всемъ ясныя мысли и представленія. Самыя драгоцѣнныя понятія, какія вмѣщаетъ въ себѣ умъ человѣческій,—находятся въ самой глубинѣ поля и въ полумракѣ; около этихъ-то смутныхъ идей, которыя мы не въ силахъ привесть въ связь между собою,—вращаются ясныя мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. Еслибъ отрѣзать насъ отъ этого заднято плана—въ этомъ мірѣ остались-бы только геометры, да понятливыя животныя; даже точныя науки утратили-бы въ немъ нынѣшнее свое величіе, зависящее отъ скрытаго ихъ отношенія къ другимъ безконечнымъ истинамъ, которыя мы только угадываемъ и въ которыя лишь по временамъ какъ будто прозираемъ. Неизвѣстное—это самое драгоцѣнное достояніе человѣка: не даромъ учитъ Платонъ, что все въ здѣшнемъ мірѣ есть слабый образъ верховнаго домостроительства. Кажется даже, что главное дѣйствіе красоты, которую мы видимъ, состоитъ въ возбужденіи мысли о высшей красотѣ, которой не видимъ, и очарованіе, производимое, напримѣръ, великими поэтами, состоитъ не столько въ картинахъ, ими изображаемыхъ, сколько въ тѣхъ дальнихъ отголоскахъ, которые они будятъ въ насъ и которые идутъ изъ невидимаго міра.

VI.

Жизнь, бьющая ключемъ юности, желанія и страсти, жизнь, исполненная наслажденій, жизнь подъ непрестаннымъ солнечнымъ сіяніемъ, погружаетъ человѣка въ сонъ, съ которымъ разстаться не хочется,—сонъ, исполненный очаровательныхъ видѣній и сладостныхъ ощущеній.

Но этотъ сонъ когда-нибудь прерывается—горемъ, заботою, разочарованіемъ, паденіемъ счастья и правды. Солнце скрывается, наступаетъ ночь, со всѣми страхами ночи.

Но посреди этой ночи на сводѣ небесномъ являются смятенной душѣ, въ таинственной красотѣ своей, небесныя свѣтила, которыхъ она не видѣла и не чуяла въ солнечномъ сіяніи. Тогда таинственное объемлетъ и смиряетъ смятенную душу, и возстаютъ передъ нею свѣтила дѣтства и юности—простота первыхъ ощущеній, ласки и завѣты безкорыстной родительской любви, забытые уроки Богопочтенія и долга,—все, что вмѣстѣ съ началомъ бытія возникло для человѣка изъ вѣчности, и питало, и учило, и освѣщало начатки юной жизни. Надо было душѣ погрузиться въ мракъ ночи для того, чтобъ открылись ей изъ глубины прошедшаго небесныя ея свѣтила.

— — —

VII.

Карусъ, въ своемъ извѣстномъ сочиненіи *О душѣ* (Psyche),—говоритъ, что ключъ къ уразумѣнію существа *сознательной* жизни души лежитъ въ области *безсознательнаго*. Въ своей книгѣ онъ изслѣдуетъ взаимное отношеніе сознательнаго къ безсознательному въ жизни человѣческой и высказываетъ много глубокихъ мыслей. Божественное въ насъ,—говоритъ онъ,—что мы называемъ душою, не есть что-либо разъ остановившееся въ извѣстномъ моментѣ, но есть нѣчто непрестанно преобразующееся въ постоянномъ процессѣ развитія,—разрушенія и новаго образованія. Каждое явленіе, бывающее во времени, есть продолженіе или развитіе прошедшаго и содержитъ въ себѣ начаніе будущаго.

Сознательная жизнь человѣка разлагается на отдѣльные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представленіе своего существа въ прошедшемъ и будущемъ, настоящая же минута отъ нея ускользаетъ, ибо едва явилась—какъ уже переходитъ въ прошедшее. Приведеніе всѣхъ этихъ моментовъ къ единству, сознаніе *настоящаго*, т. е. обрѣтеніе истиннаго твердаго пункта между настоящимъ и будущимъ, возможно лишь въ области безсознательнаго, т. е. тамъ, гдѣ нѣтъ времени, но есть вѣчность. Извѣстные мины греческой древности объ *Эпиметеѣ* и *Прометеѣ* имѣютъ глубокое значеніе, и не даромъ греческая мудрость поставляла ихъ въ связь съ высшимъ развитіемъ человѣчества. Вся органическая жизнь напоминаетъ намъ эти двѣ оборотныя стороны творческой идеи въ области безсознательнаго. И въ мірѣ растительномъ, и въ мірѣ животномъ каждое побужденіе, каждая форма даютъ намъ знать, когда мы вдумываемся, что здѣсь есть нѣчто возвращающее насъ къ прошедшему, къ явившемуся и бывшему прежде, и предсказываетъ намъ нѣчто имѣющее образоваться и явиться въ будущемъ. Чѣмъ глубже мы вдумываемся въ эти свойства явленій, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что все, что *въ сознательной* жизни мы называемъ памятью, воспоминаніемъ, и все то въ особенности, что называемъ предвидѣніемъ и предвѣдѣніемъ,—все это служитъ лишь самымъ блѣднымъ отраженіемъ той явности, и опредѣлительности, съ которою эти свойства воспоминанія и предвидѣнія открываются *въ безсознательной* жизни.

Въ сочиненіи Каруса изслѣдуются случаи, въ коихъ сознательная жизнь души, пріостанавливаясь, переходитъ иногда внезапно въ область безсознательнаго. Замѣчательно, говоритъ онъ, внезапное и непроизвольное возникновеніе

въ нашей душѣ давно исчезнувшихъ изъ нея представленій и образовъ, равно какъ и внезапное исчезновеніе ихъ изъ нашего сознанія, причемъ они сохраняются и соблюдаются однако въ глубинѣ безсознательной души. Представленія о лицахъ, предметахъ, мѣстностяхъ и пр., даже иныя особенныя чувства и ощущенія, иногда въ теченіе долгаго времени кажутся совсѣмъ исчезнувшими, какъ вдругъ просыпаются и возникаютъ снова со всею живостью, и тѣмъ доказываютъ, что въ дѣйствительности не были они утрачены. Бывали отдѣльные очень удивительные случаи, въ коихъ разомъ сознаніе съ необыкновенною ясностью простиралось на цѣлый кругъ жизни со всѣми ея представленіями. Извѣстенъ случай этого рода съ однимъ англичаниномъ, подвергавшимся сильному дѣйствію опіума: однажды, въ періодъ сильнаго возбужденія передъ наступленіемъ полнаго притупленія чувствъ, ему представилась необыкновенно ясно и во всей полнотѣ картина всей прежней его жизни со всѣми ея представленіями и ощущеніями. То же, разсказываютъ, случилось съ одною дѣвицей, когда она упала въ воду и утопала, въ минуту передъ совершенною потерею сознанія.

Карусъ не приводитъ подробностей и не ссылается на удостовѣреніе приведеннаго случая: многимъ, безъ сомнѣнія, доводилось тоже слышать подобные разсказы въ смутномъ видѣ. Но вотъ единственный, намъ извѣстный, любопытный и вполнѣ достовѣрный разсказъ о подобномъ событіи самого того лица, съ коимъ оно случилось.

Это случилось съ очень извѣстнымъ англійскимъ адмираломъ Бьюфортомъ, въ Портсмутѣ, когда онъ въ молодости опрокинулся съ лодкой въ морѣ и пошелъ ко дну, не умѣя плавать. Онъ былъ вытащенъ изъ воды и впослѣдствіи по убѣжденію извѣстнаго доктора Волластона, записалъ стран-

ную исторію своихъ ощущеній. Вотъ этотъ разсказъ во всей его цѣлости.

Описывая обстоятельства, при которыхъ совершилось паденіе, онъ говоритъ: „Все это я передаю или по смутному воспоминанію, или по разсказамъ свидѣтелей; самъ утопающій въ первую минуту поглощенъ весь ощущеніемъ своей гибели и бореніемъ между надеждой и отчаяніемъ. Но что затѣмъ послѣдовало, о томъ могу свидѣтельствовать съ полнѣйшимъ сознаніемъ: въ духѣ моемъ совершился въ эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворотъ, что всѣ его обстоятельства остаются доныпѣ такъ свѣжи и живы въ моей памяти, какъ бы вчера со мною случились. Съ того момента, какъ прекратилось во мнѣ всякое движеніе (что было, полагаю, послѣдствіемъ совершеннаго удушенія),—тихое ощущеніе совершеннаго спокойствія смѣнило собою всѣ прежнія мятежныя ощущенія; можно, пожалуй, назвать его состояніемъ апатіи; но тутъ не было тупой покорности предъ судьбою, потому что не было тутъ ни малѣйшаго страданія, не было и ни малѣйшей мысли ни о гибели, ни о возможности спасенія. Напротивъ того, ощущеніе было скорѣе пріятное, нѣчто въ родѣ того тупого, но удовлетворепнаго состоянія, которое бываетъ передъ сномъ послѣ сильной усталости. Чувства мои такимъ образомъ были притуплены, но съ духомъ произошло нѣчто совсѣмъ противоположное. Дѣятельность духа оживилась въ мѣрѣ превышающей всякое описаніе: мысли стали возникать за мыслями съ такою быстротою, которую не только описать, но и постигнуть не можетъ никто, если самъ не испыталъ подобнаго состоянія. Теченіе этихъ мыслей я могу и теперь въ значительной мѣрѣ прослѣдить—начиная съ самаго событія, только что случившагося,—человѣкость, бывшая его причиною, смятеніе, которое отъ него произошло (я видѣлъ,

какъ двое вслѣдъ за мною спрыгнули съ борта), дѣйствіе, которое оно должно было произвесть на моего нѣжнаго отца, объявленіе ужасной вѣсти всему семейству,—тысяча другихъ обстоятельствъ, тѣсно связанныхъ съ домашнею моей жизнью: вотъ изъ чего состоялъ первый рядъ мыслей. Затѣмъ кругъ этихъ мыслей сталъ расширяться дальше: явилось послѣднее наше плаваніе, первое плаваніе со случившимся крушеніемъ, школьная моя жизнь, мои успѣхи, всѣ ошибки, глупости, шалости, всѣ мелкія приключенія и затѣи того времени. И такъ дальше и дальше назадъ, всякій случай прошедшей моей жизни проходилъ въ моемъ воспоминаніи въ поступательно обратномъ порядкѣ, и не въ общемъ очертаніи, какъ показано здѣсь, но живою картиной во всѣхъ мельчайшихъ чертахъ и подробностяхъ. Словомъ сказать—вся исторія моего бытія проходила передо мной точно въ панорамѣ, и каждое въ ней со мною событіе соединялось съ сознаніемъ правды или неправды, или съ мыслью о причинахъ его и послѣдствіяхъ; удивительно,—даже самые мелкіе, ничтожные факты, давнымъ давно позабытые, всѣ почти воскресли въ моемъ воображеніи, и притомъ такъ знакомо и живо, какъ бы недавно случились. Все это не указываетъ-ли на безграничную силу нашей памяти, не пророчитъ ли, что мы со всей полнотою этой силы проснемся въ иномъ мірѣ, *принуждены* будемъ созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полнотѣ ея? И съ другой стороны—все это не оправдываетъ ли вѣру, что смерть есть только измѣненіе нашего бытія, въ коемъ, стало быть, нѣтъ дѣйствительнаго промежутка или перерыва? Какъ бы то ни было, замѣчательно въ высшей степени одно обстоятельство,—что безчисленныя идеи, промелькнувшія въ душѣ у меня, всѣ до одной обращены были въ прошедшее. Я былъ воспитанъ въ правилахъ вѣры. Мысли мои о буду-

щей жизни, и соединенныя съ ними надежды и опасеніе не утратили нисколько первопачальной силы, и въ иное время одна вѣроятность близкой гибели возбудила бы во мнѣ страшное волненіе; но въ этотъ неизъяснимый моментъ, когда во мнѣ было полное убѣжденіе въ томъ, что перейдена уже черта, отдѣляющая меня отъ вѣчности,—ни единая мысль о будущемъ не загляпула ко мнѣ въ душу, я былъ погруженъ весь въ прошедшее. Сколько времени было у меня занято этимъ потокомъ идей или, лучше сказать, въ какую долю времени всѣ онѣ были втиснуты, не могу теперь опредѣлить въ точности; но безъ сомнѣнія не прошло и двухъ минутъ съ момента удушенія моего до той минуты, когда меня вытащили изъ воды.

„Когда стала возвращаться жизнь, ощущеніе было во всѣхъ отношеніяхъ противоположное прежнему. Одна простая, но смутная мысль—жалостное представленіе, что я утопалъ—тяготѣла надъ душой, вмѣсто множества ясныхъ и опредѣленныхъ идей, которыя только что пронеслись черезъ нее. Безпомощная тоска, въ родѣ кошмара, подавляла всѣ мои ощущенія, мѣшая образованію какой-либо опредѣленной мысли, и я съ трудомъ убѣдился, что живъ дѣйствительно. Утопая, не чувствовалъ я ни малѣйшей физической боли; а теперь мучительная боль терзала весь составъ мой: такого страданія я не испытывалъ впослѣдствіи, не смотря на то, что бывалъ нѣсколько разъ раненъ и часто подвергался тяжкимъ хирургическимъ операціямъ. Однажды пуля прострѣлила мнѣ легкія: я пролежалъ нѣсколько часовъ ночью, на палубѣ, и, истекая кровью отъ другихъ ранъ, потерялъ наконецъ сознаніе въ обморокѣ. Не сомнѣваясь, что рана въ легкія смертельна, конечно, въ минуту обморока я имѣлъ полное ощущеніе смерти. Но

въ эту минуту не испыталъ я ничего похожаго на то, что совершалось въ душѣ у меня, когда я тонулъ; а приходя въ себя послѣ обморока, я разомъ пришелъ въ ясное сознаніе о своемъ дѣйствительномъ состояніи".

Церковь.

I.

Чѣмъ явственнѣе означаются въ умѣ отличительныя племенныя черты каждаго вѣроисповѣданія, тѣмъ-болѣе убѣждаешься въ томъ, какое недостижимое и мечтательное дѣло—объединеніе вѣроисповѣданій въ одномъ искусственномъ, надуманномъ соглашеніи о догматѣ, на началѣ взаимной уступки въ частяхъ несущественныхъ. Существенное въ каждомъ вѣроисповѣданіи едва-ли возможно выразить, выяснить на бумагѣ или въ опредѣленной формулѣ. Самое существенное, самое упорное и драгоцѣнное въ церковномъ вѣрованіи—неуловимо, недоступно опредѣленію, подобно разнообразію свѣта и тѣней, подобно чувству, сложившемуся изъ безконечнаго ряда послѣдовательныхъ ощущеній, представленій и впечатлѣній. Самое существенное—связано и сплетено множествомъ такихъ тонкихъ корней съ психическою природою каждаго племени и съ общими, сложившимися въ немъ, началами нравственнаго міросозерцанія, что невозможно отдѣлить одно отъ другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могутъ, во многихъ отношеніяхъ,

при встрѣчѣ, во взаимномъ общеніи, почувствовать себя братьями и подать другъ другу руки; но для того, чтобъ они почувствовали себя братьями въ одномъ храмѣ, соединились въ религіозномъ общеніи духа,—для этого надобно имъ долго и много прожить вмѣстѣ, другъ друга понять во всей жизненной обстановкѣ и сплестись между собою въ самыхъ внутреннихъ корняхъ глубины душевной. Такъ иногда нѣмецъ, долго прожившій въ Россіи, безсознательно привыкаетъ вѣровать по-русски, и въ русской церкви чувствуетъ себя дома. Тогда онъ *входитъ* къ намъ, становится однимъ изъ нашихъ, и общеніе его съ нами—полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантовъ, вдалекѣ отъ насъ стоящее, по слуху судящее объ насъ, могло, по книжному или отвлеченному соглашенію о догматахъ и обрядахъ, соединиться съ нами въ одну церковь органическимъ союзомъ и стать едино съ нами по духу,—этого и представить себѣ нельзя. До сихъ поръ не удавалась еще ни одна церковная унія, основанная на соглашеніи: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодомъ его бывало повсюду умноженіе не любви, а взаимнаго отчужденія или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать другъ друга за вѣру; пусть каждый вѣруетъ по-своему, какъ ему сроднѣе. Но у каждаго есть вѣра, въ которой ему пріютно, которая ему по душѣ, которую онъ любитъ; и нельзя не чувствовать, когда подходишь къ иной вѣрѣ, несродной, несочувственной, что здѣсь—не то, что у насъ; здѣсь непріютно и холодно; здѣсь не хотѣлъ бы жить. Пусть разумъ говоритъ отвлеченнымъ разсужденіемъ: вѣдь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда можетъ согласиться съ этимъ разсужденіемъ; иногда чувству кажется, что въ чужой церкви какъ будто не тому Богу молятся.

Многіе станутъ смѣяться надъ такимъ ощущеніемъ, пожалуй, назовутъ его суевѣріемъ, фанатизмомъ. Напрасно. Ощущеніе не всегда обманчиво; въ немъ сказывается иногда истина прямѣе и вѣрнѣе, нежели въ разсужденіи.

Въ протестантскомъ храмѣ, въ протестантскомъ вѣрованіи холодно и непріютно русскому человѣку. Мало того, если ему дорога́ вѣра какъ жизнь,—онъ чувствуетъ, что назвать этотъ храмъ своимъ—для него все равно, что умереть. Вотъ непосредственное чувство. По этому чувству много и резонныхъ причинъ. Вотъ одна изъ нихъ, которая особенно поражаетъ своей очевидностью.

Въ богословской полемикѣ, въ спорахъ между религіями, въ совѣсти каждаго человѣка и каждаго племени, одинъ изъ основныхъ вопросовъ—вопросъ о *дѣлахъ*. Что главное—*дѣла* или *вѣра?* Извѣстно, что на этомъ вопросѣ препирается донынѣ латинское богословіе съ протестантскимъ. Покойный Хомяковъ въ своихъ богословскихъ сочиненіяхъ прекрасно разъяснилъ, до какой степени обманчива схоластически-абсолютная постановка этого вопроса. Объединеніе вѣры съ дѣломъ, равно какъ и отождествленіе слова съ мыслью, дѣла со словомъ—есть идеалъ недостижимый для человѣческой природы, какъ недостижимо все безусловное... идеалъ, вѣчно возбуждающій и вѣчно обличающій вѣрующую душу. Вѣра безъ дѣлъ мертва; вѣра, противная дѣламъ, мучитъ человѣка сознаніемъ внутренней лжи, но въ необъятномъ мірѣ внѣшности, объемлющемъ человѣка, и предъ лицомъ безконечной вѣчности—что значитъ *дѣло* или *всяческія дѣла,* что значатъ—безъ вѣры?

Покажи мнѣ *вѣру твою* отъ *дѣлъ* твоихъ—страшный вопросъ! Что на него отвѣтить *увѣренному,* когда спрашиваетъ его *испытующій*, ищущій познать истину отъ дѣла? Положимъ, что такой вопросъ задастъ протестантъ право-

славному человѣку. Что отвѣтитъ ему православный?—Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но черезъ минуту можно поднять голову и сказать: грѣшные мы люди и показывать намъ нечего, да, вѣдь, и ты не праведный. Но приди къ намъ самъ, поживи съ нами: и увидишь нашу вѣру, и почуешь наше чувство, и, можетъ быть, съ нами слюбишься. А дѣла наши, какія есть, самъ увидишь. Послѣ такого отвѣта девяносто девять изо-ста отойдутъ отъ насъ съ презрительною усмѣшкой. Въ сущности все дѣло только въ томъ, что мы показывать дѣла свои противъ вѣры не умѣемъ, да и не рѣшаемся.

А они показываютъ. И умѣютъ показать, и правду сказать, есть имъ что показать, въ совершенномъ порядкѣ—вѣками созданныя, сохраненныя и упроченныя дѣла и учрежденія. Смотрите,—говоритъ католическая церковь,—что́ я значила и что́ значу въ жизни того общества, которое меня слушаетъ и мнѣ служитъ, что́ я создала и что́ мною держится. Вотъ дѣла любви, вотъ дѣла вѣры, вотъ дѣла апостольства, вотъ подвиги мученичества, вотъ полки вѣрные, какъ одинъ человѣкъ, которые я разсылаю на концы вселенной. Не явно-ли, что со мною и въ насъ благодать пребываетъ отъ вѣка и донынѣ?

Смотрите,—говоритъ протестантская церковь,—я не терплю лжи, обмана и суевѣрія. Я привожу дѣла въ соотвѣтствіе и разумъ въ соглашеніе съ вѣрой. Я освятила вѣрою трудъ, житейскія отношенія, семейный бытъ, вѣрою искореняю праздность и суевѣріе, водворяю честность, правосудіе и общественный порядокъ. Я учу ежедневно, и ученіе мое, близкое къ жизни, воспитываетъ цѣлыя поколѣнія въ привычкѣ къ честному труду и въ добрыхъ нравахъ. Человѣчество призвано обновиться ученіемъ моимъ—въ до-

бродѣтели и въ правдѣ. Я призвана искоренить мечомъ слова и дѣла, развратъ и лицемѣріе повсюду. Не явно-ли, что сила Божія со мною, потому что во мнѣ *истинное зрѣніе на религію?*

Протестанты донынѣ спорятъ съ католиками о догматическомъ значеніи *дѣла* въ отношеніи къ вѣрѣ. Но при совершенной противоположности богословскаго воззрѣнія на этотъ предметъ, и тѣ и другіе ставятъ *дѣло* во главу своей религіи. Только у латинянъ дѣло служитъ въ оправданіе, въ искупленіе, во свидѣтельство о благодати. Лютеране, съ другой стороны, смотрятъ на дѣло, и въ связи съ дѣломъ, на самую религію, съ практической точки зрѣнія. Дѣло какъ будто обращается у нихъ въ *цѣль*, для которой существуетъ религія, становится осѣлкомъ, на которомъ испытуется *правда* религіозная и церковная, и вотъ пунктъ, на которомъ, болѣе чѣмъ на всякомъ другомъ, наша религіозная мысль расходится съ религіозною мыслью протестантизма. Безъ сомнѣнія, высказанное сейчасъ воззрѣніе не составляетъ догматическаго положенія въ лютеранской церкви, но имъ проникнуто все ея ученіе. Безспорно, въ немъ есть весьма важная *практическая* сторона, для *здѣшней* жизни, для *міра сего;* и оттого многіе, даже у насъ, готовы иногда ставить нашей церкви въ образецъ и въ идеалъ церковь протестантскую. Но русскій человѣкъ, въ глубинѣ вѣрующей души, не приметъ никогда такого воззрѣнія. *Благочестіе на все полезно*—и по апостольскому слову; но это лишь одна изъ *естественныхъ* принадлежностей благочестія. Русскій человѣкъ не менѣе другого знаетъ, что жить должно *по вѣрѣ*, и чувствуетъ, какъ мало сходна съ вѣрою жизнь его; но существо и цѣль вѣры своей полагаетъ онъ не въ практической жизни, а въ душевномъ спасеніи, и любовію церковнаго союза ищетъ обнять всѣхъ—отъ живу-

щаго по вѣрѣ праведника до того разбойника, который, не смотря на дѣла, прощенъ былъ въ одну минуту.

Это *практическое основаніе* протестантизма нигдѣ не выражается такъ явственно, какъ въ церкви англиканской и въ духѣ религіознаго воззрѣнія англійской націи. Оно и согласуется съ характеромъ націи, выработавшимся въ ея исторіи — направлять мысль и дѣятельность повсюду къ практическимъ цѣлямъ, стойко и неуклонно добиваться успѣха и во всемъ избирать тѣ пути и способы, которые ближе и вѣрнѣе ведутъ къ успѣху. Это природное стремленіе необходимо должно было искать себѣ нравственной основы, выработать для себя нравственную теорію; и немудрено, что нравственныя начала нашли для себя санкцію въ соотвѣтствующемъ извѣстному характеру религіозномъ воззрѣніи. Религія безспорно освящаетъ нравственное начало дѣятельности, учитъ, какъ жить и дѣйствовать на землѣ, требуетъ трудолюбія, честности, правды. Нельзя не согласиться съ этимъ положеніемъ. Но отъ этого положенія практическій взглядъ на религію прямо переходитъ къ вопросу: что же за религія у того, кто живетъ въ праздности, нечестенъ и лживъ, развратенъ, безпорядоченъ, не умѣетъ поддержать себя? Такой человѣкъ язычникъ, а не христіанинъ; лишь тотъ христіанинъ, кто живетъ по закону и являетъ въ себѣ силу закона христіанскаго.

Разсужденіе, повидимому, логически правильное. Но у кого не шевелится въ душѣ вопросъ: какъ же быть на свѣтѣ и въ Церкви мытарямъ и блудницамъ, тѣмъ, которые, по слову Христову, предваряютъ нерѣдко церковныхъ праведниковъ въ Царствіи Божіемъ?

Разумѣется, странно было бы предполагать, что такой взглядъ на религію составляетъ положительную формулу церковнаго вѣрованія въ Англіи. Такая *формула* была бы яв-

нымъ отрицаніемъ евангельскаго ученія. Но таковъ именно духъ религіознаго воззрѣнія у самыхъ добросовѣстныхъ и ревностныхъ представителей такъ называемаго „національнаго церковнаго учрежденія“, отстаивающихъ и восхваляющихъ англиканскую церковь, какъ первую твердыню государства—bulwark of State—и какъ основное выраженіе духа національнаго. Въ англійской литературѣ, какъ въ духовной, такъ и свѣтской, это воззрѣніе выражается иногда въ весьма рѣзкихъ формахъ, въ такихъ словахъ, предъ коими останавливается съ недоумѣніемъ, похожимъ на ужасъ, мысль русскаго читателя.

Есть сочиненіе замѣчательное по глубинѣ и основательности мысли, написанное человѣкомъ очевидно вѣрующимъ, глубоко и ревностно преданнымъ своей церкви. Вотъ что здѣсь сказано между прочимъ о религіи.

„Нѣкоторыя религіи очевидно не благопріятны чувству общественнаго долга. Иныя не имѣютъ никакого къ нему отношенія, а изъ тѣхъ религій, которыя ему благопріятствуютъ (таковы въ бо́льшей или меньшей мѣрѣ всѣ формы христіанской вѣры), одинѣ дѣйствуютъ на него съ особенною, другія съ меньшею силой. Можно сказать, что всего могущественнѣе дѣйствуютъ въ этомъ смыслѣ тѣ религіи, въ коихъ господствуетъ надъ всѣмъ образъ безконечно мудраго и могущественнаго законодателя. Его личное бытіе неизслѣдимо для человѣческаго разума; но онъ сотворилъ міръ такимъ, *каковъ есть міръ*, сотворилъ его *для рода людей благоразумныхъ, твердыхъ и смѣлыхъ духомъ* и устойчивыхъ: *для тѣхъ*, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуютъ безумныхъ и трусовъ, знаютъ твердо, что̀ имъ нужно, и съ рѣшимостью употребляютъ *всѣ законныя средства, чтобы того достигнуть. Такая-то религія составляетъ безмолвное, но глубоко укоренившееся убѣжденіе англій-*

ской націи, въ лучшихъ, солидн*ѣ*йшихъ ея представителяхъ. Они представляютъ наковальню, о которую избилось уже множество молотовъ, и изобьется еще того больше, не взирая ни на какихъ энтузіастовъ и гуманитарныхъ мечтателей". (Stephen. Liberty, equality, fraternity). Вотъ до какого понятія о религіи можетъ дойти мысль увѣреннаго англиканца—протестанта. Выписанныя слова въ сущности содержатъ въ себѣ прямое извращеніе евангельскаго слова; они какъ будто говорятъ: *блаженны крѣпкіе и сильные* въ дѣлѣ: имъ принадлежитъ царство. Да, скажемъ мы:—царство земное, но не царство небесное. Авторъ не дѣлаетъ этой оговорки, но не различаетъ земного отъ небеснаго. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроеніе *религіозной* мысли безспорно имѣло въ протестантскихъ странахъ, и особенно въ Англіи, величайшее практическое значеніе, и въ этомъ смыслѣ нельзя не согласиться, что протестантство было сильнымъ и благодѣтельнымъ двигателемъ общественнаго развитія у тѣхъ племенъ, коихъ натурѣ оно соотвѣтствовало, и которыя его приняли. Но не очевидно-ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, что нѣкоторыя племена, по своей натурѣ, никакъ не *могутъ* принять его и ему подчиниться, потому что именно въ этомъ воззрѣніи протестантства не чувствуютъ жизненнаго религіознаго начала, видятъ не единство, а раздвоеніе религіознаго сознанія, не живую истину, а *конструкцію* мысли и обольщеніе.

„Горе слабымъ и падающимъ! Горе побѣжденнымъ"! Конечно, въ здѣшней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говоритъ каждому: борись, входи въ силу и держи въ себѣ силу, если хочешь жить: слабому нѣтъ мѣста на свѣтѣ. Но придавать этому правилу безусловную, какъ бы догматическую силу въ религіозномъ смы-

слѣ—вотъ чего наша душа не принимаетъ, какъ не принимаетъ она сроднаго протестантству ужаснаго кальвинскаго ученія о томъ, что иные отъ вѣка призваны къ добродѣтели, къ славѣ, къ спасенію и блаженству, а другіе отъ вѣка осуждены, и что бы ни дѣлали въ жизни, все влечетъ ихъ въ бездну отчаянія и вѣчныхъ мученій.

Страшно читать иныхъ англійскихъ писателей, у которыхъ съ особенною силой звучитъ эта струна англиканскаго протестантизма. У Карлейля, напримѣръ, доходитъ до восторженнаго паоосa поклоненіе силѣ и таланту побѣдителя и презрѣніе къ побѣжденнымъ. Созерцая своихъ героевъ, сильныхъ людей, онъ чествуетъ въ нихъ воплощеніе *божественнаго* и съ тонкимъ презрительнымъ юморомъ говоритъ о тѣхъ слабыхъ и несчастныхъ, неловкихъ и падшихъ, которыхъ раздавила побѣдная колесница. Его герой воплощаетъ въ себѣ идею свѣта и порядка, въ мракѣ и неустройствѣ космическаго хаоса: его герой *строитъ* свою вселенную, и все, что встрѣчается ему на дорогѣ и не умѣетъ ему покориться и служить ему, и не имѣетъ своей силы, чтобы побороть его, погибаетъ достойно и праведно. Громадный талантъ Карлейля обворожаетъ читателя, но тяжело читать его историческія поэмы и видѣть, какъ часто имя Божіе примѣняется имъ всуе въ борьбѣ сильнаго со слабыми. У язычниковъ классическаго періода—и у тѣхъ возлѣ побѣдной колесницы шелъ иногда шутъ, который, служа представителемъ нравственнаго начала, долженъ былъ преслѣдовать своими шутками не побѣжденныхъ, а самого побѣдителя.

Всего тяжелѣе читать Фруда, знаменитаго историка англійской реформаціи и самаго виднаго, между историками, представителя англійскихъ національныхъ началъ въ церкви и въ политикѣ. Карлейль, по крайней мѣрѣ, поэтъ;

но Фрудъ говоритъ спокойнымъ тономъ историка, любитъ діалектику—и нѣтъ беззаконія, котораго не оправдалъ бы онъ своею діалектикой въ пользу любимой идеи; нѣтъ лицемѣрія, котораго не построилъ бы онъ въ правду, доказывая правду реформы и главныхъ ея дѣятелей. Онъ стоитъ непоколебимо, фанатически, на основахъ англиканскаго правовѣрія, и главною основою его полагаетъ—сознаніе долга общественнаго, преданность государственной идеѣ и закону,—и неумолимое преслѣдованіе порока, преступленія, праздности и всего, что называется измѣною долгу. Все это прекрасно въ дѣлѣ человѣческомъ; но каково ставить такое правило въ основаніе и цѣль религіознаго воззрѣнія, если подумаешь, что каждому изъ этихъ священныхъ словъ—и долгу, и закону, и пороку, и преступленію каждая партія въ каждую минуту придаетъ особенное значеніе, и что между людьми сегодня называютъ правдою и доблестью, за что завтра казнятъ, какъ за ложь и преступленіе. Для милости, для состраданія не остается мѣста въ вѣрованіи Фруда: какъ можно согласить милость съ негодованіемъ на то, что считается порокомъ, преступленіемъ, нарушеніемъ закона? Упоминая о страшныхъ казняхъ, которымъ подвергались въ ту пору такъ часто и невинные, наравнѣ съ виноватыми, строгій судья человѣческихъ дѣлъ такъ говоритъ о своемъ народѣ: „англичане—строгій и суровый народъ—они не знаютъ состраданія тамъ, гдѣ *нѣтъ законной причины* допустить состраданіе; напротивъ того, они исполнены священнаго и торжественнаго ужаса къ злодѣянію—чувство, которое, по мѣрѣ своего развитія въ душѣ, необходимо закаливаетъ ее и образуетъ желѣзный характеръ. Строгаго права человѣкъ склоненъ къ нѣжности тогда лишь, когда остается еще мѣсто добру посреди зла, и добро еще борется со зломъ; но въ виду совершеннаго развращенія и зла никакое со-

страданіе немыслимо; оно возможно развѣ только тогда, когда мы въ своемъ сердцѣ смѣшиваемъ *преступленіе* съ *несчастіемъ*".

Какое презрѣніе долженъ чувствовать авторъ къ русскому человѣку, у котораго подлинно есть въ душѣ такое смѣшеніе, и который искони называетъ *преступника несчастнымъ*.

Какъ личный характеръ, какъ характеръ племени, такъ и характеръ каждой церкви, въ связи съ усвоившимъ ее племенемъ, имѣетъ и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились въ исторіи германскаго и англо-саксонскаго племени. Пуританскій духъ создалъ нынѣшнюю Британію. Протестантское начало привело Германію къ силѣ, къ дисциплинѣ и къ единству. Но на оборотной сторонѣ его есть такіе недостатки, такія стремленія религіознаго самосознанія, которыя не могутъ быть намъ сочувственны. Протестантство—какъ всякая духовная сила—склонно къ паденію именно въ томъ, въ чемъ полагаетъ свои коренныя духовныя основы. Стремясь къ абсолютной правдѣ, къ очищенію вѣрованія, къ осуществленію вѣрованія въ жизни,—оно слишкомъ склонно увѣровать въ собственную правду и увлечься до гордаго поклоненія своей правдѣ и до презрѣнія къ чужому вѣрованію, которое *отождествляетъ съ неправдою*. Отсюда, съ одной стороны, опасность впасть въ лицемѣріе и фарисейскую гордость. И подлинно, не мало слышится изъ протестантскаго міра голосовъ, которые съ горечью сознаютъ, что лицемѣріе составляетъ язву строгаго лютеранства. Съ другой стороны, начавъ съ проповѣди о терпимости, о свободѣ мысли и вѣрованія, протестантство въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ выказало склонность къ фанатизму особаго рода,—къ фанатизму гордаго разума и самоувѣренной пра-

ведности предъ всѣми прочими видами вѣрованія. Строгій протестантизмъ съ презрѣніемъ относится ко всякому вѣрованію, которое представляется ему неочищеннымъ, недуховнымъ, исполненнымъ суевѣрій и внѣшнихъ обрядностей, ко всему, что онъ самъ отбросилъ, какъ рабскія узы, какъ дѣтскую одежду, какъ принадлежность невѣжества. Создавъ для себя самъ кодексъ вѣрованій и обрядовъ, онъ считаетъ свое исповѣданіе исповѣданіемъ *избранныхъ, просвѣщенныхъ* и *разумныхъ*, и всѣхъ держащихся старой церкви склоненъ считать людьми низшаго рода, неумѣющими возвыситься до истиннаго разумѣнія. Это презрительное отношеніе къ прочимъ вѣрованіямъ, можетъ быть, несознательно выражается въ протестантствѣ; но оно слишкомъ ощутительно для иновѣрцевъ. Никакая религія не свободна отъ большей или меньшей склонности къ фанатизму; но смѣшно слышать, когда съ обвиненіемъ въ фанатизмѣ обращаются къ намъ *лютеране*. У насъ, при терпимости ко всякому вѣрованію, свойственной національному характеру нашему, встрѣчаются, конечно, отдѣльные случаи исключительности и узкости церковныхъ воззрѣній, но никогда не бывало и не можетъ быть ничего подобнаго тому презрѣнію, съ которымъ строгій лютеранинъ смотритъ на непонятныя для него, но для насъ исполненныя глубокаго духовнаго значенія принадлежности нашей церкви и свойства нашего вѣрованія.

II.

Ни въ чемъ такъ явственно, какъ въ церкви, не ощущается различіе между общественнымъ духомъ и складомъ англо-саксонскаго и, напримѣръ, русскаго племени. Въ англійской церкви, сильнѣе, чѣмъ гдѣ либо, является у рус-

скаго человѣка такая мысль: много здѣсь хорошаго, но все-таки—какъ я радъ, что родился и живу въ Россіи. У насъ въ церкви можно забыть обо всѣхъ сословныхъ и общественныхъ различіяхъ, отрѣшиться отъ мірского положенія, слиться совершенно съ народнымъ собраніемъ, передъ лицомъ Бога. Наша церковь большею частью и создана на всенародныя деньги, такъ что рубль отъ гроша различить невозможно; во всякомъ случаѣ, церковь наша есть всенародное дѣло и всенародное достояніе. Оттого она всѣмъ намъ вдвое дороже, что, входя въ нее, послѣдній нищій чувствуетъ, совершенно такъ же, какъ и первый вельможа, что это *его* церковь. Церковь—единственное мѣсто (какое счастье, что у насъ есть такое мѣсто!) гдѣ послѣдняго бѣдняка въ рубищѣ никто не спроситъ: зачѣмъ ты пришелъ сюда, и кто ты такой? гдѣ богатый не можетъ сказать бѣдному: твое мѣсто не возлѣ меня, а сзади.

Здѣсь—войдите въ церковь, посмотрите на церковное собраніе. Оно благоговѣйно, оно, можетъ быть, торжественно; но это—собраніе лэди и джентльменовъ, изъ которыхъ каждое лицо имѣетъ свое мѣсто, ему особливо присвоенное; а богатые люди и знатные въ своемъ околоткѣ—имѣютъ мѣста отдѣленныя и украшенныя, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться отъ мысли, что церковное собраніе здѣсь лишь видоизмѣненіе общественнаго собранія, и что въ немъ есть мѣсто только такъ называемымъ въ обществѣ „порядочнымъ людямъ“? Всѣ молятся по своимъ книжкамъ, но какъ у каждаго въ рукахъ своя книжка, такъ видно, что каждый желаетъ быть и передъ Богомъ—самъ по себѣ, не теряя своей индивидуальности. Говорятъ, что въ послѣднія 20—30 лѣтъ совершилась еще въ этомъ отношеніи замѣтная перемѣна: мѣста въ церквахъ большею частью открытыя, т. е. не отгороженныя наглухо, и доступъ къ нимъ

сталъ свободнѣе, чѣмъ прежде; а въ прежнее время, особливо въ провинціи, и мѣста въ церквахъ устраивались закрытыми или отдѣльными стойками такъ, чтобы владѣлецъ каждаго мѣста могъ молиться *спокойно*. уединенно, не смущаясь никакимъ сосѣдствомъ. Какъ ясно отражается въ этомъ расположеніи церковномъ исторія здѣшняго феодальнаго общества, и самая исторія здѣшней церковной реформы! Nobility и gentry составляютъ все и все ведутъ за собой, потому что всѣмъ обладаютъ и все къ себѣ притягиваютъ. Все должно быть куплено или взято съ бою, даже право имѣть мѣсто въ церкви. Самое *священнослуженіе* —есть право извѣстнаго рода, полагаемое въ цѣну. Мѣста пасторскія, съ правомъ на извѣстный доходъ или окладное содержаніе, составляютъ въ Англіи принадлежность вотчиннаго права, *патронатства*, и выборъ на мѣсто составляетъ достояніе—или частныхъ землевладѣльцевъ, или короны, въ силу не столько государственнаго, сколько феодальнаго владѣльческаго права. Оттого и пасторъ, посреди народа, независимо отъ народа назначенный и независящій отъ народа въ своемъ содержаніи, является среди народа тоже въ видѣ князя, свыше поставленнаго. Церковная должность прежде всего представляется привилегіей (preferment) и достояніемъ; и стыдно сказать: это достояніе служитъ предметомъ торга. Мѣста главныхъ священниковъ (incumbents) могутъ быть сдаваемы за извѣстную цѣну, сложенную изъ капитализаціи дохода, такъ же какъ сдаются мѣста стряпчихъ, нотаріусовъ, маклеровъ и т. п. Въ любой англійской газетѣ, въ особомъ отдѣлѣ объявленій о такъ называемыхъ preferments, вы встрѣтите рядъ предложеній купить мѣсто священника, съ описаніемъ доходныхъ статей: расхваливается мѣсто съ его удобствами для жизни, описывается домъ, мѣстоположеніе, означается доходъ и предлагается

цѣна съ предувѣдомленіемъ, что нынѣшній incumbent старъ, такихъ-то лѣтъ, и, вѣроятно, недолго будетъ пользоваться своимъ положеніемъ. Для переговоровъ указано обращаться туда-то. Въ Лондонѣ издается даже особенный журналъ („The Church preferment registrar"), съ подробнымъ описаніемъ всѣхъ статей, угодій и доходовъ каждаго мѣста, для свѣдѣнія и разсчета желающихъ получить его за извѣстную сумму.

Говорятъ, что въ политическомъ смыслѣ благодѣтельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе какъ съ бою. Можетъ быть, всякое иное, только никакъ не право на молитву общественную въ церкви. Не мудрено, что совѣсть общественная не можетъ удовлетвориться такимъ церковнымъ устройствомъ, и что Англія,—страна установленной государственной церкви, классическая страна ученаго богословія и преній о вѣрѣ,—стала со времени реформы страною диссентеровъ всякаго рода. Религіозная и молитвенная потребность въ массѣ народной, не находя себѣ мѣста и удовлетворенія въ установленной церкви, стала искать исхода въ вольныхъ самоуставныхъ церковныхъ собраніяхъ и въ разнообразныхъ сектахъ. Дѣленіе церковнаго обряда здѣсь непомѣрное между жителями самаго незначительнаго мѣстечка. Самая установленная церковь дѣлится на три партіи, и сторонники каждой изъ нихъ (такъ называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имѣютъ обыкновенно свою церковь и не ходятъ въ чужую. Въ небольшой деревнѣ, гдѣ не болѣе 500 человѣкъ постояннаго населенія, существуетъ нерѣдко три церкви англиканскія и, кромѣ того, три церкви методистовъ трехъ разныхъ толковъ, которые, различаясь въ очень тонкихъ и капризныхъ подробностяхъ, отрѣшаются отъ общенія между собою. Особливая церковь—для первоначальныхъ или Веслеевыхъ ме-

тодистовъ, потомъ для конгрегаціонистовъ, потомъ для такъ называемыхъ библейскихъ христіанъ: послѣдніе тѣ же методисты, но отдѣлились нѣсколько лѣтъ тому назадъ только изъ-за того, что полагаютъ, въ несогласіи съ прочими, невозможнымъ имѣть женатыхъ въ званіи церковныхъ *евангелистовъ*. Вотъ сколько церквей—и капитальныхъ, красивыхъ и обширныхъ церквей въ одной деревнѣ! Всѣ эти секты и собранія отличаются особенностями вѣроученій, иногда очень тонкими и капризными, или совсѣмъ дикими; но помимо догматическихъ разностей, во всѣхъ выражается одно и то же стремленіе къ вольной всенародной церкви, и многія изъ нихъ проникнуты ожесточенною ненавистью къ установленной церкви и къ ея служителямъ. Кромѣ отдѣльныхъ сектъ посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партія во имя вольнаго церковнаго общенія—free church movement. Частные люди и отдѣльныя общества употребляютъ свои средства для доставленія простому народу возможности участвовать въ богослуженіи: для этого приходится строить отдѣльныя церкви, или нанимать отдѣльныя помѣщенія, театры, сараи, залы и т. п. Все это движеніе произвело уже ощутительную реакцію въ обычаяхъ самой установленной церкви, побудивъ ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здѣсь приходится брать съ бою то, что у насъ отъ начала вольно какъ воздухъ, которымъ мы дышемъ?

Какъ часто случается у насъ въ Россіи слышать странныя рѣчи о нашей церкви отъ людей, бывавшихъ за-границей, читавшихъ иностранныя книги, любящихъ судить красно съ чужого голоса, или просто отъ людей наивныхъ, которые увлекаются идеальнымъ представленіемъ мимо дѣйствительности. Эти люди не находятъ мѣры похвалямъ англиканской или германской церкви и англиканскому духовен-

ству, не находятъ мѣры осужденія нашей церкви и нашему духовенству. Если вѣрить имъ — тамъ все живая дѣятельность, а у насъ мертвечина, грубость и сонъ. Тамъ дѣла, а у насъ голая обрядность и бездѣйствіе. Не мудрено, что многіе говорятъ такъ. Между людьми ведется, что по платью встрѣчаютъ человѣка. Говорятъ: по уму провожаютъ; но, чтобъ узнать умъ и почувствовать духъ, надо много присмотрѣться и поработать мыслью, а по платью судить не трудно. Составишь себѣ готовое впечатлѣніе и такъ потомъ при немъ и останешься. Притомъ есть много людей, для которыхъ первое дѣло, первый и окончательный рѣшитель впечатлѣнія — внѣшнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. Въ этомъ отношеніи, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы въ англійской церкви, есть о чемъ иногда печалиться въ нашей. Кому не случалось встрѣчать свѣтское, а иной разъ, къ сожалѣнію, и духовное лицо, изъ бывшихъ за-границею, съ жаромъ выхваляющее здѣшнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую *„за незрѣлость“*. Грустно бываетъ слушать такія рѣчи, какъ грустно видѣть сына, когда онъ проживъ въ фэшёнебельномъ кругу, посреди всѣхъ тонкостей столичной жизни, возвращается въ деревню, гдѣ провелъ когда-то дѣтство свое, и смотритъ съ презрѣніемъ на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй грубые, обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натурѣ своей, увлекаться прежде всего красивою формой, организаціей, внѣшнею конструкціей всякаго дѣла. Отсюда — наша страсть къ подражаніямъ, къ перенесенію на свою почву тѣхъ учрежденій и формъ, которыя поражаютъ насъ за-границей внѣшнею стройностью. Но мы забываемъ при этомъ, или вспоминаемъ слишкомъ поздно, что всякая форма, исторически-образовав-

шаяся, выросла въ исторіи изъ историческихъ условій и есть логическій выводъ изъ прошедшаго, вызванный *необходимостью*. Исторіи своей никому нельзя ни перемѣнить, ни обойти; и сама исторія, со всѣми ея явленіями, дѣятелями, сложившимися формами общественнаго быта, есть произведеніе *духа* народнаго, подобно тому, какъ исторія отдѣльнаго человѣка есть въ сущности произведеніе живущаго въ немъ духа. То же самое сказать должно о формахъ церковнаго устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видѣли, то иной разъ не задумались бы отвергнуть готовую форму при всей ея стройности, и съ радостью остались бы при своей старой и грубой формѣ, или безформенности,—пока своя у насъ духовная жизнь не выведетъ свою для насъ форму. Духъ, вотъ что существенно во всякомъ учрежденіи, вотъ что слѣдуетъ охранять дороже всего отъ кривизны и смѣшенія.

Наша церковь искони имѣла и донынѣ сохраняетъ значеніе всенародной церкви и духъ любви и безразличнаго общенія. Вѣрою народъ нашъ держится донынѣ посреди всѣхъ невзгодъ и бѣдствій, и если что можетъ поддержать его, укрѣпить и обновить въ дальнѣйшей исторіи, такъ это вѣра, и одна только вѣра церковная. Намъ говорятъ, что народъ нашъ невѣжда въ вѣрѣ своей, исполненъ суевѣрій, страдаетъ отъ дурныхъ и порочныхъ привычекъ; что наше духовенство грубо, невѣжественно, бездѣйственно, приниженно и мало имѣетъ вліянія на народъ. Все это во многомъ справедливо, но все это—явленія *не существенныя*, а случайныя и временныя. Они зависятъ отъ многихъ условій,—и прежде всего отъ условій экономическихъ и политическихъ, съ измѣненіемъ коихъ и явленія эти рано или

поздно измѣнятся. Что же существенно? Что же принадлежитъ духу? Любовь народа къ церкви, свободное сознаніе полнаго общенія въ церкви, понятіе о церкви какъ общемъ достояніи и общемъ собраніи, полнѣйшее устраненіе сословнаго различія въ церкви и общеніе народа съ служителями церкви, которые изъ народа вышли и отъ него не отдѣляются ни въ житейскомъ быту, ни въ добродѣтеляхъ, *ни въ самыхъ недостаткахъ*, съ народомъ и стоятъ и падаютъ. Это такое поле, на которомъ можно возрастить много добрыхъ плодовъ, если работать въ глубь, заботясь не столько объ *улучшеніи быта*, сколько объ *улучшеніи духа*, не столько о томъ, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о томъ, чтобы *потребность въ церкви не оставалась безъ удовлетворенія*. Намъ ли зариться съ завистью, издалека и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ея пастырей? Избави насъ Боже дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся въ положеніи чиновниковъ, поставленныхъ надъ народомъ, и станутъ *князьями*, посреди людей своихъ, въ обстановкѣ свѣтскаго человѣка, въ усложненіи потребностей и желаній посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь въ жизнь, приходишь къ тому заключенію, что для каждаго человѣка, въ ходѣ его духовнаго развитія, всего дороже, всего необходимѣе—сохранить въ себѣ неприкосновеннымъ простое, природное чувство человѣческаго отношенія къ людямъ, правду и свободу духовнаго представленія и движенія. Это—неприкосновенный капиталъ духовной природы, которымъ душа охраняется и обезпечивается отъ дѣйствія всякихъ *чиновныхъ* формъ и искуственныхъ теорій, растлѣвающихъ незамѣтно простое нравственное чувство. Какъ ни драгоцѣнны, во многихъ отношеніяхъ, эти формы и теоріи, онѣ могутъ, привившись къ душѣ, совсѣмъ извратить и погубить въ ней простыя и здравыя

представленія и ощущенія, спутать понятіе о правдѣ и неправдѣ, подточить самый корень, на которомъ выростаетъ здоровый человѣкъ въ духовномъ отношеніи къ міру и къ людямъ. Вотъ, что существенно, и вотъ, что мы такъ часто убиваемъ въ себѣ изъ-за формъ, совсѣмъ не существенныхъ, которыми обольщаемся. Сколько изъ-за этого пропадаетъ у насъ и людей и учрежденій, фальшиво извращенныхъ фальшивымъ развитіемъ,—а между тѣмъ въ церковномъ учрежденіи всего для насъ дороже этотъ корень. Боже избави, чтобъ и онъ когда-нибудь не былъ у насъ подточенъ криво поставленною церковною реформой.

III.

Протестанты ставятъ намъ въ упрекъ формальность и обрядность нашего богослуженія; но когда посмотришь на ихъ обрядъ, то невольно отдашь и въ этомъ отношеніи предпочтеніе нашему обряду; чувствуешь, какъ нашъ обрядъ простъ и величественъ въ своемъ глубокомъ, таинственномъ значеніи. Священнослужитель поставленъ въ нашемъ обрядѣ такъ просто, что отъ него требуется только благоговѣйное вниманіе къ произносимымъ словамъ и совершаемымъ дѣйствіямъ; въ устахъ его и чрезъ него священныя слова и обряды сами за себя говорятъ—и какъ глубоко и таинственно говорятъ душѣ каждаго и соединяютъ все собраніе въ одну мысль и въ одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человѣкъ можетъ, не подстраивая себя, не употребляя искуственныхъ усилій, совершать молитвенное дѣйствіе и вступить въ молитвенное общеніе со всей церковью. Протестантскій молитвенный обрядъ, при всей наружной простотѣ своей, требуетъ отъ священнослужителя

молитвеннаго дѣйствія въ извѣстномъ топѣ. Оттого въ этомъ обрядѣ только глубоко духовные или очень талантливые люди могутъ быть просты; остальные же,—т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибѣгать къ аффектаціи, которая именно въ протестантскихъ храмахъ чаще всего встрѣчается и производитъ на непривычнаго человѣка тягостное впечатлѣніе. Когда видишь проповѣдника, какъ онъ, стоя посреди храма, лицомъ къ размѣщенному чинно на скамьяхъ собранію, произноситъ молитвы, воздѣвая глаза къ небу, сложивъ руки въ извѣстный всѣми употребляемый видъ, и придаетъ своей рѣчи неестественную интонацію,—становится неловко за него; думается, какъ должно быть ему неловко! Еще ощутительнѣе становится неловкость, когда, окончивъ обрядъ, онъ всходитъ на каѳедру и начинаетъ свою длинную проповѣдь, оборачиваясь отъ времени до времени назадъ, чтобы выпить изъ стакана воды и собраться съ духомъ. И въ этой проповѣди рѣдко случается слышать дѣйствительно живое слово,—когда проповѣдникъ дѣйствительно духовный человѣкъ или талантъ. Говорятъ большею частью *работники* церковнаго дѣла, чрезвычайно натянутымъ голосомъ, съ крайнею аффектаціей, съ сильными жестами, поворачиваясь изъ стороны въ сторону, повторяя на разные лады общія, всѣми употребляемыя фразы. Даже, когда читаютъ по книгѣ, что нерѣдко случается, они прибѣгаютъ къ извѣстнымъ тѣлодвиженіямъ, интонаціямъ и разстановкамъ. Нерѣдко случается, что проповѣдникъ, произнося нѣкоторыя слова и фразы, кричитъ и ударяетъ кулакомъ по каѳедрѣ, чтобы придать выразительность своей рѣчи... Здѣсь чувствуешь, какъ вѣрно примѣнилась наша церковь къ природѣ человѣческой, не помѣстивъ проповѣди въ составъ богослужебнаго обряда. Весь нашъ обрядъ, самъ по себѣ, составляетъ лучшую проповѣдь, тѣмъ болѣе дѣй-

ствительную, что всякій принимаетъ ее не какъ человѣческое, а какъ Божіе слово. И церковный идеалъ нашей проповѣди, какъ живого слова, есть *ученіе* вѣры и любви, отъ божественныхъ писаній, а не возбужденіе чувства, какъ необходимое дѣйствіе каждаго священнослужителя на собравшихся въ церковь для молитвы.

IV.

Говорятъ, что обрядъ—неважное и второстепенное дѣло. Но есть обряды и обычаи, отъ которыхъ отказаться—значило бы отречься отъ самого себя, потому что въ нихъ отражается жизнь духовная человѣка или всего народа, въ нихъ сказывается цѣлая душа. Въ разности обряда выражается всего явственнѣе коренная и глубокая разность духовнаго представленія, таящаяся въ безсознательныхъ сферахъ духовной жизни,—та самая разность, которая препятствуетъ слiянію или полнотѣ взаимнаго сочувствія между разноплеменными народами и составляетъ основную причину разности церквей и вѣроисповѣданій. Отрицать, съ отвлеченной, космополитической точки зрѣнія, дѣйствіе этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее къ предразсудку,—значило бы тоже, что отрицать силу сродства (wahlverwandschaft), дѣйствующую въ личныхъ между людьми отношеніяхъ.

Какъ знаменательна, напримѣръ, у разныхъ народовъ разница въ погребальномъ обрядѣ и въ обращеніи съ тѣломъ покойника! Южный человѣкъ, итальянецъ, бѣжитъ отъ своего мертвеца, спѣшитъ какъ можно скорѣе очистить отъ него домъ свой и предоставляетъ постороннимъ заботу о его погребеніи. Напротивъ того, у насъ, въ Россіи, харак-

терная народная черта—религіозное отношеніе къ мертвому тѣлу, исполненное любви, нѣжности и благоговѣнія. Изъ глубины вѣковъ отзывается до нашего времени, исполненный поэтическихъ образовъ и движеній, плачъ надъ покойникомъ, превращаясь, съ принятіемъ новыхъ религіозныхъ обрядовъ, въ торжественную церковную молитву. Нигдѣ въ мірѣ, кромѣ нашей страны, погребальный обычай и обрядъ не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой онъ достигаетъ у насъ; и нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ его складѣ отразился нашъ народный характеръ, съ особеннымъ, присущимъ нашей натурѣ, міровоззрѣніемъ. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одѣваемъ ихъ благолѣпнымъ покровомъ, мы окружаемъ ихъ торжественною тишиною молитвеннаго созерцанія, мы поемъ надъ ними пѣснь, въ которой ужасъ пораженной природы сливается во-едино съ любовью, надеждою и благоговѣйною вѣрой. Мы не бѣжимъ отъ своего покойника, мы украшаемъ его въ гробѣ, и насъ тянетъ къ этому гробу—вглядѣться въ черты духа, оставившаго свое жилище; мы покланяемся тѣлу и не отказываемся давать ему послѣднее цѣлованіе, и стоимъ надъ нимъ три дня и три ночи съ чтеніемъ, съ пѣніемъ, съ церковною молитвой. Погребальныя молитвы наши исполнены красоты и величія; онѣ продолжительны и не спѣшатъ отдать землѣ тѣло, тронутое тлѣніемъ,—и когда слышишь ихъ, кажется, не только произносится надъ гробомъ послѣднее благословеніе, но совершается вокругъ него великое церковное торжество въ самую торжественную минуту бытія человѣческаго! Какъ понятна и какъ любезна эта торжественность для русской души! Но иностранецъ рѣдко понимаетъ ее, потому что она—совсѣмъ ему чужая. У насъ чувство любви, пораженное смертью, расширяется въ погребальномъ обрядѣ; у не-

го—оно болѣзненно сжимается отъ того же обряда и поражается однимъ ужасомъ.

Нѣмецъ-лютеранинъ, жившій въ Берлинѣ, потерялъ въ Россіи горячо любимую сестру православную. Когда онъ пріѣхалъ къ намъ, наканунѣ погребенія, и увидѣлъ любимую сестру, лежащую въ гробѣ, ужасъ поразилъ его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговѣнія уступило въ немъ мѣсто отвращенію, съ которымъ онъ присутствовалъ при прощаніи съ мертвымъ тѣломъ и долженъ былъ самъ принять въ немъ участіе... Въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, нѣмецъ не можетъ понять насъ, покуда не поживетъ съ нами и не войдетъ въ глубину духовной нашей жизни. Отъ этой же, кажется, причины ничто столько не возмущаетъ лютеранина въ нашей церкви, какъ поклоненіе св. мощамъ, которое для насъ самихъ, по природѣ нашей, кажется такъ просто и естественно,—когда мы и своимъ покойникамъ кланяемся, и ихъ тѣло обнимаемъ и чествуемъ въ погребеніи. Онъ, не живя нашею жизнью, не видитъ въ этомъ чествованіи ничего, кромѣ дикаго суевѣрія, а для насъ—это движеніе и дѣло любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять насъ, такъ же какъ намъ дико и противно слышать о возникшей недавно въ германскомъ и въ англійскомъ обществѣ агитаціи, требующей введенія новаго погребальнаго обряда. Они хотятъ, чтобы мертвые не предавались землѣ, а сожигались въ особо-устроенныхъ печахъ,—и требуютъ этого съ утилитарной и гигіенической точки зрѣнія. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счетъ частныхъ лицъ усовершенствованныя печи, производятся химическіе опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожиганіе... Голоса растутъ, крики уси-

ливаются, во имя науки, во имя просвѣщенія, во имя блага общественнаго. Изъ какого дальняго міра, изъ какого быта доносятся до насъ эти звуки — и какой этотъ міръ чужой для насъ, какой непріютный и холодный! Нѣтъ, не дай Богъ умереть въ томъ краю, на чужбинѣ, вдали отъ матери сырой земли русской!

V.

Кто русскій человѣкъ — душой и обычаемъ, тотъ понимаетъ, что значитъ храмъ Божій, что значитъ церковь для русскаго человѣка. Мало самому быть благочестивымъ, чувствовать и уважать потребность религіознаго чувства; — мало для того, чтобы уразумѣть смыслъ церкви для русскаго народа и полюбить эту церковь какъ свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно съ народомъ, въ одномъ церковномъ собраніи, чувствовать одно съ народомъ біеніе сердца, проникнутаго единымъ торжествомъ, единымъ словомъ и пѣніемъ. Оттого многіе, знающіе церковь только по домашнимъ храмамъ, гдѣ собирается избранная и наряженная публика, не имѣютъ истиннаго пониманія своей церкви и настоящаго вкуса церковнаго, и смотрятъ иногда равнодушно или превратно въ церковномъ обычаѣ и служеніи на то, что для народа особенно дорого и что въ его понятіи составляетъ красоту церковную.

Православная церковь красна народомъ. Какъ войдешь въ нее, такъ почувствуешь, что въ ней все едино, все народомъ осмыслено и народомъ держится. Войдите въ католическій храмъ, какъ въ немъ все кажется пусто, холодно, искуственно православному собранію. Священникъ служитъ и читаетъ самъ по себѣ, какъ бы поверхъ народа и отлученный отъ народа. Онъ самъ по себѣ молится по своей

книжкѣ; народъ молится по своимъ, приходитъ и уходитъ, совершивъ свои моленія и дождавшись того или другого церковнаго дѣйствія. На алтарѣ совершается священнодѣйствіе; народъ присутствуетъ лишь при немъ, но какъ будто не содѣйствуетъ ему общею молитвой. Обрядъ не говоритъ нашему чувству, и мы чувствуемъ, что красота, какая можетъ быть въ немъ, не наша красота, а чужая. Всѣ движенія обряда, механически расположенныя, кажутся намъ странными, холодными, невыразительными; очертанія, образы одежды — неблагообразными; звуки церковнаго речитатива — нестройными и бездушными; пѣніе на чужомъ языкѣ, въ которомъ не распознаешь словъ — не гимномъ народнаго собранія, не воплемъ, льющимся изъ души,— но концертомъ, искуственно устроеннымъ, который покрываетъ собою богослуженіе, но не сливается съ нимъ. Душа наша тоскуетъ здѣсь по своей церкви, какъ тоскуетъ между чужими по родинѣ. То-ли дѣло у насъ: вотъ красота неописанная, красота, понятная русскому человѣку, красота, за которую онъ душу готовъ положить, такъ онъ ее любитъ. Русское церковное пѣніе — какъ народная пѣснь, льется широкою, вольною струею изъ народной груди, и чѣмъ оно вольнѣе. тѣмъ полнѣе говоритъ сердцу. Напѣвы у насъ одинаковые съ греками, но русскій народъ иначе поетъ ихъ, потому что положилъ въ нихъ свою русскую душу. Кто хочетъ послушать, какъ эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, гдѣ орудуютъ голосами знаменитые хоры и капеллы, гдѣ исполняется музыка новыхъ композиторовъ и справляется обиходъ по новымъ оффиціальнымъ переложеніямъ. Ему надо слушать пѣніе въ благоустроенномъ монастырѣ. или въ одной изъ тѣхъ приходскихъ церквей, гдѣ сложилось добрымъ порядкомъ хоровое пѣніе; тамъ услышитъ онъ, какимъ широкимъ, вольнымъ потокомъ выливается праздничный прмосъ

изъ русской груди, какою торжественною поэмой выпѣвается догматикъ, слагается стихира съ канонархомъ, какимъ одушевленіемъ радости проникнутъ канонъ Пасхи или Рождества Христова. Тутъ оглянемся и увидимъ, какъ отзывается каждое слово пѣсни въ народномъ собраніи, какъ блеститъ оно въ поднятыхъ взорахъ, носится надъ склоненными головами, отражается въ припѣвахъ, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человѣку знакомы съ дѣтства и слова, и напѣвы, и во всякомъ душа поетъ, когда онъ ихъ слышитъ. Богослуженіе стройное, *истовое* — дѣйствительно праздникъ русскому человѣку, и внѣ церкви душа хранитъ глубокое ощущеніе, которое отражается въ ней, даже при воспоминаніи о томъ или другомъ моментѣ, — русская душа, привыкшая къ церкви и во всякую минуту готовая воспринять, когда внутри ея послышится пѣснь пасхальнаго или рождественскаго канона, съ мыслью о свѣтлой заутренѣ, или любимый напѣвъ праздничнаго ирмоса, или „Всемірная слава“ съ ея потрясающимъ „Дерзайте“... Подлинно, это тѣ звуки, о которыхъ сказалъ поэтъ, что имъ

...безъ волненья
Внимать невозможно...
Не встрѣтитъ отвѣта
Средь шума мірского
Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово,
Но въ храмѣ, средь боя,
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ его, я
Узнаю повсюду...

А у того, кто съ дѣтства привыкъ къ этимъ словамъ и звукамъ, сколько отъ нихъ поднимается всякій разъ воспоминаній и образовъ изъ той великой поэмы прошлаго, которую каждый прожилъ и каждый носитъ въ себѣ.... Сча-

стливъ, кто привыкъ съ дѣтства къ этимъ словамъ, звукамъ и образамъ, кто въ нихъ нашелъ красоту и стремится къ ней, и жить безъ нея не можетъ, кому все въ нихъ понятно, все родное, все возвышаетъ душу изъ пыли и грязи житейской, кто въ нихъ находитъ и собираетъ растерянную по угламъ жизнь свою, разбросанное по дорогамъ свое счастье. Счастливъ, кого съ дѣтства добрые и благочестивые родители пріучили къ храму Божію и ставили въ немъ посреди народа молиться всенародною молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на цѣлую жизнь, они ввели его подлинно въ разумъ духа народнаго и въ любовь сердца народнаго, сдѣлавъ и для него церковь роднымъ домомъ и мѣстомъ полнаго, чистаго и истиннаго соединенія съ народомъ.

Что же сказать о множествѣ затерянныхъ въ глубинѣ лѣсовъ и въ широтѣ полей нашихъ храмовъ, гдѣ народъ тупо стоитъ въ церкви, ничего не понимая, подъ козлогласованіемъ дьячка или бормотаніемъ клирика?

Увы! не церковь повинна въ этой тупости и не бѣдный народъ повиненъ: — повиненъ лѣнивый и несмыслящій служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распредѣляющая служителей церкви; повинна, по мѣстамъ, скудость и безпомощность народная. Благо тому человѣку, въ комъ зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успѣетъ вывести заброшенную церковь въ свѣтъ благолѣпія и пѣнія. Подлинно, онъ осіяетъ свѣтомъ страну и сѣнь смертную, онъ воскреситъ умершихъ и поверженныхъ, спасетъ души отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ... Оттого-то русскій человѣкъ такъ охотно и такъ много жертвуетъ на церковное строеніе, на созиданіе и украшеніе храмовъ. Какъ криво судятъ тѣ, кто осуждаетъ его за это рвеніе, а такихъ голосовъ

слышится уже нынѣ не мало. Это щедрое рвеніе приписываютъ то къ грубости и невѣжеству, то къ ханжеству и лицемѣрію. Говорятъ: не лучше-ли было бы употребить эти деньги на „образованіе народное“, на школы, на благотворительныя учрежденія? И на то, и на другое жертвуется своимъ чередомъ, но то жертва совсѣмъ иная, и благочестивый русскій человѣкъ со здравымъ русскимъ смысломъ не одинъ разъ призадумается прежде, чѣмъ развяжетъ кошель свой на щедрую дачу для формально образовательныхъ и благотворительныхъ учрежденій.

То-ли дѣло Церковь Божія! Она сама за себя говоритъ: она — живое, всенародное учрежденіе. Въ ней одной и живому, и умершему отрадно. Въ ней одной всѣмъ легко, свободно, въ ней душа всяческая, отъ мала до-велика, веселится и радуется, и празднуетъ отъ тяжкой страды: въ ней и бѣлому и сѣрому человѣку, и богатому и бѣдному одно мѣсто. Разукрашена она паче царской палаты — домъ Божій, а всякій изъ малыхъ и бѣдныхъ стоитъ въ ней, какъ *въ своемъ* дому: каждый можетъ назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народомъ держится. Всѣмъ въ ней пріютъ и молитва съ утѣшеніемъ, и то ученіе, которое дороже всего русскому человѣку. Вотъ что безсознательно и сознательно сразу сказывается въ русской душѣ о церкви и заставляетъ русскаго человѣка жертвовать на церковь безъ оглядки и безъ разсужденія. Русскій человѣкъ чувствуетъ, что въ этомъ дѣлѣ не ошибается и даетъ вѣрно и свято на вѣрное и святое дѣло.

Характеры.

I.

Товарищъ мой, Никандръ, былъ для меня еще въ училищѣ предметомъ удивленія. Казалось, ничего не было загадочнаго въ его натурѣ, однакожъ я никакъ не могъ разгадать ее и съ нею освоиться. Казалось, подойти къ нему могъ всякій, легко и удобно, но всякій разъ, какъ мнѣ случалось близко подходить къ нему, я чувствовалъ, что между нимъ и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже съузить, что дальше идти уже некуда. Онъ былъ хорошъ со всѣми, и всѣ хороши съ нимъ; онъ принималъ участіе во всемъ, что насъ всѣхъ занимало и волновало, и, казалось, способенъ былъ все понять и говорить обо всемъ со всякимъ; но не видать было, чтобъ онъ чему нибудь отдавался, увлекался чѣмъ-нибудь. Когда бесѣда состояла изъ соблазнительныхъ анекдотовъ, и у него былъ въ запасѣ свой анекдотъ, то онъ звучалъ какимъ-то извнѣ принесеннымъ звукомъ; когда велись серьез-

ныя рѣчи, вставлялъ и онъ свое мѣрное слово; когда кружокъ либеральничалъ, и онъ не оставался въ долгу либеральною фразой; но она точно изъ книги была вынута. Когда мы всѣ попадались въ такъ называемую исторію, и вода выступала у всѣхъ выше головы, и онъ не отставалъ отъ насъ—упрекнуть его нельзя было, даже въ прямой трусости,—но странное дѣло! когда вода сбывала, онъ выходилъ сухъ изъ пея и отряхался въ минуту, тогда какъ мы всѣ выходили мокрые и помятые.

Нельзя сказать, чтобъ его не любили; но и сердечныхъ друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни въ комъ случайно сказанное имъ слово не будило души и не поднимало мысли; но всѣ считали его *способнымъ* человѣкомъ: и хотя онъ былъ постоянно въ успѣхѣ, успѣхи его почти ни въ комъ не возбуждали зависти. Онъ занимался прилежно, хотя не принадлежалъ къ числу такъ называемыхъ зубрилъ, и успѣшные отвѣты его давались ему, повидимому, безъ особенныхъ усилій. Не помнили, чтобъ онъ когда нибудь *срѣзался* въ своихъ отвѣтахъ: такъ все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звѣздою всего нашего класса, его выставляли впередъ въ показныхъ случаяхъ, о немъ говорили, какъ о человѣкѣ, который пойдетъ далеко. Начальство наше было въ восторгѣ отъ его отвѣтовъ, отъ его сочиненій, отъ того, какъ онъ держалъ себя, отъ его приличнаго и обчищеннаго во всемъ внѣшняго вида и поведенія. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочиненія его, и отвѣты: я удивлялся только круглотѣ и гладкости, съ которою все у него бывало обдѣлано и налажено; но все, что онъ говорилъ, оставляло во мнѣ какое-то впечатлѣніе неполноты, недостаточности: точно завтракъ прекрасно сервированный, изъ-за котораго гость встаетъ голоднымъ.

Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандръ пошелъ быстрыми шагами въ служебной карьерѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, пріѣхавъ въ столицу, я засталъ его на значительномъ мѣстѣ. И тутъ, по службѣ, имя Никандра звучало безпрестанно въ устахъ у начальства съ восторженною похвалою. Отовсюду слышалось: какой способный человѣкъ! Какое у него *перо!* И подлинно, по общему отзыву, Никандръ обладалъ мастерствомъ изложенія, которое особенно цѣнилъ его начальникъ. Но я опять становился втупикъ передъ изложеніемъ Никандра и всеобщими похвалами, когда случалось мнѣ читать бумаги, имъ писанныя. Бумаги эти производили на меня то же впечатлѣніе, какъ и отвѣты его на экзаменахъ,—впечатлѣніе прекрасно сервированнаго завтрака, на которомъ ѣсть нечего. Меня томилъ голодъ, а другіе оказывались сытыми и довольными. Въ бумагахъ Никандра, въ запискахъ и докладахъ его выказывалось для меня ясно только умѣнье его, дѣйствительно мастерское, притупить и обольстить вкусъ, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель, упуская изъ виду сущность и корень дѣла, сосредоточивалъ интересъ свой на оболочкѣ, на побочныхъ и формальныхъ его принадлежностяхъ, на тѣхъ путяхъ, по которымъ дѣло слѣдуетъ отъ истока своего до впаденія; такимъ образомъ искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливаго читателя до потребнаго результата, отмѣчая ту точку, къ которой требовалось на сей разъ прибукенровать дѣло. Казалось, все такъ ясно изложено было въ обточенныхъ фразахъ, но въ сущности ничто не было ясно, все прикрывалось туманомъ; а дѣло, по бумагѣ, въ концѣ концовъ обдѣлывалось—e sempre bene.

Проживъ еще нѣсколько лѣтъ въ своемъ углу, куда достигали отъ времени до времени новые хвалебные слухи

о способностяхъ Никандра, я снова пріѣхалъ въ столицу, и засталъ его на новомъ мѣстѣ, еще болѣе значительномъ. Тутъ пришлось мнѣ быть свидѣтелемъ его дѣятельности и дивиться снова его умѣнью, хотя оно не переставало казаться мнѣ страннымъ искуствомъ. Но самъ я, ставъ уже старше годами и опытомъ, началъ понимать, что много есть вещей въ дѣловомъ мірѣ, о которыхъ не смѣетъ и мечтать юношеская философія. Черты Никандровой физіономіи стали выясняться передо мною, и онъ сталъ для меня любопытнымъ предметомъ изученія уже не самъ по себѣ, а въ нераздѣльной связи съ той средою, въ которой совершалась его дѣятельность. Онъ говоритъ немного, но внимательно слушаетъ: внимательно, хотя, повидимому, равнодушно. Рѣдко можно подмѣтить въ чертахъ лица его выраженіе оживленнаго участія: видишь иногда чуть-чуть тонкую тѣнь безпокойства, когда разсужденія принимаютъ тревожный характеръ, когда обнаруживается рѣзкое различіе въ мнѣніяхъ. Это безпокойство переходитъ даже въ нѣкоторое волненіе, когда при разнорѣчіи затрогиваются и возбуждаются вопросы деликатнаго свойства, особливо когда споръ угрожаетъ повести къ одному изъ явленій, носящихъ названіе *скандала*. Всѣ инстинкты Никандра направлены къ изглаженію всякой неровности въ характерахъ, въ ощущеніяхъ, въ мнѣніяхъ, къ погашенію всякаго пререканія, къ водворенію согласія и спокойствія повсюду. Онъ уже тревожится, когда разсужденіе начинаетъ проникать въ глубь предмета, когда оно пытается свести отдѣльные вопросы къ общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласіе въ основной идеѣ—всего упорнѣе и раздражительнѣе, онъ пускаетъ въ ходъ всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, съ какою ловкостью старается онъ тогда свести противниковъ съ опаснаго поля и перевесть

ихъ на другое, ровное и гладкое поле бирюлекъ, мелочей, подробностей и частностей дѣла. На этомъ гладкомъ полѣ онъ господинъ: тутъ небольшаго уже труда стоитъ ему увѣрить спорщиковъ, что они въ сущности согласны между собою, что не стоитъ имъ возбуждать вопросы, не имѣющіе существеннаго значенія. На этомъ полѣ я не видалъ мастера, подобнаго Никандру, и подвиги его поразительны! Онъ умѣетъ поставить передъ собою противниковъ, которыхъ раздѣляетъ, повидимому, непроходимая бездна коренного противорѣчія въ основныхъ мнѣніяхъ о предметѣ: борьба происходитъ, повидимому, между элементами, и кажется непримиримою. И что же, глядишь, въ какія-нибудь десять минутъ Никандръ успѣлъ наполнить эту бездну легкимъ пухомъ, прикрыть ее тонкимъ хворостомъ.—и противники уже переходятъ по ней, подавая другъ другу руку! Никандръ не любитъ основныхъ идей: но не даромъ онъ опытенъ. Онъ знаетъ, что основныя идеи лежатъ большею частью въ умахъ неглубоко, и почти всегда есть возможность отвести отъ глубины неувѣренную мысль или смутное ощущеніе, стремящіяся въ глубину. Для этого есть у него пріемъ, который рѣдко измѣняетъ ему: противъ основныхъ идей онъ умѣетъ въ крайнемъ случаѣ выставить такъ называемые принципы, общія положенія, рѣшительные приговоры, на которые рѣдко кто посмѣетъ возразить. Есть волшебныя слова, которыми очаровывается у насъ всякое совѣщаніе—и Никандръ умѣетъ произносить ихъ въ нужную минуту. Такое словечко, въ родѣ классическаго Quos ego—мигомъ успокоиваетъ у насъ поднявшіяся волны. „Всѣми признано уже нынѣ“, „новѣйшая цивилизація дошла до такого-то вывода“, „статистическія цифры доказываютъ“, „во Франціи, въ Пруссіи и т. п. давно уже введено такое-то правило“, „такой-то европейскій ученый, на такой-то страницѣ, сказалъ то-то“,

„никто уже нынѣ не споритъ, напр., что цѣна опредѣляется пропорціей между спросомъ и предложеніемъ“, и множество тому подобныхъ изреченій — вотъ волшебныя орудія, творящія чудеса въ нашихъ разсужденіяхъ. Но самое волшебное изъ волшебныхъ словъ — это: „*наука* говоритъ, въ *наукѣ* признано“. Никандръ давно уже понялъ, что этого слова — наука — мы боимся какъ чорта и не смѣемъ обыкновенно возражать на него. Мы чувствуемъ, что это палка о двухъ концахъ, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда намъ ее предлагаютъ. Возражать на это слово — *наука* — да, вѣдь, это значитъ возбуждать вопросы: какая наука, гдѣ она, откуда, почему, — и множество другихъ, о которыхъ конца не будетъ спору, и въ которыхъ мы чувствуемъ, что безъ конца перепутаемся. И такъ обыкновенно мы останавливаемся на этомъ словѣ, успокоиваемся и принимаемъ готовый результатъ науки, который предлагаютъ намъ, не мудрствуя лукаво о томъ, кто и по какому случаю и въ какомъ смыслѣ предлагаетъ.

Вѣкъ живи, вѣкъ учись! Подлинно, я начинаю теперь только понимать, отчего въ школѣ учители наши такъ восхищались Никандромъ, отчего и въ нынѣшней его дѣятельности всѣ имъ довольны, всѣ прославляютъ его геніемъ дѣла. Говорятъ, что геній — тотъ, кто отвѣчаетъ на вопросы времени, кто умѣетъ постигнуть потребности эпохи, мѣста, и удовлетворяетъ ей. Никандръ умѣлъ понять вопросы времени, потребности среды, и удовлетворять имъ. Что нужды, что вопросы эти мелкіе, что потребности эти немудреныя! Все-таки онъ великій человѣкъ — и, увы, отчасти представитель великихъ учителей нашего времени. Около него образовалась уже цѣлая школа подобныхъ ему дѣятелей. Какъ они всѣ благонамѣренны, какъ они гладки, какъ [illegible] и [illegible] отступаютъ отъ репутаціи „способныхъ“ людей! Когда

я вижу ихъ, мнѣ невольно приходитъ на мысль отрывочная сцена изъ Фауста. „Духи исчезаютъ безъ всякаго запаха. *Мартышокъ* съ удивленіемъ спрашиваетъ *бискупа:* слышите вы, чѣмъ-нибудь пахнетъ?— Ничего не слышу, отвѣчаетъ бискупъ. А *Мефистофель* поясняетъ: ‚Духи этого рода, государи мои, не имѣютъ никакого запаха (Diese art Geister stinken nicht, meine Herren)“.

II.

Спокойно и безъ смущенія смотрю я на Лансу, когда она, раскинувшись въ пышной коляскѣ, мчится по большой улицѣ, отвѣчая улыбками на поклоны гуляющей знати: или сидитъ, полуодѣтая, полуразодѣтая, въ оперѣ, и дамы большого свѣта бросаютъ на нее взгляды зависти, смѣшанной съ презрѣніемъ,— хотя презрѣніе не мѣшаетъ имъ, потихоньку, заимствовать отъ нея отдѣльныя черты манеръ ея и туалетовъ. На лицѣ у нея открыто написано, кто она, чего ищетъ, для чего живетъ, одѣвается и веселится на свѣтѣ, и она носитъ на себѣ имя свое безъ лицемѣрія, хотя и безъ стыда. Когда она, озираясь вокругъ себя на нарядныя ложи, нахально лорнируетъ разряженныхъ дамъ моднаго свѣта,—ея нахальство не удивляетъ меня — и не возмущаетъ: взоръ ея какъ будто говоритъ имъ: „я — подлинно та, за кого меня принимаютъ, и мое лицо открыто; а вы — зачѣмъ въ маскахъ ходите?“ Задумываюсь надъ участью Лансы, и мнѣ становится жаль ее: приходитъ на мысль,— какими судьбами жизнь привела ее на этотъ путь, какая среда ее воспитала и привила къ ней жажду дикаго наслажденія? Приходитъ на мысль: чѣмъ этотъ путь для нея закончится, и къ какой плачевной старости приведетъ ее молодость прогарающая, въ опьяненіи страсти...

Лаиса живетъ въ своемъ кругу, и ей закрыты двери салоновъ большого свѣта. Но когда въ этихъ салонахъ я встрѣчаю гордую и величественную Мессалину,—душа моя возмущается, и я не могу смотрѣть на нее безъ негодованія. Передъ нею широко раскрыты всѣ большія двери; нѣтъ знатнаго собранія, куда бы не приглашали ее и гдѣ бы не встрѣчали ее съ почетомъ; около нея кружится рой знатной молодежи; громкій титулъ, блестящая обстановка, роскошное гостепріимство—привлекаютъ въ ея салонъ всѣхъ, кто считаетъ себя принадлежащимъ къ избранному обществу. Всѣ разсыпаются въ похвалахъ ея красотѣ, ея вкусу, ея любезности, ея веселому нраву; словомъ сказать: „увѣнчанная цвѣтами грацій, она бодро шествуетъ по землѣ благословенной“. Но когда, взявъ зеркало правды, я спрашиваю себя, какая разница между знатной Мессалиной и презрѣнной Лаисой,—увы! Лаису мнѣ жаль. а къ Мессалинѣ я чувствую презрѣніе.

Когда она является на балъ, я смотрю на нее съ ужасомъ, хотя многіе на нее любуются. Искуство обнажать не только шею и грудь, но и спину, и руки, доходитъ у нея до такихъ предѣловъ,—до какихъ не простирается обычай у самой Лаисы, такъ что многіе изъ постоянныхъ ея посѣтителей съ усмѣшкой смотрятъ на туалетъ Мессалины. Иные увѣряютъ даже, что гость Лаисы не услышитъ отъ нея такихъ разпузданныхъ рѣчей, такихъ циническихъ шутокъ, какія слышитъ отъ Мессалины кавалеръ ея въ мазуркѣ, или сосѣдъ ея—въ рулеткѣ. Но на Лаисѣ лежитъ печать отверженія, а Мессалина—царитъ въ салонахъ.

У Лаисы нѣтъ семьи, нѣтъ дома въ настоящемъ смыслѣ слова,—и она состоитъ *внѣ* семейнаго круга. У Мессалины, правда, есть мужъ, коего громкое имя она носитъ, и есть домъ, великолѣпный, съ цѣлою когортою

ливрейныхъ лакеевъ на мраморной лѣстницѣ. Но какая связь соединяетъ ее съ этимъ мужемъ, и для чего живутъ они подъ одною кровлей—это тайна извѣстная одной Мессалинѣ. Въ ея салонѣ мужъ присутствуетъ; мужъ сопровождаетъ ее въ другіе салоны, и все покрываетъ собою. Но когда встрѣчаютъ Мессалину—зимою на бѣшеной тройкѣ, или весной на шумномъ гульбищѣ въ шикарномъ экипажѣ, запряженномъ рысаками,—нѣкто другой, а не мужъ раздѣляетъ съ нею часы забавы и веселости; и даже въ присутствіи мужа нѣкто другой кажется ближе къ ней и вольнѣе съ нею обходится... И вотъ что удивительно: встрѣчая Лаису съ однимъ изъ рыцарей избраннаго круга, многія стыдливо смотрятъ въ сторону, но когда встрѣчаютъ онѣ Мессалину съ ея излюбленнымъ спутникомъ изъ той-же компаніи, привѣтливо раскланиваются и потомъ шепчутся между собою съ улыбкой. О, добродѣтель и честь свѣтскаго общества, кто распознаетъ пути твои!

Мессалина мать—у нея есть дѣти, но какая нравственная связь существуетъ у этой матери съ дѣтьми,—не распознаешь. Она почти не видитъ ихъ и почти не знаетъ, что съ ними дѣлается. Въ особомъ отдѣленіи дома живутъ они съ гувернантками и въ опредѣленный часъ являются, въ видѣ бабочекъ, въ костюмахъ послѣдней моды, съ голыми руками и ногами, принять отъ матери поцѣлуй и удалиться восвояси. Ей нѣтъ времени думать и о дѣтяхъ, посреди первнаго возбужденія, въ которомъ проходятъ дни ея и ночи. Засыпая рано по утру, просыпаясь поздпимъ утромъ, едва соберетъ она распатанныя чувства свои, какъ уже принимаетъ гостя, потомъ ѣдетъ гулять съ нимъ, потомъ принимаетъ гостей въ своемъ салонѣ, перебирая съ ними вѣсти и сплетни и скандалы вчерашняго дня и нынѣшняго утра, и составляя инвентарь настоящихъ и предстоящихъ

развлеченій и праздниковъ. Одѣвается утромъ, одѣвается къ обѣду, одѣвается въ оперу, одѣвается на балъ, или на вечеръ. Въ чемъ интересъ ея жизни? гдѣ умственныя или нравственныя пружины, которыя приводятъ ее въ движеніе? Къ какому центру собираются мысли ея и желанія? На эти вопросы не находишь отвѣта, когда видишь переливаніе изъ пустого въ порожнее, составляющее всю жизнь ея. На столѣ у нея лежатъ книги,—но едва ли ее видали читающею. Уединеніе нестерпимо для нея;—быть на людяхъ—непремѣнная ея потребность: для чего? Для какой-то безсмысленной игры въ безпрерывное *развлеченіе*. Жизнь должна представляться ей чѣмъ-то въ родѣ непрерывнаго праздника, во вкусѣ картинъ Ватто, съ электрическимъ освѣщеніемъ. Натуральный человѣкъ, сколько бы ни стремился наслаждаться по своему желанію, спотыкается поневолѣ о заботу, о болѣзнь, о горе и утрату—и передъ нимъ встаетъ призракомъ таинственная идея жизни и смерти. Мессалина неуязвима и тутъ. Что̀ для нея забота о домѣ, о семьѣ, о дѣтяхъ? Это дѣло управляющаго, въ крайнемъ случаѣ дѣло мужа. Болѣзнь? Но она крѣпка здоровьемъ и привыкла настраивать свои нервы—на то есть докторъ, на то есть крѣпкія капли хлорала. Горе? Есть-ли такое горе, которое нельзя бы прогнать—можно уѣхать въ Баденъ, въ Монако, гдѣ столько сильныхъ ощущеній, наконецъ въ Парижъ, гдѣ съ помощію Ворта нетрудно стряхнуть съ плечъ всякое горе. Иногда *стыдъ* появляется тамъ, гдѣ его не спрашиваютъ,—но какъ онъ посмѣетъ перейти порогъ великолѣпныхъ чертоговъ, куда съѣзжаются все такіе почетные, все такіе знатные люди ѣсть и пить, и праздновать, и любоваться хозяйкой, гдѣ разряженныя дамы разсказываютъ другъ другу про любовныя игры свои и похожденія, гдѣ слышится во всѣхъ углахъ щебетанье взаимнаго самодовольства и без-

заботной веселости, гдѣ всѣ извиняютъ другъ другу все—кромѣ строгаго отношенія къ нравственнымъ началамъ жизни... Страшна, казалось бы, *старость* для свѣтской женщины? Но развѣ парижская наука не изобрѣла надежныхъ средствъ противъ натуральнаго увяданія красоты, и развѣ мало старухъ, которыя являются молодыми съ помощью фальшиваго румянца, фальшивой кожи, фальшивыхъ волосъ и даже бюста фальшиваго? Наконецъ—*смерть*, вѣдь, стоитъ за плечами у каждаго... смерть—смерть—но—franchement, après tout,—кто же думаетъ о смерти!

Казалось бы—есть одно мѣсто, откуда слышится гроза и вѣетъ страхомъ. Все ложь—въ жизни и обстановкѣ Мессалины. Роскошь, ее окружающая, домъ ея съ великолѣпнымъ убранствомъ, разставленные по лѣстницѣ величественные лакеи, тысячные наряды ея и уборы—все это ложь, все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это, и давно уже, въ сущности не ея, а чужое, мнимое, потому что счетъ уже потерянъ долгамъ ея и ея супруга, и счеты изъ магазиновъ, ей предъявленные, давно уже составляютъ безобразную кучу, въ которой никто не умѣетъ разобраться. Имѣнія ея заложены и назначаются то и дѣло въ публичную продажу, заводы то и дѣло останавливаютъ свое дѣйствіе, занмодавцы пристаютъ съ требованіями и предъявляютъ иски. Но какимъ-то волшебствомъ все это распутывается въ критическія минуты—имѣнія освобождаются отъ продажи, заводы возстановляютъ свое дѣйствіе, занмодавцы, подобно завоевателю, гонимому невѣдомымъ страхомъ, разсѣваются и притихаютъ,—и Мессалина объявляетъ въ своихъ чертогахъ балъ, на которомъ присутствуетъ избранное общество,—и нѣтъ конца восторженнымъ похваламъ блеску и вкусу, и великолѣпію бала... Ни для кого изъ блестящихъ

гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая,— но всѣ летятъ какъ ночныя бабочки на яркій свѣтъ, на роскошное убранство, не спрашивая, чье оно и откуда, всѣ довольны, всѣ восхищаются: таковы узы дружбы, связующей воедино толпу людей, вмѣстѣ жаждущихъ наслажденія и возбужденія, и вмѣстѣ клапяющихся идолу тщеславія. Однажды, казалось, совсѣмъ гибель настаетъ для Мессалины, и уже нѣтъ спасенія: какія жалостныя рѣчи поднялись тогда объ ней въ гостиныхъ! „Слышали вы: бѣдная Мессалина—дѣла ихъ очень плохи. Говорятъ, что у нихъ осталось уже не болѣе 20 тысячъ рублей дохода—вѣдь, это ужасно, вѣдь, это нищета—не правда-ли?“ Можно ли потерпѣть такое разореніе такого дома? Полетѣли изо всѣхъ угловъ ходатайства и мольбы, и вотъ, точно волшебнымъ велѣніемъ, благопріятный вѣтеръ принесъ не малыя деньги для поправленія дѣлъ въ разстроенномъ хозяйствѣ... И такъ, мудрено-ли, что Мессалина беззаботна и никакими страхами не смущается. Гордо выступаютъ они съ супругомъ, прямо глядя въ глаза всѣмъ и каждому: сколько разъ, когда случается встрѣчать ихъ, приходитъ на мысль стихъ изъ Расиновой Федры: „Боги, кои любите ихъ и награждаете,—неужели за добродѣтели?“

Мессалина, и подобные ей, живутъ на высотахъ, никогда не спускаясь въ долину. Смотришь къ нимъ наверхъ и съ изумленіемъ спрашиваешь себя: какъ эти люди, дыша всегда воздухомъ горнихъ высотъ, не задохнутся? Или, подобно олимпійцамъ, питаются они амброзіей? Они видятъ и слышатъ только подобныхъ себѣ, и всѣ дѣла, заботы, печали и радости людей дольняго міра представляются имъ въ туманной картинѣ, долетаютъ къ нимъ какъ дальнее жужжанье насѣкомыхъ. Посмѣетъ-ли бѣдность и горе проникнуть въ раззолоченные ихъ чертоги, не въ видѣ идеи и

понятіи, а въ видѣ живаго страждущаго человѣка, и стать въ личное къ нимъ сочувственное отношеніе? Боже избави сказать, что они злые люди: нѣтъ, многіе изъ нихъ добрые люди и исполнены самыхъ благихъ намѣреній; но имъ некогда остановиться и сосредоточиться, въ круговоротѣ дня, посвященнаго отъ минуты до минуты исканію наслажденій и развлеченій, условнымъ обязанностямъ и условнымъ приличіямъ того круга, въ коемъ они вращаются. Иные, когда просыпается въ нихъ совѣсть, клянутъ себя и свой образъ жизни, и говорятъ: „завтра начну по-человѣчески“. Но это завтра никогда не приходитъ, потому-что на завтра уже неумолимый уставъ очарованнаго круга начерталъ росписаніе часовъ, забавъ и условныхъ обязанностей...

Одно изъ самыхъ тонкихъ искуствъ — искуство обманывать себя и успокоивать свою совѣсть — и въ этомъ искуствѣ человѣчество упражняетъ себя, съ тѣхъ поръ какъ міръ существуетъ: мудрено ли, что пріемы его доведены до виртуозности. Люди, живущіе условною жизнью замкнутаго круга, не могутъ успокоиться на той мысли, что имъ нѣтъ дѣла до того, что происходитъ въ жизни обыкновенныхъ смертныхъ, нѣтъ дѣла до нищеты, нужды и бѣдности. Надо и имъ показать, что ничто человѣческое для нихъ не чуждо. И вотъ, изобрѣтено для того орудіе учрежденій общественной благотворительности — прекрасное средство для очистки личной совѣсти отдѣльнаго человѣка. *Учрежденіе* само по себѣ существуетъ и дѣйствуетъ, подобно всякому учрежденію, дѣйствуетъ по регламентамъ и уставу; а *человѣкъ*, человѣкъ со своей совѣстью, съ своимъ чувствомъ, съ личною энергіей воли, живетъ самъ по себѣ, вольно, и всякую печаль, которая портила бы жизнь его, стѣсняла бы свободу его, отнимала бы у него вольное время, — слагаетъ на *учрежденіе*...

При помощи такого геніальнаго обрѣтенія, въ томъ очарованномъ кругѣ, гдѣ блеститъ и господствуетъ Мессалина, *ядущее*, превращается въ *ядомое*, изъ *горькаго* происходитъ *сладкое*, и дѣло благотворенія, дѣло жалости и боли душевной, дѣло взаимнаго сочувствія между сынами праха во имя высшаго духовнаго начала любви,—превращается въ одинъ изъ видовъ общественнаго увеселенія и представляетъ изъ себя ярмарку тщеславія.

И вотъ, въ какомъ видѣ является Мессалина покровительницею бѣдныхъ, благодѣтельницею страждущаго человѣчества. Я видѣлъ ее въ эти минуты, какъ она стояла, въ свѣтѣ электрическаго освѣщенія, подъ звуки бальнаго оркестра, за одною изъ лавочекъ, артистически устроенныхъ въ великолѣпныхъ залахъ большого дома, на одномъ изъ такъ называемыхъ *Базаровъ благотворительности*. Она была ослѣпительно красива въ своемъ блестящемъ туалетѣ, только что полученномъ изъ Парижа и стоившемъ бѣшеныхъ денегъ. Около нея толпились покупатели, таявшіе отъ взгляда ея и улыбки, и выручка ея въ этотъ день возбуждала зависть во множествѣ сосѣднихъ лавочекъ. Она сошла въ этотъ день съ своего мѣста съ гордымъ сознаніемъ исполненнаго долга и новаго, извѣданнаго торжества,—хотя вся ея выручка, какъ и выручка подругъ ея, не достигала цѣны тѣхъ туалетовъ, которые она на себѣ носила... Невольно приходило на мысль: какая громадная сумма составилась бы изъ сложенія всѣхъ тѣхъ цифръ, которыя принесли въ залу на плечахъ своихъ эти благодѣтельныя особы!

Въ этомъ собраніи не было мѣста Ланѣ—и зачѣмъ ей быть здѣсь? Ланса презрѣнная женщина: „отчаянная житія ради и увѣдомая права ради". Но—была однажды такая же какъ она, носившая въ себѣ огонь *любви*, въ ко-

комъ блужданіи по распутіямъ міра. Много и долго грѣшила она, но всѣ ея грѣхи были отпущены ей потому, что любила она много, хотя не знала до послѣдней встрѣчи съ истиннымъ началомъ любви,—куда дѣвать любовь свою.—Но кого, кромѣ себя, любила и любитъ Мессалина, и какой огонь носитъ она въ себѣ?

III.

Есть люди сухіе и не очень умные, съ которыми можно говорить серьезно, на которыхъ можно положиться, потому что у нихъ есть твердое, опредѣленное мнѣніе, есть извѣстный характеръ, который непремѣнно въ нихъ является. Есть люди умные и занимательные, которыхъ нельзя разумѣть серьезно, потому что у нихъ нѣтъ твердаго мнѣнія, а есть только ощущенія, которыя постоянно мѣняются. Таковы бываютъ нерѣдко такъ называемыя художественныя натуры: вся жизнь ихъ—игра смѣняющихся ощущеній, выраженіе коихъ доходитъ до виртуозности. И выражая ихъ, они не обманываютъ ни себя, ни слушателя, а входятъ, подобно талантливымъ актерамъ, въ извѣстную роль и исполняютъ ее художественно. Но когда, въ дѣйствительной жизни, приходится имъ дѣйствовать лицомъ своимъ, невозможно предвидѣть, въ какую сторону направится ихъ дѣятельность, какъ выразится ихъ воля, какую окраску приметъ ихъ слово въ рѣшительную минуту...

Такое развитіе мысли и чувства—къ сожалѣнію—обычное явленіе у насъ, и особливо между людьми даровитыми по природѣ. Способности ихъ развиваются—въ художественную сторону: не видать у нихъ ясной и опредѣленной идеи, на которой стоитъ человѣкъ, и которая держитъ его въ жизни и дѣятельности,—но все перешло въ ощущеніе.

Они способны вдохновляться всякою средою, въ которую случайно попадаютъ, быть проповѣдниками и пѣвцами всякой идеи, какую въ этой средѣ зацѣпили и какая имѣетъ въ ней ходъ.—Впадая притомъ въ безпрерывныя противорѣчія—сегодняшняго со вчерашнимъ, они умѣютъ искусно соглашать эти противорѣчія и переходить отъ одного къ другому искусною игрою въ оттѣнки всякой мысли и въ переливы всякаго ощущенія. Въ политической или служебной сферѣ такіе люди—иногда безсознательно—дѣлаются карьеристами, привыкая идти по теченію вѣтра, который дуетъ въ ту или иную сторону, и одухотворять въ себѣ всякое попутное вѣяніе. Между государственными людьми, произносящими рѣчи въ собраніяхъ, между прокурорами и адвокатами нерѣдко встрѣчаются такіе примѣры: вдохновляясь впечатлѣніемъ минуты, тотъ же человѣкъ, который сегодня былъ строгимъ, неумолимымъ судьею неправды, завтра является ея защитникомъ, будетъ съ горячимъ убѣжденіемъ, съ порывомъ вдохновенія отстаивать совсѣмъ противоположную идею и отыскивать черты красоты въ томъ явленіи, которое вчера обличалъ въ нравственномъ безобразіи.

Свойство талантливаго актера вдохновляться каждою ролью и входить въ душу и характеръ каждаго лица, которое онъ представляетъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ потому онъ и предается этому искуству, потому и способенъ переживать моменты характернаго дѣйствія въ лицѣ представляемомъ, что передъ нимъ масса зрителей, коихъ душа сливается въ эти моменты съ его душою—стало быть, вдохновляясь своею ролью, онъ въ то же время вдохновляется массою публики. Вотъ почему такъ увлекательно дѣйствуетъ лицедѣйство, доходя до страсти и въ актерѣ, и въ зрителяхъ. То же ощущеніе свойственно всякому оратору въ общественныхъ собраніяхъ: дѣйствуя, то есть разглагольствуя въ той или

другой идеѣ, въ томъ или другомъ направленіи, и вдохновляясь своею задачей, онъ въ то же время вдохновляется тою средою, въ которой дѣйствуетъ, не отрѣшаясь ни на минуту отъ своего *я*, а свое *я* стремится у него къ возбужденію въ этой средѣ ощущеній,—сочувствія или восторга. И это стремленіе можетъ доводить до страсти талантливую натуру, такъ что она неудержимо ищетъ *сцены* для своего искусства, упражняя его на всякой сценѣ, въ многочисленномъ собраніи, въ бесѣдномъ кружкѣ гостиной или кабинета, примѣняясь къ настроенію каждаго кружка и вдохновляясь всякимъ цвѣтомъ, какимъ онъ окрашенъ.

Такими людьми изобилуютъ совѣщательныя и законодательныя собранія: можно сказать, что изъ нихъ образуется большинство, составляющее рѣшительные приговоры. Противовѣсомъ имъ, казалось, могли бы служить люди серьезнаго дѣла и твердаго направленія; но эти люди рѣдко бываютъ сильны словомъ, т. е. не умѣютъ владѣть орудіемъ, которымъ располагаютъ свободно ихъ противники, люди ощущенія и натиска. Чѣмъ многочисленнѣе собраніе, тѣмъ болѣе смѣшаннымъ представляется составъ его, тѣмъ менѣе оно способно уразумѣть идею вопроса, обнять фактическое его содержаніе и уразумѣть въ немъ правду и неправду,—и тѣмъ болѣе способно увлекаться ощущеніемъ,—иногда ощущеніемъ минуты,—которое произвелъ тотъ или другой ораторъ. Немногіе приступаютъ къ дѣлу, ознакомившись съ нимъ предварительнымъ его изученіемъ, добросовѣстно: остальные являются въ собраніе, не имѣя точнаго понятія о дѣлѣ или со смутнымъ о немъ представленіемъ, или приступаютъ къ нему съ предразсудкомъ и предрасположеніемъ. Въ такомъ собраніи художникъ слова является господиномъ ощущенія: искусно орудуя расположеніемъ фактовъ и чиселъ, набрасывая на нихъ свѣтъ и

тѣни по своему усмотрѣнію, возбуждая однихъ паосомъ, запугивая другихъ ироніей, онъ овладѣваетъ полемъ, и борьба съ нимъ за истину становится крайне затруднительна, а иногда и невозможна для человѣка, не умѣющаго орудовать фразой, но орудующаго строгою связью логическаго разсужденія. Его аргументы недоступны множеству людей, увлеченному ощущеніемъ, и чѣмъ онъ совѣстливѣе, чѣмъ живѣе ощущаетъ нравственную отвѣтственность за свое мнѣніе, тѣмъ труднѣе для него одолѣть безотвѣтственное большинство, не имѣющее совѣсти,—ибо какая можетъ быть совѣсть въ огульномъ мнѣніи, лишенномъ единства и цѣльности и объединяющемся одною лишь цифрою голосовъ? Цифра—вотъ что служитъ нынѣ, къ сожалѣнію—конечнымъ критеріемъ истины и рѣшительною санкціей приговоровъ, коими рѣшаются нерѣдко важнѣйшіе вопросы государственной политики...

IV.

Типъ Мольеровскаго Гарпагона имѣетъ много разновидностей, которыя мало еще подвергались художественной разработкѣ. Странно, что въ комедіи до сихъ поръ никто не обратилъ вниманія на особый видъ скряжничества—скряжничество *временемъ;* а это сюжетъ богатый.

Какъ Мольеровъ скупой копитъ деньги и дрожитъ надъ ними, такъ иного рода скряга копитъ время и дрожитъ надъ нимъ, не дѣлая изъ него самъ производительнаго употребленія, или—любуясь только своимъ капиталомъ, какъ скупой любуется червонцами. Деньги ожили бы, еслибъ ожила душа ими владѣющая, и стали бы въ рукахъ у человѣка могучимъ орудіемъ плодотворной производительности и разумнаго благотворенія: подобно всякой силѣ, деньги

требуютъ живого обращенія. О времени уже сказали англичане, что время — тѣ же деньги. Живая душа должна пускать его въ обращеніе, издерживать его производительно, не жалѣя, но и не расточая, не разматывая.

Нашъ общественный бытъ богатъ этими двумя крайностями. Съ одной стороны у насъ слишкомъ много праздныхъ силъ, и чрезвычайно развито мотовство временемъ у людей, не знающихъ, куда дѣвать его. Столкновеніе людей этого типа съ людьми работающими и дорожащими временемъ представляетъ положенія, не лишенныя комизма. Съ другой стороны, мы нерѣдко встрѣчаемъ у себя скопидомовъ времени— и, къ сожалѣнію, не рѣдкость встрѣчать ихъ между такъ-называемыми дѣловыми людьми, даже сущими во власти.

Боязнь потерять время доходитъ иногда у такого человѣка до нервнаго раздраженія, заставляющаго его запираться отъ людей и смотрѣть, какъ на вора и похитителя, на всякаго, кто является къ нему съ живымъ дѣломъ, для объясненія или просьбы. Оттого иныхъ людей и сущихъ во власти бываетъ такъ трудно видѣть даже за самымъ нужнымъ дѣломъ. Единственный способъ сообщенія съ ними— письмо или бумага: письменныя сообщенія дѣйствуютъ на нихъ успокоительно, хотя соединенное съ ними канцелярское производство требуетъ гораздо большей траты времени, нежели личное объясненіе. Можетъ быть, это одна изъ причинъ сильнаго развитія, которое получаетъ у насъ бумажное дѣло. Спросите такого человѣка, зачѣмъ онъ такъ ревниво запирается и копитъ свое время: онъ скажетъ, что всякая минута дорога ему. Но если приемотрѣться ближе, на что идутъ у него эти минуты и часы, приходится только подивиться, изъ-за чего онъ хлопочетъ, изъ-за чего отрѣзываетъ себя отъ жизни, отъ людей, отъ живой дѣйствительности, и сидитъ, подобно Гарпагону, надъ своимъ сокровищемъ.

V.

Ксенофонъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Сократѣ, разсказываетъ поучительную исторію одного молодого аѳинянина, который, не имѣя еще 20 лѣтъ отъ роду, задумалъ попасть въ государственные люди и сталъ усердно произносить публичныя рѣчи, въ надеждѣ привлечь къ себѣ народное расположеніе. Когда онъ пришелъ къ Сократу, Сократъ спросилъ его: „Слышу я, Главконъ, что тебѣ очень хочется имѣть власть въ государственномъ управленіи?“—„Да, признаюсь, хочется.“—„Какая прекрасная доля“,—сказалъ ему Сократъ,—„управлять государствомъ, сколько можно сдѣлать добра своему отечеству! въ какую честь поставить себя и весь домъ свой! какъ можешь прославиться въ Аѳинахъ,—да и не въ однихъ Аѳинахъ! Ѳемистоклъ былъ славенъ и между варварами... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласенъ со мною, что такая честь не дается даромъ: надо чѣмъ-нибудь заслужить ее?“—„О, конечно“,—спѣшилъ отозваться Главконъ.—„Скажи же мнѣ“,—продолжалъ Сократъ,—„съ чего-жъ бы ты началъ, напримѣръ?“ Молодой человѣкъ не давалъ отвѣта: онъ еще ни разу не думалъ, съ чего начать.—„Однако, посмотримъ; напримѣръ, говорятъ: казна нужнѣе всего для государства: ты, конечно, старался бы прибавить доходовъ казнѣ?“—„Разумѣется такъ“.—„Любопытно знать, съ чего бы ты началъ? Конечно, тебѣ ужъ очень извѣстно, съ какихъ статей казна получаетъ доходы, и сколько получаетъ, и откуда?“ Юноша долженъ былъ признаться, что не знаетъ этого въ точности.—Ну, въ такомъ случаѣ, скажи мнѣ, какіе расходы тебѣ кажутся лишними, какіе ты хотѣлъ бы сократить?“—„Признаюсь, что я не имѣлъ до сихъ поръ времени и объ этомъ хорошенько подумать. Но мнѣ казалось, Сократъ, что нечего много и

думать объ этомъ, когда можно устроить казну на счетъ непріятеля"...—„Правда твоя, но для этого необходимо побѣждать непріятеля, быть сильнѣе его; а ежели онъ сильнѣе, то еще и онъ, пожалуй, твое отниметъ. Стало быть, если разсчитываешь на войну, надо знать въ точности свою силу и непріятельскую. А ты знаешь-ли, скажи мнѣ, сколько у насъ сухопутныхъ силъ, сколько морскихъ силъ, и каковы силы у нашихъ непріятелей?"—„Такъ, изъ головы, въ одну минуту, не могу тебѣ разсчитать".—„Все равно",—продолжалъ Сократъ,—„если у тебя гдѣ-нибудь записано, посмотримъ вмѣстѣ". Но и на письмѣ у Главкона ничего не оказалось. „Ну, хорошо",—началъ опять Сократъ,—„я вижу, и эту статью намъ придется покуда оставить, видно еще время ей не пришло. Но ужъ, навѣрное, ты знаешь все, что относится до внутренней охраны государства: сколько гдѣ есть и сколько потребно постовъ для внутренней стражи, гдѣ чего недостаетъ и надо прибавить, гдѣ что лишнее и надо убавить?"—„Да, по правдѣ сказать",—отвѣчалъ Главконъ,—„я бы всѣ ихъ уничтожилъ, когда бы отъ меня зависѣло. Что у насъ за стража—стоитъ-ли держать ее, когда повсюду воровство такое, что никто не убережется!"—„Какъ же такъ? вѣдь, если снять отовсюду караулы, то воры будутъ грабить на волѣ, среди бѣлаго дня... Да развѣ тебѣ это дѣло такъ близко извѣстно, и ты подлинно знаешь, что никуда не годится наша полиція?"—„Такъ мнѣ кажется; всѣ говорятъ, что такъ".—„Нѣтъ, Главконъ, тутъ мало предполагать, а надо знать подлинно". И Главконъ долженъ былъ согласиться съ Сократомъ.—„Ну, вотъ",—спросилъ еще Сократъ:—„ты хочешь управлять государствомъ. Знаешь-ли ты, сколько въ нашемъ городѣ требуется въ годъ пшеницы для народнаго продовольствія, каковъ можетъ быть домашній запасъ ея и сколько еще потребно закупить изъ-за границы?"—„Какъ все это знать,

Сократъ,"—отвѣчалъ молодой человѣкъ,—„ты столько спрашиваешь, что надо предпринять страшную работу, чтобы тебѣ отвѣтить".—„Но, вѣдь, нельзя безъ этого, Главконъ; своимъ домомъ не управишь, не зная, сколько чего для дому требуется, а государствомъ много труднѣе управить, нежели домомъ. Вотъ у тебя свой домъ, т. е. домъ твоего дяди, разстроенъ: начни съ этого—исправь дядинъ домъ, и увидишь, достанетъ-ли у тебя умѣнья и силы".—„Да я охотно взялся бы за это дѣло, только дядя совѣтовъ моихъ не слушаетъ".—„Какъ?"—сказалъ на это Сократъ,—„ты не можешь уговорить своего дядю, и воображаешь, что въ состояніи всѣхъ аѳинянъ, вмѣстѣ и съ дядей, убѣдить своими рѣчами?"... Бесѣда эта заключилась, наконецъ, тѣмъ, что молодой человѣкъ образумился, сталъ учиться и пересталъ произносить рѣчи въ народныхъ собраніяхъ.

Эту простую и старинную исторію кстати припомнить въ настоящее время, когда вся земля кишитъ Главкопами, стремящимися къ государственной дѣятельности на поприщѣ всевозможныхъ преобразованій; когда юноши, едва покинувшіе школьную скамью, притомъ плохо обсиженную,—начинаютъ уже строчить въ канцеляріяхъ полуграмотные проекты новыхъ уставовъ или произносятъ рѣчи, нанизывая фразу за фразой. Только въ ту пору былъ Сократъ, къ которому родные привели молодого честолюбца,замѣтивъ.что онъ становится смѣшонъ съ своимъ пустымъ краснорѣчіемъ. А въ наше скудное время нѣтъ никакого Сократа. да если-бъ и былъ онъ, Главкопы наши не пошли бы къ нему и не стали бы его слушать. Пустыя рѣчи ихъ звучатъ въ собраніи подобныхъ же имъ слушателей, надувая оратора непобѣдимымъ самодовольствомъ и непогрѣшимою самоувѣренностью; проекты ихъ проходятъ безъ критики и возбуждаютъ еще иногда удивленіе, вмѣсто смѣха; передъ ними раскрываетъ ровныя свои ступени та желанная лѣстница, по которой восходятъ, окрыленные фразой, новѣйшіе дѣятели...

VI.

Какъ только человѣкъ начинаетъ мыслить, въ немъ просыпается желаніе опредѣлить себя, установить свое мѣсто въ жизни, привесть свою идею жизни въ согласіе съ дѣйствительностью. Колеблется неустановившаяся идея посреди вѣчно движущейся, пестрой и непостоянной дѣйствительности, посреди смѣняющихъ другъ друга стремленій, ощущеній и желаній. Душа мыслящая желаетъ и требуетъ опознаться во всемъ этомъ и найти себѣ точку, на которой можно утвердить *равновѣсіе* жизни, создать для нея *характеръ*.

И есть счастливые люди, которымъ это равновѣсіе дается само собою, безъ большихъ усилій. Не дѣлая никакихъ выводовъ и умозаключеній, не спрашивая себя—зачѣмъ, почему, откуда, для чего, человѣкъ самъ собою, безсознательно находитъ рѣшеніе этихъ вопросовъ въ дѣйствительности. Идеи его всѣ соотвѣтствуютъ органическимъ его потребностямъ и укладываются въ душѣ его ровно, не сталкиваясь съ желаніями и ощущеніями. Интересъ его дѣятельности заключенъ въ кругѣ, который онъ избралъ для себя и изъ котораго не стремится выйти. Типы этого рода часто встрѣчаются въ обыкновенной жизни, и могутъ возбуждать сочувствіе, потому что простота отношеній къ жизни нерѣдко сообщаетъ имъ свойство прямоты и искренности. Правда, что эти типы представляютъ мало интереса на низшей ступени своего развитія, потому что мы не видимъ въ нихъ никакой творческой силы. Но на высшихъ степеняхъ этого типа къ нему принадлежатъ и люди культурные, люди развитой мысли,—коихъ можно причислить къ *уравновѣшеннымъ*. Они не стремятся къ творчеству, не бываютъ мастерами мысли и дѣла, но одарены способностью

воспринимать, понимать и передавать творческую мысль, потому что обладаютъ *талантомъ;* для нихъ по природѣ возможно гармоническое сочетаніе жизни и дѣла, идей и образовъ, а мысль, не переставая дѣйствовать, не стремится разрушать эту гармонію. Къ этому типу принадлежитъ множество людей, составившихъ себѣ почетное имя въ административной дѣятельности, въ литературѣ, въ искуствѣ, въ наукѣ—и дѣятельность ихъ драгоцѣнна, потому что они воспитываютъ и мысль и вкусъ среды общественной, распространяя въ ней не ими созданныя, но ими воспринятыя идеи и образы.—Они дѣлаютъ великое дѣло, безъ великихъ претензій. Дѣятельность ихъ возбуждаетъ подражателей по сочувственной наклонности ума, но они не могутъ создать новую школу и собрать около себя толпу энтузіастовъ новаго ученія.

Есть иныя души, желающія установить свое жизненное равновѣсіе сами отъ себя, сознательно. Всякое разсужденіе въ человѣкѣ зачинается отъ познанія добра и зла. Ощущеніе зла и заблужденія производитъ въ душѣ смуту, изъ коей умъ человѣческій ищетъ себѣ выхода, и не довольствуясь инстинктивнымъ чувствомъ,—для иныхъ достаточнымъ.—прибѣгаетъ къ помощи разума изыскивающаго пути и способы къ достиженію истины. Такъ образуются *разумники,* желающіе достигнуть единства въ раздвоенной человѣческой природѣ. Нѣкоторыя общія начала, принятыя на вѣру умомъ, составляютъ для нихъ непререкаемую теорію, подъ которую они усиливаются подводить всѣ явленія жизни. Разумъ, который они отождествляютъ съ этою теоріей становится для нихъ божествомъ, рѣшающимъ всѣ вопросы дѣйствительной жизни, и свои мнѣнія признаютъ они приговорами истины, коимъ долженъ подчиниться всякій не лишенный разума. Такое направленіе ума доходитъ въ

иныхъ случаяхъ до фанатизма формальной логики. Фанатическій поклонникъ общихъ началъ не хочетъ признавать ничего, что не входитъ въ систему его мышленія и не останавливается предъ очевидными фактами и явленіями дѣйствительности: увижу, говоритъ онъ, — и то не повѣрю. Въ высшихъ проявленіяхъ этого типа видимъ: философовъ, богослововъ, моралистовъ, естествовѣдовъ, которые задались мыслію привесть къ единству и уравновѣсить разумомъ не только все, что сами они видятъ, мыслятъ и чувствуютъ, но и все, что мыслятъ и чувствуютъ другіе люди, и даже то, что никогда не бывало на мысли, но что можетъ когда нибудь произойти и явиться. Высшими представителями этого типа могутъ служить Огюстъ Контъ и въ особенности Стюартъ Милль,— чистѣйшій образецъ отвлеченнаго мыслителя, съ безусловною вѣрою въ абсолютное значеніе разума и анализа.

Но таковы лишь крупныя явленія: низшія разновидности этого типа, въ разныхъ областяхъ знанія и дѣятельности, очень разнообразны — и число ихъ умножилось въ послѣднее время до безконечности. Являются мнимые философы, облекшіеся въ какое-нибудь модное религіозное или философское ученіе, или составившіе себѣ ученіе— просто изъ отрицанія тѣхъ идей, которыя приняты окружающею ихъ средою. Тѣ и другіе, однако, воображаютъ, что обладаютъ универсальнымъ ключемъ знанія — въ политикѣ, въ наукѣ, въ философіи.

Резонерство есть своего рода художество и питается художественнымъ инстинктомъ: умъ любитъ и привыкаетъ строить болѣе или менѣе стройное зданіе доказательствъ, доводовъ и выводовъ. Это орудіе одни обращаютъ на службу страстямъ своимъ, похотямъ и матеріальнымъ интересамъ, другіе—увлекаются страстью къ свободѣ мышленія и къ

логическимъ построеніямъ мысли, стремящейся приводить къ формальному единству всю область мышленія. Эта страсть одна изъ самыхъ сильныхъ и господственныхъ надъ человѣкомъ. Въ числѣ первыхъ есть страстные поклонники и проповѣдники соціальныхъ или религіозныхъ идей, долженствующихъ преобразовать человѣчество—это верхнія степени типа. На нижнихъ степеняхъ его—софисты всевозможныхъ разрядовъ, употребляющіе свое искуство, какъ искуство умственной игры—на защиту или доказательство—чего бы то ни было, ради случайнаго каприза, или ради интереса: сюда принадлежатъ адвокаты и журналисты низшаго разряда.

Люди этого типа стремятся, однако, установить гармонію въ душѣ своей посредствомъ уравновѣшенія идеальныхъ ея элементовъ, привесть ихъ къ порядку, въ послѣдовательной логической связи. Но есть умы, которые, воспринявъ одну идею, извнутри или извнѣ пришедшую, или одно какое нибудь вѣрованіе,—стремятся все остальное, въ ряду всевозможныхъ идей и вѣрованій, подчинить своей формулѣ: ничего иного не признаютъ и знать не хотятъ. Это—настоящіе фанатики предвзятой мысли. Такой человѣкъ столь убѣжденъ въ истинѣ своего представленія или вѣрованія, что совершенно отождествляетъ его съ истиною,—и когда бы могъ распознать истину, не призналъ бы ея, какъ не признаетъ дѣйствительности несогласной съ тѣмъ, во что онъ увѣровалъ какъ въ истину. Преслѣдуя свою идею до крайнихъ предѣловъ, онъ не останавливается ни на какой иной идеѣ, не обращаетъ вниманія на факты и явленія, коихъ знать не хочетъ. Утверждая такимъ образомъ жизнь свою на излюбленной идеѣ, подавляя насильственно всѣ прочія несогласныя съ нею представленія и движенія чувствъ, такой человѣкъ не можетъ, однако, совсѣмъ ихъ уничто-

жить, и нерѣдко эти самыя отрицаемыя имъ силы вопреки теоріи разума, вопреки вѣрованію, недопускающему никакой сдѣлки, продолжаютъ управлять его дѣйствіями, личными его отношеніями и чувствами въ дѣйствительной жизни. Чувства эти и движенія, скрытыя въ глубинѣ души человѣка, чувства, которыхъ онъ ни за что не признаетъ своими, сами собою, независимо отъ сознанія, оказываются живыми въ дѣйствительной его жизни, хотя онъ отрекся отъ нихъ и похоронилъ ихъ мысленно. Это явленіе особливо замѣтно въ тѣхъ случаяхъ, когда идея, владѣющая человѣкомъ, является рѣшительнымъ отрицаніемъ идей, принятыхъ въ средѣ людей, его окружающихъ. Такъ, напримѣръ, мы видимъ, что либеральный атеистъ, отрицая до ненависти всякую религію,—впадаетъ въ грубое суевѣріе въ своей домашней жизни или создастъ самъ себѣ свою религію изъ обрывковъ тѣхъ формъ, которыя отрицаетъ: теоретикъ, отрицающій какъ ложь и зло всякую благотворительность по теоріи борьбы за существованіе,—когда видитъ бѣдность, стремится помогать ей: ярый проповѣдникъ свободы отношеній, отрицатель брака и семьи, оказывается нѣжнымъ и заботливымъ мужемъ и отцомъ; фанатическій проповѣдникъ безбрачія и аскетизма, радуется новымъ рожденіямъ дѣтей своихъ; ожесточенный врагъ богатства и ненавистникъ капитала,—не упускаетъ случая къ умноженію своихъ капиталовъ и имѣній. Явленія этого рода, слишкомъ извѣстныя, служатъ разительнымъ обличеніемъ *лжи*, которою проникнута всякая теорія, отрѣшенная отъ жизни. Роковое раздвоеніе природы человѣческой является всюду; на языкѣ—одно, часто высокое и торжественное слово; и совсѣмъ иное на дѣлѣ. Въ глубинѣ души человѣческой и въ маломъ и въ великомъ таится лицемѣріе. Мы ужасаемся, когда оно является намъ во всемъ своемъ безстыдствѣ похоти, прикрывающей себя

знаменемъ религіи или филантропіи. Но кромѣ сознательнаго и безстыднаго лицемѣрія, какъ часто является оно въ безсознательной формѣ, когда человѣкъ, ослѣпленный гордостью своей мысли или своего вѣрованія, несетъ его господственно подъ знаменемъ истины, величаясь толпою поклонниковъ и учениковъ, разносящихъ ее по всѣмъ рынкамъ. Нерѣдко эти ученики принимаются развивать систему своего учителя съ новыми обобщеніями основной ея идеи, въ видѣ формулы, долженствующей просвѣтить человѣчество, объяснивъ ему всю тайну Божества, міра и жизни, преобразовать внезапнымъ свѣтомъ истины религію, искуство, соціальную науку, философію. И эти ученики оказываютъ нерѣдко плохую услугу своимъ учителямъ, возводя въ систему всѣ недостатки и ошибки ихъ ученія.

Какія побужденія приводятъ умъ человѣческій къ столь односторонему и крайнему развитію? Есть характеры, по свойству своему склонные къ противорѣчію и къ протесту противу заявленныхъ мнѣній, особливо противу мнѣній и убѣжденій, укоренившихся въ обществѣ, противу всего, по преданію существующаго и признаннаго. Эта природная наклонность способна бываетъ превратиться въ страсть, ищущую себѣ исхода и удовлетворенія. На помощь ей острый умъ вырабатываетъ себѣ искусную діалектику, служащую ему орудіемъ для достиженія цѣли, то есть для убѣжденія другихъ въ томъ, что онъ считаетъ за истину, со всей энергіей напряженной воли. Углубляясь въ ту или другую научную теорію, въ религіозную или соціальную доктрину, умъ хочетъ извлечь изъ нея истину, которой никто дотолѣ не видѣлъ, и на этой истинѣ стремится утвердить единство науки, единство вѣрованія, единство бытія человѣческаго. Такъ иной искатель истины, углубляясь въ Евангельскій текстъ и отыскивая въ немъ свой идеалъ

религіозной истины, отвергаетъ въ немъ какъ несогласное съ идеаломъ все кромѣ нѣсколькихъ словъ и реченій, и на этихъ обрывкахъ текста строитъ свое зданіе новой вѣры, проповѣдуетъ его какъ откровеніе своей мысли, и привлекаетъ учениковъ и поклонниковъ изъ множества людей бродящихъ по свѣту и ищущихъ утвердить на единствѣ свои разбросанныя мысли и желанія. И не перечесть, съ тѣхъ поръ какъ мыслитъ и чувствуетъ человѣкъ о явленіяхъ общественной жизни, сколько являлось такихъ учителей новой вѣры, и сколько посѣяно ими между разновѣрными людьми не любви, а лишь взаимной злобы, ненависти и преслѣдованій.

Въ высшихъ представителяхъ этого типа нельзя отрицать нѣкоторой геніальности воображенія и изобрѣтенія. Изобрѣтатель очевидно обладаетъ художествомъ, и увлекаясь стройностью конструкціи, созидаетъ свое зданіе, поражающее формами и размѣрами, не смотря на очевидную нелѣпость содержанія. Такова напримѣръ система геніальнаго безумца Фурье. И всѣ высшаго разряда творцы подобныхъ системъ, были замѣчательными художниками мысли и слова. Примѣчательно, что немногіе изъ нихъ принимали дѣятельное участіе въ осуществленіи своихъ теорій: почти всѣ довольствуются тѣмъ, что провозглашаютъ свое ученіе, не заботясь о послѣдствіяхъ его: разрабатывая слово своего ученія, они *бросаютъ* его въ міръ, чтобъ оно само собою дѣйствовало—будь что будетъ: само ученіе, захватывая умы на ходу, творитъ учениковъ, которые, становясь его фанатиками, стремятся нерѣдко и осуществлять его, развивая и истолковывая его по своему. Въ дѣйствительности нерѣдко самъ фанатическій проповѣдникъ анархіи оказывается скромнымъ гражданиномъ, добрымъ семьяниномъ, добрымъ человѣкомъ, тогда какъ ученики его и послѣдователи совершаютъ безумныя и кровавыя дѣла во имя его и въ силу его ученія.

Апостолъ соціализма издаетъ свои книги, произноситъ рѣчи, устраиваетъ свое благосостояніе, а его ученіе, одушевляя цѣлыя массы, направляетъ ихъ къ преступной дѣятельности. Учителю нѣтъ дѣла до того, сколько жизни загублено его ученіемъ, сколько лжи напущено въ незрѣлые умы, сколько новыхъ бѣдствій произвело оно въ человѣчествѣ, сколько уродливыхъ искаженій внесено въ него узкими умами нерѣдко совсѣмъ глупыхъ людей, которые въ него увѣровали; все равно,—онъ вѣруетъ въ свой рецептъ, въ свою формулу единства человѣческой жизни, которая рано или поздно должна преобразовать человѣчество.

Наше время—время смятенной и блуждающей мысли—особенно изобилуетъ такими типами непормальнаго, неуравновѣшеннаго человѣка. Жизнь человѣчества во всѣ времена была преисполнена неправды, насилія, лжи и бѣдности; но въ наше время, усиленнѣе чѣмъ когда-либо работаетъ мысль и явственнѣе чѣмъ когда либо открывается передъ нею этотъ нескончаемый свитокъ зла и неправды. Неудивительно, что посреди болѣзненныхъ ощущеній мысль, ищущая идеала, теряется въ нихъ и не видитъ выхода, однако стремится обрѣсти его. И горе ей, если иного выхода не находитъ въ себѣ, кромѣ отрицанія, негодованія и протеста: путемъ отрицанія нерѣдко приходитъ она къ мнимоположительной формулѣ жизни, своего изобрѣтенія, но эта формула становится лишь новою ложью въ общественномъ сознаніи; вступая въ борьбу съ иными формулами, другого изобрѣтенія, сама истощается въ безплодныхъ отрицаніяхъ, доколѣ не уступитъ мѣста какому нибудь новому ученію. Одинъ за другимъ, тянутся ряды людей, желающихъ найти въ себѣ отвѣтъ на вопросъ Пилата: что есть истина? Но этотъ отвѣтъ обрѣтаетъ въ себѣ, не розыскивая, лишь тотъ, кто самъ *„есть отъ истины“*.

Древніе классическіе языки въ школѣ.

Всѣ усовершенствованія человѣческой жизни, всѣ расширенія человѣческой мысли достигаются упорною борьбою со временемъ и пространствомъ. Грани эти не устранимы, но отодвинуть ихъ удается труду человѣческому.

Нашъ вѣкъ — вѣкъ блистательныхъ побѣдъ надъ пространствомъ. Быстроходные суда и желѣзныя дороги, телеграфы и телефоны, орудія ежедневной печати, совершенствуясь и размножаясь съ головокружительною быстротою, установили живое, непосредственное общеніе между людьми и странами всего земнаго шара. Завоеванія оптики и химіи открываютъ намъ доступъ ко многимъ тайнамъ пространства небеснаго. Жалкимъ и слабымъ представляется намъ нынѣ человѣкъ, видящій и знающій нынѣ то, что его непосредственно окружаетъ.

Но слабъ и жалокъ и тотъ человѣкъ, который видитъ и знаетъ лишь то, что онъ непосредственно переживетъ. Грани времени столь же неустранимы, какъ и грани пространства, но также подлежатъ расширенію упорнымъ трудомъ человѣка. Сѣдая древность завѣщала намъ письменность, оставила намъ безчисленные памятники былого человѣческаго творче-

ства, какъ и былыхъ процессовъ, измѣнившихъ видъ земной поверхности. Знаніе прошлаго, живое съ нимъ общеніе словомъ и дѣломъ, возможно и подлежитъ безграничному расширенію. Живо чувствовали это люди среднихъ вѣковъ, и благоговѣйнымъ созерцаніемъ прошлаго подготовили блистательное будущее временъ Возрожденія.

И нынѣ, въ тиши ученаго міра, продолжается трудолюбивое возстановленіе давно минувшаго. Пополняются сокровища, завѣщанныя намъ относительно близкимъ прошлымъ Греціи и Рима. Къ нимъ прикладываются откровенія болѣе отдаленнаго прошлаго: Египта, Халден, Индіи и Китая. Все дальше въ глубь вѣковъ проникаетъ пытливая мысль, силящаяся возстановить вещественную исторію нашей планеты.

Но отъ этихъ изученій отвернулась современная толпа. Побѣды надъ пространствомъ отвлекли ея вниманіе отъ уроковъ времени. Общенію съ прошлымъ она предпочитаетъ гаданія о будущемъ, безпочвенныя и безплодныя безъ близкаго знакомства съ минувшимъ. Приходятъ въ упадокъ способы непосредственнаго проникновенія въ это минувшее, и живая его рѣчь, столь долго служившая связующимъ звеномъ между вѣками и поколѣніями, все болѣе устраняется изъ области умственнаго воспитанія.

Увлеченіе это, какъ и многія другія, нашло преувеличенный отголосокъ въ непомнящемъ родства русскомъ обществѣ. То, что нынѣ у насъ говорится и пишется объ изученіи языковъ, древнихъ, новыхъ и отечественнаго, изумитъ потомство своимъ легкомысліемъ.

Своевременно припомнить, что такое европейскіе древніе языки—латинскій и греческій.

Языкъ латинскій есть не только языкъ древнихъ римлянъ, но и языкъ международный, почти до нашихъ дней пережившій Римскую имперію. Авторитетъ католической

церкви, потребность въ общеніи между книжными людьми разноязычной Европы, сохранили широкое его употребленіе вплоть до 18-го вѣка. При этомъ онъ наравнѣ съ живыми языками видоизмѣнялся и обогащался, приспособляясь къ потребностямъ новымъ, но сохраняя притомъ свое грамматическое строеніе. Потребности католическаго богослуженія сдѣлали его орудіемъ обильнаго и блестящаго поэтическаго творчества въ области, совершенно чуждой античному міру. Величайшіе поэты эпохи Возрожденія—Данте, Петрарка, Мильтонъ, чувствовали потребность, сверхъ своего природнаго языка, пользоваться для своего творчества этимъ новолатинскимъ языкомъ. Пѣвецъ „Потеряннаго рая“ на этомъ языкѣ, отъ имени Кромвеля, привѣтствовалъ шведскую королеву Христину. Величайшіе ученые философы новаго времени—Бэконъ Веруламскій, Спиноза, Ньютонъ, Лейбницъ приспособили этотъ языкъ къ области научной. Всѣхъ ихъ, въ этомъ отношеніи, превзошелъ Линней. Латинскій языкъ его по своей ясности и точности, по истинно поэтическому одушевленію, несравненъ и плѣнителенъ, и немало способствовалъ быстрому распространенію его плодотворныхъ твореній. Въ прошломъ столѣтіи великій математикъ Гауссъ писалъ почти исключительно по-латыни. Въ наши дни папа Левъ XIII, кромѣ энцикликъ, пишетъ на латинскомъ языкѣ изящныя стихотворенія и одно изъ нихъ, какъ въ опроверженіе толковъ о неприложимости латинскаго языка къ вещамъ современнымъ, посвящено восхваленію фотографическаго искуства.

Лишь отчасти и на краткое время латинскій языкъ въ XVIII-мъ вѣкѣ былъ вытѣсненъ, въ качествѣ международнаго, языкомъ французскимъ, благодаря изумительной выработкѣ этого языка писателями XVII-го вѣка. Возродившійся національизмъ скоро возстановилъ равноправность великихъ

языковъ европейскихъ, выдвинулъ и права языковъ второстепенныхъ.

Между тѣмъ, вавилонское размноженіе языковъ со временъ Лейбница заставляетъ мыслителей и ученыхъ мечтать объ языкѣ международномъ и всемірномъ, который служилъ бы орудіемъ общенія, дѣлового и научнаго, между всѣми племенами вселенной. Мы были свидѣтелями безобразнаго и мертворожденнаго изобрѣтенія Волапюка. Жалкая эта попытка лишь подчеркнула необходимость, въ качествѣ международнаго орудія общенія,—языка, сложившагося исторически, безсознательнымъ творчествомъ безчисленныхъ поколѣній. На дѣлѣ до сихъ поръ такимъ языкомъ можетъ служить только латинскій—единственный извѣстный всѣмъ образованнымъ членамъ европейской семьи, единственный открывающій доступъ къ прошлому всѣхъ наукъ. Есть филологи, ратующіе за возвращеніе этому языку его средневѣковаго преобладанія. *) Вольно отдѣльнымъ народамъ мечтать о грядущемъ возобладаніи языка французскаго или англійскаго, нѣмецкаго или русскаго. Такая побѣда—если она возможна—дѣло весьма отдаленнаго будущаго. Пока же никому, кто

---

*) Припоминаю, по этому поводу, разсказъ покойнаго профессора Лясковскаго, отличнаго латиниста:

Въ какомъ то венгерскомъ городкѣ привелось ему, лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, передать порученіе незнакомой дамѣ. Подходя къ ея дому, онъ спрашивалъ себя, на какомъ языкѣ заводить съ нею разговоръ. Отворила ему дверь маленькая дѣвочка, а вслѣдъ за нею раздался голосъ ея матери: „Claude Januam.“ — „Clausa est“, отвѣчала дѣвочка и ввела посѣтителя въ гостиную.

Разговоръ тотчасъ завязался—по-латыни. Оказалось, что во многихъ мѣстностяхъ Венгріи, населенныхъ смѣсью мадьяръ, нѣмцевъ, румыновъ и разноязычныхъ славянъ, разговорнымъ языкомъ образованнаго общества служилъ языкъ латинскій, и говорить на этомъ языкѣ учили всѣхъ благовоспитанныхъ дѣтей.

имѣетъ возможность посвятить лѣта отрочества и юности умственному своему развитію, не долженъ быть прегражденъ доступъ къ единственному, въ настоящее время, орудію общенія со всѣми просвѣщенными народами, со всѣми вѣками христіанскаго и отчасти до-христіанскаго прошлаго.

Иное значеніе имѣетъ языкъ греческій. Никогда Православная Церковь не навязывала его, къ качествѣ языка богослужебнаго, иноязычнымъ народамъ. Никогда, съ далекихъ временъ его всемірнаго владычества, не служилъ онъ распространенію новыхъ научныхъ открытій, новыхъ мысленныхъ теченій.—Но заключилъ онъ свое международное поприще распространеніемъ откровеній высшихъ, но остается онъ хранилищемъ высочайшихъ красотъ человѣческой мысли и слова и вѣнца писаній, начертанныхъ рукою человѣческою—Новаго Завѣта съ толкованіемъ его ближайшими преемниками Священнаго Преданія. Пусть не всѣмъ удается осилить полное его усвоеніе, но достигнуть вершинъ пониманія, философскаго, богословскаго, художественнаго, могутъ, безъ его помощи, развѣ люди геніальные; но орудіе это должно быть дано въ руки всякому, кому предстоитъ трудиться въ высшихъ сферахъ науки, искуства, духовнаго созерцанія.

Школа не мертвенно единая, но какъ сама жизнь разнообразная, не можетъ исключить изъ своихъ программъ ни одного изъ этихъ языковъ. Такое ея оскопленіе было бы величайшимъ грѣхомъ современности передъ поколѣніями грядущими. Распредѣленіе по училищамъ различныхъ типовъ и назначеній, того объема знаній по обоимъ языкамъ, которое нужно и достижимо, должно быть предметомъ самой тщательной и вдумчивой работы, какъ и выборъ между давно выработанными методами преподаванія. Толковать же объ упраздненіи этого преподаванія могутъ только люди, не испытавшіе на себѣ его благотворнаго дѣйствія

по случайностямъ своего воспитанія или по собственному недомыслію.

Повторяю: порывать связь съ прошлымъ, откидывая единственное орудіе его непосредственнаго познанія, лишать себя тѣмъ самымъ единственныхъ данныхъ, позволяющихъ намъ плодотворно работать для будущаго,—было бы столь же превратно и безумно, какъ ограничивать свое знаніе настоящаго случайнымъ мѣстомъ своего жительства. Азбучная эта истина нынѣшними преобразователями очевидно забыта. Напоминать о ней, настойчиво и громко—долгъ всякаго мыслящаго человѣка. Увлеченіе, нынѣ овладѣвшее обществомъ, конечно пройдетъ. Но одной попытки осуществить предполагаемую ломку достаточно, чтобы искалѣчить, умственно и нравственно, цѣлое поколѣніе. Absit omen!

С. Рачинскій.

Власть и начальство.

Есть въ душахъ человѣческихъ сила нравственнаго тяготѣнія, привлекающая одну душу къ другой; есть глубокая потребность воздѣйствія одной души на другую. Безъ этой силы люди представлялись бы кучею песчинокъ, ничѣмъ не связанныхъ и носимыхъ вѣтромъ во всѣ стороны. Сила эта естественно, безъ предварительнаго соглашенія, соединяетъ людей въ общество. Она заставляетъ, въ средѣ людской, искать другого человѣка, къ кому приразиться, кого слушать, кѣмъ руководствоваться. Одушевляемая нравственнымъ началомъ, она получаетъ значеніе силы творческой, совокупляя и поднимая массы на великія дѣла, на великіе подвиги.

Но для общества гражданскаго недостаточно этого вольнаго и случайнаго взаимнаго воздѣйствія... Естественное, какъ бы инстинктивное стремленіе къ нему, огустѣвая и сосредоточиваясь, ищетъ *властнаго*, непререкаемаго воздѣйствія, которымъ объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всѣми разнообразными ея потребностями, вожделѣніями и страстями, въ которомъ обрѣтала бы возбужденіе дѣятельности и началo порядка, въ которомъ находила бы, посреди всякихъ извращеній своеволія,—*мѣрило правды*.—

Итакъ на *правдѣ* основана, по идеѣ своей, всякая власть, и поелику правда имѣетъ своимъ источникомъ и основаніемъ Всевышняго Бога и законъ Его, въ душѣ и совѣсти каждаго естественно написанный,—то и оправдывается въ своемъ глубокомъ смыслѣ слово: *нѣсть власть, аще не отъ Бога.*

Слово это обращено *подвластнымъ*, но оно относится столь же внушительно и къ самой власти, и о, когда бы сознавала всякая власть все его значеніе! Великое и страшное дѣло—власть, потому что это дѣло—*священное*. Слово *священный* въ первоначальномъ своемъ смыслѣ значитъ: *отдѣленный*, на службу Богу обреченный. Итакъ власть—*не для себя* существуетъ, но ради Бога, и есть *служеніе*, на которое *обреченъ* человѣкъ. Отсюда и безграничная страшная сила власти, и безграничная, страшная тягота ея.

Сила ея безгранична, и не въ матеріальномъ смыслѣ, а въ смыслѣ духовномъ, ибо это сила разсужденія и творчества. Первый моментъ міросданія есть появленіе *свѣта* и отдѣленіе его отъ *тьмы*. Подобно тому и первое отправленіе власти есть обличеніе *правды* и различеніе *неправды*: на этомъ основана вѣра во власть и неудержимое тяготѣніе къ ней всего человѣчества. Сколько разъ, и повсюду, вѣра эта обманывалась, и все-таки источникъ ея остается цѣлъ и не изсякаетъ, потому что безъ правды жить не можетъ человѣкъ. Отсюда происходитъ и творческая сила власти—сила привлекать людей добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять ихъ на дѣла и подвиги.—Власти принадлежитъ и первое и послѣднее слово—альфа и омега въ дѣлахъ человѣческой дѣятельности.

Сколько ни живетъ человѣчество, не перестаетъ страдать то отъ власти, то отъ безвластія. Насиліе, злоупотребленіе, безуміе, своекорыстіе власти—поднимаетъ мятежъ. Извѣрившись въ идеалъ власти, люди мечтаютъ обойтись

безъ власти и поставить на мѣсто ея слово закона. Напрасное мечтаніе: во имя закона возникающіе во множествѣ самовластные союзы поднимаютъ борьбу о власти, и раздробленіе властей ведетъ къ насиліямъ—еще тяжеле прежнихъ. Такъ бѣдное человѣчество въ исканіи лучшаго устройства носится точно по волнамъ безбрежнаго океана, въ коемъ бездна призываетъ бездну, кормила нѣтъ—и не видать пристани...

И все-таки—безъ власти жить ему невозможно. Въ душевной природѣ человѣка,—за потребностью взаимнаго общенія, глубоко таится—потребность власти. Съ тѣхъ поръ какъ раздвоилась его природа, явилось различіе добра и зла, и тяга къ добру и правдѣ вступила въ душѣ его въ непрестающую борьбу съ тягою къ злу и неправдѣ,—не осталось иного спасенія, какъ искать примиренія и опоры въ верховномъ судіи этой борьбы, въ живомъ воплощеніи властнаго начала порядка и правды. Итакъ, сколько бы ни было разочарованій, обольщеній, мученій отъ власти, человѣчество, доколѣ жива еще въ немъ тяга къ добру и правдѣ, съ сознаніемъ своего раздвоенія и безсилія, не перестанетъ вѣрить въ идеалъ власти и повторять попытки къ его осуществленію. Издревле, и до нашихъ дней, безумцы говорили и говорятъ въ сердцѣ своемъ: нѣтъ Бога, нѣтъ правды, нѣтъ добра и зла,—привлекая къ себѣ другихъ безумцевъ и проповѣдуя безбожіе и анархію. Но масса человѣчества хранитъ въ себѣ вѣру въ высшее начало жизни, и посреди слезъ и крови, подобно слѣпцу ищущему вождя, ищетъ для себя власти и призываетъ ее съ непрестающею надеждой, и эта надежда—жива, не смотря на вѣковыя разочарованія и обольщенія.

Итакъ дѣло власти есть дѣло непрерывнаго служенія, а потому въ сущности—дѣло *самопожертвованія*. Какъ странно звучитъ, однако, это слово въ ходячихъ понятіяхъ

о власти. Казалось бы, естественно людямъ бѣжать и уклоняться отъ жертвъ. Напротивъ того—всѣ ищутъ власти, всѣ стремятся къ ней, изъ-за власти борются, злодѣйствуютъ, уничтожаютъ другъ друга, а достигнувъ власти, радуются и торжествуютъ. Власть стремится *величаться*, и величаясь, впадаетъ въ странное мечтательное состояніе,—какъ будто она сама для себя существуетъ, а не для служенія. А между тѣмъ непререкаемый, единый истинный идеалъ власти—въ словѣ Христа Спасителя: „кто хочетъ быть между вами первымъ, да будетъ всѣмъ слуга." Слово это мимо ушей у насъ проходитъ, какъ нѣчто не до насъ относящееся, а до какого-то иного, особаго, въ Палестинѣ бывшаго сообщества—но по истинѣ, какая власть, какъ бы ни была высока, какая, въ глубинѣ своей совѣсти, не сознается, что чѣмъ выше ея величіе, тѣмъ больший объемлетъ кругъ дѣятельности, тѣмъ тягостнѣе становятся ея узы, тѣмъ глубже раскрывается передъ нею свитокъ язвъ общественныхъ, въ коихъ написано столько „рыданія и жалости и горя", тѣмъ громче раздаются крики и вопли о неправдѣ, проникающіе душу и ее обязывающіе. Первое условіе власти есть вѣра въ себя, т. е. въ свое призваніе: благо власти, когда эта вѣра сливается съ сознаніемъ долга и нравственной отвѣтственности. Бѣда для власти, когда она отдѣляется отъ этого сознанія и безъ него себя ощущаетъ и въ себя вѣритъ. Тогда начинается паденіе власти, доходящее до утраты этой вѣры въ себя, то есть до униженія и разложенія.

Власть, какъ носительница правды, нуждается болѣе всего въ людяхъ правды, въ людяхъ твердой мысли, крѣпкаго разумѣнія и праваго слова, у коихъ *да* и *нѣтъ* не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздѣльно возникаютъ въ духѣ и въ словѣ выражаются. Толь-

ко такіе люди могутъ быть твердою опорою власти и вѣрными ея руководителями. Счастлива власть, умѣющая различать такихъ людей и цѣнить ихъ по достоинству и неуклонно держаться ихъ. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитаетъ имъ людей склоннаго права, уклончиваго мнѣнія и языка льстиваго.

Правый человѣкъ есть человѣкъ цѣльный—не терпящій раздвоенія. Онъ смотритъ прямо очами въ очи, и въ очахъ его видится одинъ образъ, одна мысль и чувство единое. Видъ его спокоенъ и безстраненъ, и языкъ его не колеблется направо и налѣво. Мысль его сама съ собою согласна и высказывается, не допытываясь, съ чьимъ мнѣніемъ согласна она, кому пріятна, чьему желанію или чьей похоти соотвѣтствуетъ. Слово его просто и не ищетъ кривыхъ путей и лукавыхъ способовъ—убѣдить въ томъ, въ чемъ мысль, порождающая слово, не утвердилась въ правду.

Не таковъ человѣкъ неутвержденный въ мысли, двоедушный и льстивый. Онъ глядитъ вамъ въ очи, но въ его очахъ вы не его одного видите—но кто-то другой еще стоитъ сзади и выглядываетъ на васъ,—и не знаешь, кому вѣрить—этому или тому, другому? Говоритъ, и хотя бы красна и горяча была рѣчь его,—на умѣ у него:—какое она произвела на васъ впечатлѣніе, согласна ли она съ вашимъ желаніемъ или прихотью, и если вы на нее отзоветесь, онъ обернетъ ее къ вамъ и скажетъ, что вы ея создатель, что онъ отъ васъ ее заимствовалъ. Мимолетное слово ваше онъ схватитъ налету, облечетъ въ форму и понесетъ въ видѣ твердой мысли, въ видѣ рѣшительнаго мнѣнія. Чѣмъ способнѣе такой человѣкъ, тѣмъ искуснѣе успѣетъ пользоваться вами и направлять васъ. Вы затрудняетесь или сомнѣвастесь—у него готово рѣшеніе, которое выведетъ васъ изъ затрудненія, изъ безпокойства, въ покой

самодовольствія. Вы колеблетесь распознать, на которой сторонѣ правда—у него готовы аргументы и формулы, способныя убѣдить васъ въ томъ, что казавшееся вамъ сомнительнымъ и есть сущая правда.

Бумага все терпитъ—такова старинная пословица, образовавшаяся въ то время, когда грамотейство было почти исключительно бумажное, и одна бумага служила матеріаломъ и орудіемъ крючкотворства. Наступило другое время—бумага осталась, но надъ нею стала господствовать устная рѣчь, и пришлось дивиться новѣйшему крючкотворству въ рѣчахъ безчисленныхъ ораторовъ. Возникла новая школа, въ которой и невѣжды одинаково съ умными и учеными, стали обучаться искуству красно говорить, о чемъ бы то ни было, красно доказывать истину—чего угодно, и вести искусную игру, разсчитанную на впечатлительность слушателей. Образовалась новая порода людей, изъ среды коихъ пополняются не рѣдко ряды практическихъ дѣятелей, администраторовъ, судей, педагоговъ. Счастливъ, кто, пройдя эту школу, успѣлъ еще сохранить въ себѣ твердую мысль, добросовѣстность сужденія и способность опознаться въ истинѣ посреди тучи общихъ взглядовъ и формулъ новѣйшей софистики; словомъ сказать, кто, пройдя училище *двоедушія*, успѣлъ остаться *прямодушнымъ*.

Начальнику должно быть присуще сознаніе *достоинства* власти. Забывая о немъ и не соблюдая его, власть роняетъ себя и извращаетъ свои отношенія къ подчиненнымъ. Съ достоинствомъ совмѣстна, и должна быть неразлучна съ нимъ, *простота* обращенія съ людьми, необходимая для возбужденія ихъ къ дѣлу и для оживленія интереса къ дѣлу, и для поддержанія искренности въ отношеніяхъ. Сознаніе достоинства воспитываетъ и *свободу* въ обращеніи

съ людьми. Власть должна быть *свободна* въ законныхъ своихъ предѣлахъ, ибо при сознаніи достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о томъ, какъ она покажется, какое произведетъ впечатлѣніе и какой имѣть ей приступъ къ подступающимъ людямъ. Но сознаніе достоинства должно быть неразлучно съ сознаніемъ *долга*: по мѣрѣ того какъ блѣднѣетъ сознаніе долга, сознаніе достоинства, расширяясь и возвышаясь не въ мѣру, производитъ болѣзнь, которую можно назвать *гипертрофіей* власти. По мѣрѣ усиленія этой болѣзни, власть можетъ впасть въ состояніе нравственнаго помраченія, въ коемъ она представляется *сама по себѣ* и *сама для себя* существующею. Это уже будетъ начало *разложенія* власти.

Сознавая достоинство власти, начальникъ не можетъ забыть, что онъ служитъ зеркаломъ и примѣромъ для всѣхъ подвластныхъ. Какъ онъ станетъ держать себя, такъ за нимъ пріучаются держать себя и другіе—въ пріемахъ, въ обращеніи съ людьми, въ способахъ работы, въ отношеніи къ дѣлу, во вкусахъ, въ формахъ приличія и неприличія. Напрасно было бы воображать, что власть, въ тѣ минуты, когда снимаетъ съ себя начальственную тогу, можетъ безопасно смѣшаться съ толпою въ ежедневной жизни толпы, на рынкѣ суеты житейской.

Однако, соблюдая свое достоинство, начальникъ долженъ столь же твердо соблюдать и достоинство своихъ подвластныхъ. Отношенія его къ нимъ должны быть основаны на довѣріи, ибо въ отсутствіи довѣрія нѣтъ нравственной связи между начальникомъ и подчиненнымъ. Бѣда начальнику, если онъ вообразитъ, что *все* можетъ знать и обо *всемъ* разсудить непосредственно, независимо отъ знаній и опытности подчиненныхъ, и захочетъ рѣшить *всѣ* вопросы однимъ

своимъ властнымъ словомъ и приказаніемъ, не справляясь съ мыслью и мнѣніемъ подчиненныхъ, непосредственно къ нему относящихся. Въ такомъ случаѣ онъ скоро почувствуетъ свое безсиліе передъ знаніемъ и опытностью подчиненныхъ, и кончитъ тѣмъ, что попадетъ въ совершенную отъ нихъ зависимость.—Пущая бѣда ему, если онъ впадаетъ въ пагубную привычку не терпѣть и не допускать возраженій и противорѣчій:—это свойство не однихъ только умовъ ограниченныхъ, но встрѣчается нерѣдко у самыхъ умныхъ и энергическихъ, но не въ мѣру самолюбивыхъ и самоувѣренныхъ дѣятелей. Добросовѣстнаго дѣятеля должна страшить привычка къ произволу и самовластію въ рѣшеніяхъ:—ею воспитывается—*равнодушіе*, язва бюрократіи. Власть не должна забывать, что за каждою бумагой стоитъ или живой человѣкъ или живое дѣло, и что сама жизнь настоятельно требуетъ и ждетъ соотвѣтственнаго съ нею рѣшенія и направленія. Въ немъ должна быть *правда—личная*—въ прямомъ добросовѣстномъ и точномъ воззрѣніи на дѣло,—и еще *правда*—въ соотвѣтствіи распоряженія съ живыми соціальными, нравственными и экономическими условіями народнаго быта и народной исторіи. Этой правды нѣтъ, если руководящимъ началомъ для власти служитъ отвлеченная *теорія* или *доктрина*, отрѣшенная отъ жизни съ особливыми многообразными ея условіями и потребностями.

Чѣмъ шире кругъ дѣятельности властнаго лица, чѣмъ сложнѣе механизмъ управленія, тѣмъ нужнѣе для него подначальные люди, способные къ дѣлу, способные объединить себя съ общимъ направленіемъ дѣятельности къ общей цѣли. Люди нужны во всякое время и для всякаго правительства, а въ наше время едвали не нужнѣе чѣмъ когда-либо: въ наше время правительству приходится считаться со множествомъ

вновь возникшихъ и утвердившихся силъ—въ наукѣ, въ литературѣ, въ критикѣ общественнаго мнѣнія, въ общественныхъ учрежденіяхъ съ ихъ самостоятельными интересами. Умѣнье найти и выбрать людей—первое искуство власти; другое умѣнье—направить ихъ и ввесть въ должную дисциплину дѣятельности.

Выборъ людей—дѣло *труда* и пріобрѣтаемаго трудомъ *искуства* распознавать качества людей. Но власть нерѣдко склоняется устранять себя отъ этого труда и замѣнять его внѣшними или формальными *признаками качествъ*. Самыми обычными признаками этого рода считаются *патенты* окончанія курсовъ высшаго образованія, патенты, пріобрѣтаемые посредствомъ экзаменовъ. Мѣра эта, какъ извѣстно, весьма невѣрная и зависитъ отъ множества случайностей, стало быть сама по себѣ не удостовѣряетъ на самомъ дѣлѣ ни *знанія*, ни тѣмъ менѣе, *способности* кандидата къ тому дѣлу, для коего онъ требуется. Но она служитъ къ избавленію власти отъ труда всматриваться въ людей и опознавать ихъ. Руководствуясь одною этою мѣрой, власть впадаетъ въ ошибки вредныя для дѣла. Не только способность и умѣнье, но и самое *образованіе* человѣка не зависитъ отъ выполненія учебныхъ программъ по множеству предметовъ, входящихъ въ составъ учебнаго курса. Безчисленные примѣры лучшихъ учениковъ—ни на какое дѣло негодныхъ,—и худшихъ, оказавшихся замѣчательными дѣятелями—доказываютъ противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь съ той минуты, когда они прикоснулись къ живой реальности дѣла: до тѣхъ поръ наука, въ видѣ уроковъ и лекцій, оставляла ихъ равнодушными, потому что они не чуяли въ ней реальнаго интереса: такова была исторія развитія многихъ великихъ общественныхъ дѣятелей.

Начальникъ обширнаго управленія съ обширнымъ кругомъ дѣйствія не можетъ дѣйствовать съ успѣхомъ, если захочетъ, безъ должной мѣры, простирать свою власть непосредственно на всѣ отдѣльныя части своего управленія, вступаясь во всѣ подробности дѣлопроизводства. Самый энергическій и опытный дѣятель можетъ даромъ растратить свои силы и запутать ходъ дѣлъ въ подчиненныхъ мѣстахъ, если съ одинаковою ревностью станетъ заниматься и существенными вопросами, въ коихъ надлежитъ ему давать общее направленіе, и мелкими дѣлами текущаго производства. Мѣсто его наверху дѣла, откуда можетъ онъ обозрѣвать весь кругъ подчиненной дѣятельности: спускаясь непосредственно во всѣ углы и закоулки управленія, онъ потеряетъ мѣру труда своего и своей силы и способность широкаго кругозора, разстроитъ необходимое во всякомъ практическомъ дѣлѣ раздѣленіе труда, и ослабитъ въ подчиненныхъ нравственный интересъ дѣятельности и сознаніе нравственной отвѣтственности каждаго за порученное ему дѣло.—Съ другой стороны, ошибется главный начальникъ, если предоставитъ себѣ лично выборъ не только лицъ непосредственно отъ него зависящихъ, но и всѣхъ второстепенныхъ дѣятелей и работниковъ, подчиненныхъ начальникамъ отдѣльныхъ частей управленія: въ такомъ случаѣ онъ взялъ бы на себя дѣло свыше силъ своихъ, и не на пользу дѣла, а лишь въ угоду личному произволу своему и самовластію. Начальникъ каждой отдѣльной части несетъ на себѣ отвѣтственность за успѣхъ порученнаго ему дѣла, и отнять у него право избирать по усмотрѣнію своему сотрудниковъ себѣ и работниковъ—значитъ снять съ него отвѣтственность за успѣшный ходъ дѣла, ослабить его авторитетъ и стѣснить его свободу въ законномъ кругѣ его дѣятельности.

Къ несчастью, по мѣрѣ ослабленія нравственнаго начала власти въ начальникѣ, имъ овладѣваетъ пагубная страсть *патронатства*, страсть покровительствовать и раздавать мѣста и должности высшаго и низшаго разряда. Великая бѣда отъ распространенія этой страсти, лицемѣрно прикрываемой видомъ добродушія и благодѣянія нуждающимся людямъ. Побужденія этой благодѣтельности нерѣдко смѣшиваются съ побужденіями угодничества передъ другими сильными міра, желающими облагодѣтельствовать своихъ клієнтовъ. Увы! благодѣянія этого рода раздаются часто на счетъ блага общественнаго, на счетъ благоустройства служебныхъ отправленій, наконецъ на счетъ казенной или общественной кассы. Стоитъ власти забыться,—и она уже отрѣшается отъ мысли о правдѣ своего служенія и о благѣ общественномъ, которому служить призвана.

А казна! Равнодушной власти она представляется какимъ-то свыше, въ невѣдомой странѣ поставленнымъ, неисчерпаемымъ рогомъ изобилія, откуда сыплются блага и милости всякаго рода, куда можно обращаться съ твердой надеждой на исполненіе какой-то заповѣди: *просите и дастся вамъ;* гдѣ всякую нужду, облеченную въ привычныя формы, милостиво и благодушно пріемлютъ. Мудрено-ли забыть—и всѣ болѣе или менѣе забываютъ, изъ какихъ источниковъ питается этотъ рогъ изобилія, откуда, отъ кого и какими путями, иногда тяжкими и болѣзненными, собираются рубли и гроши въ сокровищницу государственной казны, и кому и чему она служить предназначена. Мало по малу это забвеніе можетъ распространиться на всѣхъ, сверху до низу,—и обратиться въ общую деморализацію—какъ облагающихъ властей, такъ и облагаемыхъ обывателей: и ими, не взирая на ропотъ и жалобы, овладѣваетъ

какое-то безсмысленное чаяніе благъ и милостей отъ казны и государства. Возрастаютъ ряды чиновниковъ, плодятся учрежденія, удволяются оклады;—вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ обложеніе,—и государственный бюджетъ принимаетъ чудовищные размѣры, вбирая въ себя несущіяся отовсюду изобрѣтенія, претензіи и требованія частныхъ интересовъ и соціальныхъ фантазій. Бюджетъ нынѣшней французской демократіи представляетъ ужасающую картину деморализаціи правительства, утратившаго сознаніе нравственнаго достоинства власти.—

Однимъ изъ главныхъ двигателей фаворитизма служитъ—*лесть*, исконный источникъ соблазна, дѣйствующій не только на слабыя, но и на крѣпкія натуры, ибо искусство льстить неистощимо въ разнообразіи и въ оттѣнкахъ своихъ пріемовъ. Одинъ изъ самыхъ тонкихъ пріемовъ состоитъ въ искусномъ внушеніи начальствующему лицу, что всякая творческая мысль отъ него исходитъ, что всякое новое изобрѣтеніе, ему подсказанное, имъ внушено, что всякій трудъ подчиненныхъ имъ одушевляется. Такъ мало по малу льстецъ становится пріятенъ, заявляетъ себя способнымъ и производитъ ощущеніе человѣка преданнаго.—А когда стало замѣтно расположеніе начальника къ такому пріятному обращенію, ловля его благосклоннаго и добраго мнѣнія входитъ уже въ обычную политику внутренней экономіи управленія.

Человѣкъ съ опредѣленнымъ взглядомъ на жизнь, воспитавшій себя и волю свою на разумномъ трудѣ, ясно сознающій къ чему стремится и чего хочетъ, по долгу своего званія, свободенъ въ отношеніяхъ своихъ къ людямъ, и въ этой свободѣ отношеній почерпаетъ умѣнье судить о лю-

дяхъ. Встрѣчая на пути своемъ людей сильныхъ духомъ и способныхъ, онъ умѣетъ различать ихъ, ибо не смущается нимало мыслію о томъ, что его достоинство въ чемъ-либо потерпитъ ущербъ отъ достоинства другого человѣка. Вступая во власть, онъ не теряетъ своей свободы.

Но человѣкъ, неприготовленный къ власти дисциплиною труда и воли, чувствуетъ себя несвободнымъ въ обращеніи съ людьми. Одно внѣшнее достоинство власти ослѣпляетъ его, но и обезсиливаетъ, ибо не соединяется въ немъ съ достоинствомъ духа и разумѣнія, и потому не умѣетъ онъ цѣнить и въ другихъ духовное достоинство: оно лишь обличаетъ и смущаетъ его. Напротивъ того, чувствуетъ онъ себя свободнымъ съ людьми невысокаго духа и житейскихъ наклонностей, которые льстятъ ему, примѣняясь къ нраву его и наклонностямъ. Такъ образуется около начальника сѣть ближнихъ людей и фаворитовъ, изъ коихъ онъ способенъ произвольно, безъ дальняго разсужденія, выбирать людей для дѣлъ своего управленія.—Самъ невоспитанный на трудѣ, онъ не имѣетъ яснаго представленія о томъ, что значитъ работать и чего стоитъ работа: ему подносятъ готовою чужую мысль, которую онъ принимаетъ за собственную, чужое произведеніе, которое онъ признаетъ своимъ и пускаетъ отъ своего имени.

Къ этимъ двигателямъ *фаворитизма* присоединяется еще *товарищество*. Безсознательныя близкія отношенія, установившіяся въ ранней молодости съ товарищами ученія, юношескихъ забавъ и развлеченій или боевой жизни, образуютъ между людьми связь, основанную не столько на взаимномъ сочувствіи духовнаго свойства, сколько на привычкѣ близкаго обхожденія. А привычка у иныхъ людей становится главнымъ руководственнымъ началомъ ежедневнаго быта и дѣятельности, и въ личныхъ и въ общественныхъ

отношеніяхъ. И когда товарищъ является искателемъ мѣстъ и назначеній, выборъ опредѣляется личною благосклонностью или заботою объ устройствѣ человѣка со скудными или разстроенными средствами, иногда безъ всякаго соображенія о томъ, способенъ ли человѣкъ къ тому дѣлу, на которое идетъ, въ состояніи ли онъ право править многими ввѣряемыми ему интересами частными и общественными. Еще ближе товарищей къ благоволенію начальника его *родные,* иногда многочисленные, ищущіе устроить судьбу свою на служебномъ кормленіи, и считающіе заботу объ этомъ устройствѣ нравственнымъ долгомъ властнаго родственника.

Остается ли при этомъ, и какое мѣсто, заботѣ о благѣ общественномъ, ради коего власть ввѣряется начальственному лицу? Остается лишь одно имя общественнаго блага, лицемѣрно начертанное на *знамени* того сана, который начальникъ носитъ, той должности, которую онъ занимаетъ.

И нетрудно забыться,—когда всѣ свои побужденія и образцы и формы дѣятельности человѣкъ почерпаетъ не извнутри, а извнѣ, изъ той среды, въ которой вращается и гдѣ сосредоточены его интересы. Если онъ исправенъ и исполнителенъ въ своемъ дѣлѣ,—что пользы, когда все дѣло его бумажное и изъ-за бумаги не видитъ онъ человѣка съ его нуждами, съ его законными ожиданіями, съ его жаждою удовлетворенія и помощи? Что пользы, когда, услышавъ о неправдѣ, о насиліи,—не загарается онъ ревностью исправить зло, дать управу, возстановить нарушенное,—но безмятежно приказываетъ написать бумагу и безмятежно ее подписываетъ?

У равнодушнаго начальника всѣ его подчиненные становятся лишь механическими орудіями производства, без-

душными колесами сложной машины, въ которой половина силы поглощается треніемъ, потому что нѣтъ духа жизни въ движеніи колесъ,—нѣтъ одушевленія сверху. Интересъ *дѣла* мало по малу истощается, поглощаясь интересомъ *службы*, интересомъ повышенія, наградъ, высшихъ окладовъ, словомъ—личнымъ интересомъ потребности и выгоды каждаго. И тотъ, кто приступаетъ къ дѣлу въ началѣ съ идеаломъ дѣятельности, не находя себѣ ни руководства, ни опоры, мало по малу втягивается въ механику общаго равнодушія.

Но какъ быстро можетъ измѣниться картина, когда появится во главѣ учрежденія живое лицо, съ сознаніемъ долга и нравственной отвѣтственности, съ знаніемъ дѣла, коимъ должно управлять, съ сердцемъ, желающимъ водворить порядокъ и правду посреди безчинія и безправія, съ волею, которою правитъ ясная, сознательная мысль.—Тутъ открывается, какою силою возбужденія обладаетъ разумная власть, когда обращается не къ бумагѣ, а къ живому человѣку, распознавая въ каждомъ и способность къ дѣлу и охоту дѣлать живое дѣло. Тогда и подчиненные работники изъ бездушныхъ колесъ бездушной машины становятся членами органическаго тѣла, дѣйствующими по внушенію одушевленнаго средоточія нервной системы.

Лишь бы только появленіе живого лица во главѣ учрежденія было не *случайнымъ*, а *сознательнымъ* проявленіемъ разумной государственной мысли и обдуманнаго выбора. Благо тому государству, въ коемъ государственная мысль руководствуетъ выборомъ надлежащихъ людей на разныхъ степеняхъ управленія, гдѣ въ смѣнѣ поколѣній одно передаетъ другому запасъ людей готовыхъ къ дѣлу, окрѣпшихъ въ школѣ практической дѣятельности. Но гдѣ пресѣклась эта умственная и нравственная связь старшихъ дѣятелей

съ младшими,—исчезаетъ запасъ людей воспитанныхъ самымъ дѣломъ подъ руководствомъ знанія и авторитета,—а на мѣсто ихъ являются люди случайные, искатели карьеры, стремящіеся къ власти безъ мысли о долгѣ власти и объ отвѣтѣ за власть, ни для какого дѣла не воспитанные, но готовые взяться за всякое. Поднимаясь вверхъ съ одной опроставшейся ступени на другую, становятся и они распредѣлителями власти... И тутъ являются признаки нравственнаго паденія власти.

Самая драгоцѣнная способность правителя — способность организаторская. Это талантъ, не часто встрѣчаемый, талантъ не пріобрѣтаемый какою-либо школою, но прирожденный. О людяхъ этого качества можно сказать, что сказано о поэтахъ, что они родятся, а не дѣлаются (nascuntur, non fiunt). Стоитъ представить себѣ, какое совокупленіе различныхъ качествъ требуется для организаторскаго таланта. Въ такомъ человѣкѣ сила воображенія соединяется со способностью быстро избирать способы практической дѣятельности. Онъ долженъ быть крайне сообразителенъ, предусмотрителенъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшителенъ для дѣйствія, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во всѣ подробности дѣла, не теряя изъ виду руководящихъ началъ его; долженъ быть тонкимъ наблюдателемъ людей и характеровъ, умѣть довѣряться людямъ и въ то же время не забывать, что и лучшіе люди не свободны отъ низменныхъ инстинктовъ и своекорыстныхъ побужденій.

Счастливъ государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талантъ и не ошибиться въ выборѣ. Ошибка возможна, и нерѣдки случаи, когда организаторскій талантъ думаютъ усмотрѣть въ человѣкѣ великаго ума и краснорѣчія. Но оба эти таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитіе мысли, способ-

ность къ діалектической аргументаціи,—почти никогда не сходятся съ организаторскою способностью. Напротивъ того человѣкъ способный соображать способы дѣйствованія и созидать планъ его—весьма часто бываетъ совсѣмъ неспособенъ изложить доказательно то, что сложилось въ умѣ его для дѣйствія. Но этотъ талантъ открывается лишь на дѣлѣ, а краснорѣчіе, дѣйствуя на умы логикой своихъ доводовъ и критикою чужихъ мнѣній, быстро увлекаетъ людей и вызываетъ сразу восторгъ и удивленіе.

Народъ ищетъ наверху, у власти, защиты отъ неправды и насилій,—и стремится *тамъ* найти нравственный авторитетъ въ лицѣ лучшихъ людей, представителей правды, разума и нравственности. Благо народу, когда есть у него такіе люди—въ числѣ его правителей, судей, духовныхъ пастырей и учителей возрастающаго поколѣнія. Горе народу, когда въ верхнихъ, властныхъ слояхъ общества, не находитъ онъ нравственнаго примѣра и руководства: тогда и народъ поникаетъ духомъ и развращается.

Въ соціальномъ и экономическомъ бытѣ прежняго времени исторія показываетъ намъ—*благородное сословіе* людей, изъ рода въ родъ призванныхъ быть не только носителями власти, но и попечителями о нуждахъ народныхъ и хранителями добрыхъ преданій и обычаевъ.

Если суждено такому сословію возродиться въ нашемъ вѣкѣ,—вотъ въ чемъ должны состоять основы бытія его и сущность его призванія:

—служить государству лицомъ своимъ и достояніемъ.

—быть въ словѣ и дѣлѣ хранителемъ народныхъ добрыхъ преданій и обычаевъ.

—быть ходатаемъ и попечителемъ народа въ его нуждахъ, и защитникомъ отъ обиды и насилій.

—совѣтомъ и примѣромъ поддерживать добрые нравы въ семьѣ и въ обществѣ.

—не увлекаться господствующею въ обществѣ страстью къ пріобрѣтенію и обогащенію и чуждаться предпріятій, обычныхъ для удовлетворенія этой страсти.

Возможно-ли осуществленіе такого идеала?—возможно-ли бремя такого призванія?—а безъ этого—какъ быть особливому сословію, призванному къ власти?

Велико и свято значеніе власти. Власть, достойная своего призванія, вдохновляетъ людей и окрыляетъ ихъ дѣятельность: она служитъ для всѣхъ зерцаломъ правды, достоинства, энергіи. Видѣть такую власть, ощущать ея вдохновительное дѣйствіе—великое счастье для всякаго человѣка, любящаго правду, ищущаго свѣта и добра. Великое бѣдствіе—искать власти и не находить ея, или вмѣсто нея находить мнимую власть большинства, власть толпы, произволъ въ призракѣ свободы. Не менѣе, если еще не болѣе печально—видѣть власть, лишенную сознанія своего долга, самой мысли о своемъ призваніи, власть, совершающую дѣло свое безсознательно и формально, подъ покровомъ начальственнаго величія. Стоитъ ей забыться, какъ уже начинается ея разложеніе. Остаются тѣ же формы производства, движутся по прежнему колеса механизма, но духа жизни въ нихъ нѣтъ. Мало по малу ослабѣваетъ самое желаніе избирать людей приготовленныхъ и способныхъ на каждое дѣло, и люди уже не избираются, но назначаются какъ попало, по случайнымъ побужденіямъ и интересамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ дѣломъ. Тогда начинаетъ исчезать въ производствахъ преданіе, охраняемое опытными и привязанными къ дѣлу дѣятелями, разрушается школа, воспитывающая на дѣлѣ новыхъ дѣятелей опытностью старыхъ, и люди,

приступающіе къ дѣлу ради личнаго интереса и служебной карьеры, смѣняясь непрестанно въ погонѣ за лучшимъ, не оставляютъ нигдѣ прочнаго слѣда трудовъ своихъ.

Для всякой практической дѣятельности потребно *искусство*, оживляющее эту дѣятельность, а *искусство* пріобрѣтается трудомъ, разумнымъ и добросовѣстнымъ, для чего необходимо *руководство*. Итакъ всякое учрежденіе, назначенное для практической дѣятельности, должно быть вмѣстѣ съ тѣмъ школою, въ которой поколѣніе новыхъ дѣятелей пріучается къ искуству дѣла подъ руководствомъ старыхъ дѣятелей. На этомъ утверждается внутренній интересъ каждаго дѣла и *нравственная* сила, долженствующая оживлять его. При этихъ условіяхъ учрежденіе можетъ возрастать и совершенствоваться, имѣя передъ собою открытые горизонты: есть чего ожидать и надѣяться, есть путь, куда идти впередъ. Но когда учрежденіе пѣмѣетъ и мертвѣетъ, замыкаясь въ пошлыхъ путяхъ текущей формальности, оно перестаетъ быть школою искуства, превращаясь въ машину, около коей смѣняются наемные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотрѣть, и нѣтъ стремленія и движенія впередъ. Такова можетъ быть судьба новыхъ учрежденій, разрастающихся съ усложненіемъ общественнаго и гражданскаго быта. Такою становится школа, при множествѣ учениковъ, учителей и предметовъ обученія, когда приходится наполнять ея кадры учителями не приготовленными и неспособными, учительствующими по ремеслу, ради хлѣба: духъ жизни пропадаетъ въ ней, и она становится неспособна образовать и воспитывать юное поколѣніе. Таковъ становится судъ, какъ бы ни были въ немъ усложнены и усовершенствованы *формы* производства, когда онъ перестаетъ быть школою для образованія крѣпкаго знаніемъ, опытомъ и искуствомъ су-

дебнаго сословія: формы застываютъ и мертвѣютъ, а духъ жизни исчезаетъ въ нихъ, и самъ судъ можетъ стать такою же машиной, около которой смѣняются лишь наемные работники.

Представленія о власти людей, желающихъ и ищущихъ власти, столь же разнообразны, какъ страсти и желанія человѣческія. Въ массѣ людей, коихъ помышленія сосредоточены на ежедневной жизни, преобладаетъ стремленіе *къ улучшенію своего быта*, безъ всякихъ дальнѣйшихъ соображеній. Затѣмъ преобладающимъ побужденіемъ къ власти служитъ *честолюбіе*. Въ каждомъ человѣкѣ свое *я*, какъ бы ни было мелко и ничтожно, способно къ быстрому и безграничному возрастанію, доходящему у иныхъ до чудовищныхъ размѣровъ: каждый, какъ бы ни былъ малъ, осматриваясь, видитъ около себя еще меньшія величины, успѣвшія при благопріятныхъ обстоятельствахъ, взобраться на крышу того или другого зданія, и благополучно взирающія съ крыши внизъ на ходячее по землѣ человѣчество. Принадлежность къ сонму хотя бы „deorum minorum gentium“ соблазнительна для маленькаго человѣка,—а затѣмъ—сколько видится на горизонтѣ зданій всякой величины, и съ маленькаго зданія какъ пріятно высмотрѣть другую крышу повыше и на нее перебраться—и вглядываться въ дальніе горизонты, на которыхъ красуются „dii majorum gentium“... бывали, вѣдь, примѣры и такого восхожденія!

Таковы пошлые пути и теченія, по коимъ ходитъ и стремится воображеніе малыхъ и среднихъ людей. Изъ нихъ рѣдкій спрашиваетъ себя: кто я, и способенъ ли на то дѣло, которое падетъ на меня съ моимъ возвышеніемъ? справлюсь ли я съ нимъ, и какъ буду отвѣчать за него? И кто ставитъ себѣ такіе вопросы, у того они немедленно потухаютъ въ сіяніи воображаемой славы, и вопрошающему стоитъ толь-

ко сравнить себя со многими вкругъ его сидящими на кровляхъ, чтобы тотчасъ же успокоиться.

Но, оставляя въ сторонѣ пошлые пути,—какъ разнообразны и чистыя, возвышенныя,—но увы! тоже обманчивыя стремленія къ власти. Два знанія существенно необходимы для *посвященія* человѣка во власть. Одно—вѣковѣчное правило: *„познай самого себя“*, другое—*„познай окружающую тебя среду“*. То и другое необходимо для того, чтобы человѣкъ могъ сознательно опредѣлять волю свою и дѣйствовать,—дѣйствовать на воли человѣческія и двигать событія—въ какой бы ни было обширной или тѣсной сферѣ. Дѣйствованіе совершается въ мірѣ *реальностей;* законы разума суть въ то же время законы природы и жизни. Кто не знаетъ этихъ законовъ, не обращаетъ на нихъ вниманія, не примѣняется къ нимъ, тотъ не способенъ дѣйствовать.

Но воображеніе человѣка, воспитанное лишь на отвлеченныхъ стремленіяхъ души, хотя бы самыхъ возвышенныхъ, но не воспитанное на реальностяхъ,—возводя на высоту духъ человѣческій, побуждаетъ человѣка представлять себя способнымъ на дѣйствованіе, рисуя передъ нимъ заманчивыя картины правды и блага. Такъ выростаетъ въ человѣкѣ обманчивая увѣренность въ себѣ, и мало по малу можетъ вырости въ увѣренность *въ свое призваніе*. А когда съ этимъ соединяется еще вѣра въ нѣкоторыя общія положенія и аксіомы, которыя дѣйствуя будто бы сами по себѣ, требуютъ только примѣненія къ отношеніямъ человѣческимъ, и сами по себѣ способны устроить въ нихъ порядокъ и правду,—тогда эта увѣренность принимаетъ характеръ догматизма и, раздражая душу, порождаетъ въ ней страстное стремленіе къ власти, во имя высшаго начала правды и блага, а въ сущности все-таки во имя своего разросшагося *я*.

Я буду *приказывать*—мечтаетъ иной искатель власти, и слово мое будетъ творить чудеса,—мечтаетъ, воображая, что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собою дѣйствуетъ. Но—бѣдный человѣкъ! прежде чѣмъ приказывать, научился ли ты *повиноваться?* Прежде чѣмъ изрекать слово власти, умѣешь ли ты выслушивать и слово приказанія и слово возраженія? Прошелъ ли ты школу служебнаго долга, въ которой каждый человѣкъ, на извѣстномъ мѣстѣ, къ извѣстному времени долженъ исполнить вѣрно и точно извѣстное дѣло, въ связи съ сѣтью множества дѣлъ, другимъ порученныхъ? Научился ли ты понимать, что приказъ—это не Минерва, вдругъ вышедшая изъ головы Юпитера, какимъ ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное съ цѣпью другихъ звеньевъ, съ логическою цѣпью причины и послѣдствія?

Иному благожелательному человѣку—воображеніе представляетъ картину благодѣяній: ему такъ хочется творить добро и служить орудіемъ добра. Увы! для того, чтобъ умѣть дѣлать добро—мало быть добрымъ человѣкомъ. И тотъ, кто благодѣтельствуетъ, по Евангельской заповѣди, *изъ своего* имущества, и тотъ наконецъ удостовѣряется собственнымъ опытомъ, что дѣлать добро человѣку—добро, въ истинномъ значеніи этого слова,—очень мудреная и тягостная наука. Во сколько разъ труднѣе она, когда приходится творить добро *изъ фонда власти,* которою облеченъ человѣкъ. Хорошо, когда, думая о себѣ и о своей власти, онъ ни на минуту не забываетъ, что власть принадлежитъ ему ради общественнаго блага и для дѣла государственнаго; что въ сферѣ его властнаго дѣйствованія запасъ данной ему силы не можетъ и не долженъ обращаться въ *рогъ изобилія,* изъ котораго сыплются во всѣ стороны щедрые дары, многообразныя награды, и что данное ему отъ го-

сударства право судить о достоинствѣ лицъ, о правотѣ дѣлъ и о нуждахъ требующихъ помощи и содѣйствія, не можетъ и не должно превращаться въ рукахъ его въ *право патронатства*.

Но соблазнъ великъ—и для добраго и,—прибавимъ, для тщеславнаго человѣка,—а оба эти качества не рѣдко соединяются:—какъ сладко быть патрономъ, встрѣчать со всѣхъ сторонъ привѣтливые и благодарные взгляды! Увлеченіе этою слабостью можетъ довести власть до крайняго разслабленія, до смѣшенія достоинства и способности съ тупостью и низостью побужденій, до развращенія подчиненныхъ общею погонею за мѣстами, общею похотью къ почестямъ, наградамъ и денежнымъ раздачамъ.

Первый законъ власти: „*мѣрило праведное*“. Оно даетъ силу судить каждаго по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и не свыше его мѣры. Оно научаетъ соблюдать достоинство человѣческое въ себѣ и въ другихъ, и различать порокъ, котораго терпѣть нельзя, отъ слабости человѣческой, требующей снисхожденія и заботы. Оно держитъ власть на высотѣ ея призванія, побуждая вдумываться и въ людей и въ дѣла имъ порученныя. Оно даетъ крѣпость велѣнью, исходящему отъ власти, и властному слову присвоиваетъ творческую силу. Кто утратилъ это мѣрило своимъ равнодушіемъ и лѣностью, тотъ забылъ, что творитъ дѣло *Божіе*, и творитъ его *съ небреженіемъ*.

Изъ Карлейля.

I.

Дѣтство.

Счастливая пора дѣтства! Благодатная природа, всѣмъ ты добрая мать; и вотъ, юному своему питомцу приготовила ты уютное гнѣздо любви и надежды безконечной, и тутъ выростаетъ онъ и дремлетъ, убаюкиваемый сладкими снами! Подъ кровомъ родительскимъ пріютъ нашъ и наша ограда; тутъ отецъ—и пророкъ, и священникъ, и царь нашъ, и въ послушаніи находимъ мы свободу. Юный духъ только что возникъ изъ вѣчности и не знаетъ еще того, что зовется у насъ *временемъ:* время для него покуда не потокъ быстро текущій, а веселый, ярко блестящій на солнцѣ океанъ; годы—что вѣка для ребенка,—ему еще невѣдомы тайны горькой заботы, тайны то быстраго, то медленнаго стремленія несущейся куда-то вселенной,—и вотъ, въ этомъ неподвижно пребывающемъ мірѣ вкушаетъ онъ то, чего на вѣки лишены мы въ кипучемъ водоворотѣ нашего міра—вкушаетъ сладость—*покоя.* Спи, почивай покуда, милое

дитя!—впереди, и уже не далеко, ждетъ тебя долгій и тяжкій путь твой. Еще немного,—и сонъ твой кончится,—и самые сны твои станутъ отраженіемъ жизненной борьбы, и понятно будетъ тебѣ слово стараго мудреца: „Какой покой! Будетъ еще цѣлая вѣчность—покопться“.

Небесный нектаръ сладкаго забвенія! Пирръ можетъ покорить вселенную, Александръ—разорить цѣлый міръ—и они тебя не добудутъ;—но вотъ ты, самъ собою, тихо сходишь на уста и на очи и на сердце всякаго младенца, сына своей матери. И сонъ и пробужденіе для него—едино! Прекрасный Эдемъ жизни убаюкиваетъ его, не переставая, шелестомъ своихъ листьевъ, и вокругъ него всюду ароматъ росы небесной и роскошный цвѣтъ надежды...

II.

Простое правило жизни.

Убѣжденіе, какое бы ни было чистое и возвышенное, ничего не значитъ, если не обращается въ жизнь самымъ дѣломъ. И до тѣхъ поръ нельзя даже признать дѣйствительность убѣжденія, ибо одно разсудочное мнѣніе—по природѣ своей—безгранично, безформенно, пучина посреди множества пучинъ: одна лишь несомнѣнная достовѣрность опыта приводитъ его сознательно къ средоточію, около коего, обращаясь, образуется оно въ систему. Есть истинное слово мудреца: „Всякое сомнѣніе однимъ только устраняется—*дѣйствіемъ*“. Итакъ, если кто изнываетъ болѣзненно въ тускломъ мерцаніи невѣрнаго свѣта и молитъ изъ глубины душевной о томъ, чтобы свѣтъ дневной озарилъ его изъ потемокъ, пусть приметъ къ сердцу другое, без-

цѣнное и спасительное правило: „дѣлай дѣло, которое всего тебѣ ближе, и въ которомъ самый ближній *долгъ* твой". Дѣлай его—за нимъ объявится другой, послѣдующій долгъ, и все станетъ ясно.

III.

Воспитаніе.

Какія бы ни были училища и семинаріи для образованія людей къ дѣятельности, какіе бы ни были курсы учительства, проповѣдничества, миссіонерства, для всѣхъ одно правило:—пріучать молодыя души, чтобы умѣли приказывать и умѣли повиноваться. Мудрость приказанія, мудрость послушанія, способность къ тому и другому—вотъ истинная, вѣрная мѣра культуры и доблести человѣческой—для каждаго, кто бы онъ ни былъ: всякое добро—въ обладаніи этими обоими качествами; всякое зло, всякая неудача и пагуба въ отсутствіи этихъ качествъ. Кто умѣетъ приказывать и повиноваться—тотъ годный человѣкъ; кто не умѣетъ, тотъ негодный. Если наши учителя, наши проповѣдники въ своихъ семинаріяхъ, академіяхъ, соборахъ, воспитываютъ людей для этихъ качествъ, вѣрно будетъ ихъ слово, право и дѣйственно; если нѣтъ,—то нѣтъ въ немъ правды.

IV.

Дѣло.

Смотри и вдумывайся, какое дѣло ты, ты именно, можешь дѣлать: первая задача для каждаго человѣка—найти для себя, какое дѣло можетъ онъ дѣлать въ этомъ мірѣ.

Для этого самаго раждается всякій человѣкъ—и сегодня, и во всѣ времена. Онъ раждается для того, чтобы всю силу, какую далъ ему Всевышній Богъ, употребить на то дѣло, на которое онъ способенъ: стоять на немъ до послѣдняго издыханія и дѣлать его какъ можно лучше. Всѣ мы къ этому призваны—и за то всѣмъ намъ вѣрная награда, если заслужимъ,—награда въ томъ, что мы сдѣлали свое дѣло или по крайней мѣрѣ всячески старались сдѣлать. Это—само по себѣ великое благо, и можно сказать, лучшей награды нечего намъ ждать на этомъ свѣтѣ. „Имуще пищу и одѣяніе, сими довольны будемъ“, а затѣмъ не все ли равно, что ты издержалъ на это—семьдесятъ ли тысячъ, семь ли милліоновъ или семь сотъ! Въ сущности, для мудрой души, разница не велика.

Главное счастье, какого можетъ желать себѣ мудрый человѣкъ—счастье имѣть дѣло на рукахъ и сдѣлать его. „Нечего ѣсть“—плачетъ человѣкъ, но первый плачъ его такой: „нечего дѣлать“. Несчастье человѣку въ томъ, что дѣлать не можетъ, не можетъ совершить судьбу свою человѣческую. Быстро пролетаетъ день, быстро жизнь пролетаетъ—ночь подходитъ, ночь, *въ нюже никтоже можетъ дѣлати*.

Что ты дѣлалъ, человѣкъ, какъ ты дѣлалъ? Счастье твое, несчастье твое,—вѣдь, это было твое *жалованье*—и все его ты истратилъ на житье свое—ни копѣйки не осталось. А дѣло-то, дѣло? Гдѣ оно у тебя?

И когда бы не былъ человѣкъ такимъ голоднымъ скитальцемъ—не сталъ бы плакаться на свое жалованье, плакался бы скорѣе на себя, что онъ сдѣлалъ съ своимъ жалованьемъ.

V.

Религія.

Церковный обрядъ—это одежда, форма, въ которой люди въ разныя времена воплощали для себя *религіозное начало,* выражали *идею Божественнаго* въ мірѣ, облекая ее въ живое и дѣйственное тѣло, чтобы она могла обитать между нами, облекая *словомъ,* живымъ и животворящимъ.

И выразить нельзя, что значитъ для человѣчества *это одѣяніе* жизни, важнѣе и необходимѣе всѣхъ одеждъ и украшеній жизни человѣческой. Соткано и сработано оно—*обществомъ:* только тамъ, гдѣ „собраны двое или трое", только тамъ религія, таящаяся въ духѣ, неистребимо, у каждаго, является во внѣшнемъ выраженіи и стремится воплотить себя въ видимомъ общеніи воинствующей церкви. Таинственно и чудодѣйственно это общеніе одной души съ другою—въ стремленіи къ небу: только въ этомъ стремленіи, а не въ стремленіи книзу, къ землѣ, становится союзъ взаимной любви, образуется общество. Взглянетъ человѣкъ въ лицо брату, встрѣтитъ взглядъ его—ласковый, привѣтливый, любовный—или распаленный гнѣвомъ и ненавистью,—и вотъ душа, дотолѣ спокойная, невольно сама загорается тѣмъ же огнемъ, и отражаясь отъ одного къ другому, огонь выростаетъ въ безпредѣльное пламя—либо пылкой любви, либо смертельной ненависти: вотъ какая чудесная сила течетъ отъ человѣка къ человѣку. И если такъ дѣйствуетъ эта сила на тѣсныхъ путяхъ земной нашей жизни,—каково должно быть ея дѣйствіе въ стремленіяхъ къ жизни небесной, когда одна душа входитъ въ общеніе съ другою душою въ самой глубинѣ своего внутренняго *я.*

VI.

Безсознательное.

Здоровые не думаютъ о здоровьи: думаютъ объ немъ больные: это афоризмъ медицинскій, но примѣненіе его много обширнѣе медицинской сферы—не въ одной тѣлесной терапевтикѣ, но и въ нравственной, и въ умственной, и въ политической, и въ литературной. На этой пробѣ всѣ жизненныя силы испытываются.

Всѣ врачи согласны въ томъ, что нужно для здоровья: нужно, чтобы каждый органъ совершалъ свои отправленія просто, безсознательно. Стоитъ одному какому нибудь органу заявить отдѣльное свое существованіе, выказаться, хотя бы для удовольствія, и уже завязывается въ тѣлѣ особый узелъ ощущенія—и начинается разстройство. Верхъ благосостоянія тѣлеснаго тогда, когда совокупная дѣятельность всѣхъ органовъ является единою, цѣльною: человѣкъ здоровъ самъ по себѣ „безъ системы.“ Единство, согласіе всегда безмолвно или тихо выражается: напротивъ того раздоръ громко возвѣщаетъ о себѣ. Самое понятіе о здоровьи на иныхъ языкахъ выражается словомъ означающимъ единство, и когда мы чувствуемъ себя совсѣмъ *по себѣ*, чувствуемъ себя *цѣлыми* (на славянскомъ языкѣ *цѣлый* значитъ *здоровый*).

Кто изъ насъ столь счастливъ, что живетъ цѣльно „безъ системы“? Многіе, обращаясь мыслію къ своей юности, вспомнятъ, какое было время—свѣта, чистаго воздуха, легкости и совершенной свободы: тѣло не стало еще темницею для души, было лишь сосудомъ ея и дополненіемъ. Мы не думали о своихъ членахъ, а только двигались, голосили и бѣгали; и въ уши намъ и въ глаза, и во всѣ открытые пути чувствъ, неслись въ насъ извнѣ ясные звуки, слухи и

вѣсти, а изъ насъ самихъ выходила наружу бодрая, могучая сила; мы стояли какъ бы въ средоточіи природы, раздавая всюду и принимая отовсюду, въ гармоніи со всею природой. Не такъ какъ земледѣльцы у Виргилія „мы были слишкомъ счастливы *потому* именно, что не вѣдали своего блаженства". Все существо наше было единое, весь человѣкъ—воплощенная воля.

Такова могла бы быть и дальше жизнь наша, если бы покой или счастливый трудъ могъ быть достояніемъ человѣчества; жизнь была бы чистою, непрерывною гармоніей звуковъ, сіяніемъ бѣлаго свѣта, все намъ освѣщающаго, а намъ самимъ невидимаго, свѣта безъ всякаго преломленія лучей въ цвѣта и краски. Начало всякаго изслѣдованія уже болѣзненно: всякая наука, если вдуматься въ нее,—должна родиться отъ сознанія чего то невѣрнаго, порченнаго, и въ ней непремѣнно есть раздѣленіе, раздробленіе, частное исправленіе какого то частнаго зла. Такъ, по древнему писанію, древо познанія выростаетъ на корнѣ зла и приноситъ плоды и добрые и злые.

Увы! память о первомъ состояніи свободы и райской безсознательности стала идеальнымъ поэтическимъ сномъ, и мы стоимъ въ мірѣ, исполненные сознанія о многомъ. и знаніе—признакъ разстройства—побуждаетъ насъ стремиться изо всѣхъ силъ къ устройству порядка. Кое когда, въ рѣдкихъ случаяхъ, слышится намъ небесная мелодія, но всего чаще жизнь проходитъ въ борьбѣ, въ ломкѣ, въ порывистыхъ движеніяхъ. Жизнь дана намъ для жизненной дѣятельности, для видимѣющейся вдали внѣшней цѣли—и для нея то природа снабдила насъ разумомъ и волею. Но та же природа такъ устроила, что дѣйствуетъ въ насъ и чрезъ насъ—безсознательное. Какъ ни безгранична область человѣческой дѣятельности,—одна лишь малая и отрывочная часть ея

управляется сознаніемъ и предвидѣніемъ: что можетъ изобрѣсть человѣкъ, что можетъ онъ знать и уразумѣть,—все это въ существѣ только механическое и малое, а *великое*, существенно жизненное—таинственно, и только поверхность его подлежитъ разумѣнію. Но природа, подобно заботливой матери, укрываетъ отъ насъ даже то—что она есть таинство; мы покоимся на прекрасномъ и страшномъ ея лонѣ, какъ будто въ безопасномъ домѣ; мы ходимъ поверхъ бездны, на которой такъ дивно и такъ страшно висятъ всѣ дѣла и событія человѣческія, ходимъ и строимъ на ней, какъ будто на ней держитъ насъ не тонкая нить, а скала непоколебимая. Возлѣ, близко, неизбѣжная смерть, и въ такомъ сосѣдствѣ съ нею человѣкъ можетъ забыть, что онъ рожденъ для смерти. О самой жизни своей, которая по истинѣ содержитъ въ себѣ безконечность и вѣчность, человѣкъ легкомысленно можетъ представлять себѣ, что она дана ему просто для дневного труда и пропитанія. Такъ искусно природа, мать всякаго совершеннаго искуства—(которое лишь издали можетъ подражать ей) изводитъ конечное изъ безконечнаго и надежно ведетъ человѣка по дивному пути его, посылая ему не столько даръ видѣнія, сколько—даръ слѣпоты, тамъ гдѣ нужно. Въ глубокомъ основаніи всѣхъ ея даровъ, изъ коихъ драгоцѣннѣйшій—жизнь, лежитъ *мракъ*, благодѣтельно отъ насъ сокрытый. Въ самой жизни—корни и внутреннія пути ея, простирающіеся до страшной области смерти и ночи, лежатъ въ глубинѣ неощутимо, но прелестный стебель жизни, покрытый цвѣтами и листьями, красуясь подъ солнцемъ, растетъ и видимъ.

То же самое—въ мірѣ духовномъ. Духъ, по истинѣ крѣпкій и могучій—и умомъ и нравственностью—не сознаетъ своей силы: и тутъ, какъ въ мірѣ физическомъ, признакъ здоровья—безсознательность. И во внутреннемъ, равно какъ

во внѣшнемъ мірѣ, открыто для насъ только механическое,—все динамическое и существенно жизненное—закрыто. Въ области мысли—развѣ только что на поверхности—можемъ мы выразить опредѣлительно: наверху—сфера аргументаціи и сознательныхъ разсужденій—но подъ нею область созерцанія мыслепнаго,—и тутъ, въ таинственной глубинѣ пребываетъ сущность нашей жизненной силы—тутъ зачинается и растетъ всякое *созданіе;* а въ той сферѣ лишь составленіе, выдѣлываніе, распространеніе мысли. Все выдѣлываемое—понятно, но низменно; создаваемое—велико и выше понятія. Риторъ, адвокатъ, какъ бы ни былъ искусенъ — изъ послѣднихъ въ ряду истинныхъ мыслителей—онъ знаетъ—что̀ можетъ сдѣлать и какъ достигъ этого. А художникъ—не знаетъ—въ немъ дѣйствуетъ вдохновеніе. Въ поэтѣ, въ ораторѣ, въ изслѣдователѣ истинная сила есть, сила безсознательная. Истинное, здравое разумѣніе не есть разумѣніе логическое, доказательное, но—*прозрѣвательное* (intuitive), ибо цѣль разумѣнія состоитъ не въ томъ, чтобы доказать и найти причины:—но въ томъ, чтобы знать и вѣровать.

То же самое—въ сферѣ нравственности. Сказано: „пусть лѣвая рука твоя не знаетъ, что дѣлаетъ правая.“ Не шепчи въ сердцѣ своемъ: какъ хорошо, что̀ я сдѣлалъ—съ этой минуты дѣло твое потеряло всю цѣну. Добрый человѣкъ тотъ, кто дѣлаетъ добро постоянно, для кого добродѣтель—состояніе естественное, не возбуждающее удивленія, не требующее комментаріевъ.—Самосозерцаніе—несомнѣнно симптомъ болѣзненный, даже при сознаніи болѣзни и желаніи исцѣленія.—Нездоровая та добродѣтель, что истощается въ смущеніи и въ сознаніи своей грѣховности, или, еще того хуже, надувается самоуслажденіемъ и тщеславіемъ: въ томъ и другомъ случаѣ это — искаше своего; безполезное оглядываньe пройденнаго пути, тогда какъ надо смотрѣть лишь впередъ

и идти не останавливаясь. Въ нравственной сферѣ особенно, какъ самой внутренней, самой жизненной, требуется цѣльность, и признакъ цѣльности—безсознательность.

Геній нравственности, равно какъ и низшій геній ума—тайна для себя самого. Здравая нравственная натура любитъ добро и вся живетъ въ добрѣ—безъ изумленія предъ нимъ. Нездравая—влюбляется въ добро и пытается жить въ немъ, или, разувѣрившись въ своемъ ухаживаньи за нимъ, обращается вспять и покидаетъ его не безъ презрѣнія. Удивительны—въ душѣ человѣческой эти отношенія произвольнаго и сознательнаго къ непроизвольному и безсознательному; но такъ сотворены мы, и такова наша природа. И въ какомъ бы смыслѣ ни представлялось намъ жизненное бытіе каждаго смертнаго,—въ высшемъ ли духовномъ или въ животномъ физическомъ, несомнѣнно, что въ здравомъ его состояніи, основная жизненная его энергія—есть *невидимая* и *безсознательная*. Иначе сказать словами приведеннаго уже афоризма: „здоровые не думаютъ о здоровьи—думаютъ о немъ больные.“

Гладстонъ объ основахъ вѣры и невѣрія.

(The Impregnable Rock of Holy Scripture)

Невѣріе ссылается на заблужденіе, на невнимательность, на несостоятельность въ людяхъ вѣрующихъ: правда,—и это служитъ тяжкимъ затрудненіемъ къ укрѣпленію вѣры.

Когда, увлекаясь идеей о благодати и милости Божіей, мы забываемъ неизмѣнную Его правду и правосудіе; когда, прославляя несказанное Его милосердіе въ оставленіи грѣховъ, опускаемъ то, что̀ состоитъ въ неразрывной связи съ прощеніемъ—глубокое проникающее дѣйствіе его на прощенную душу,—то этимъ уже однимъ мы создаемъ для всей системы христіанскаго ученія опасности—больше тѣхъ, какія создаются его врагами. Но еще того хуже. Еще хуже, когда вѣрующій во Христа держитъ Его ученіе, не думая осуществлять его въ своей жизни;—а хуже всего, если, держась ученія, онъ не только увлекается въ обыкновенныя слабости или излишества человѣческой природы, но презираетъ или пренебрегаетъ такія основныя начала естественной нравственности, противъ коихъ самый порокъ рѣдко осмѣливается спорить. Учрежденіе семейнаго союза, нравствен-

ная связь между членами семьи, природа мужчины и женщины, отношеніе каждаго человѣка къ душѣ своей, которая ввѣрена ему Богомъ, чтобы познавалъ ее, чтилъ ее, очищалъ и святилъ ее: все это установлено законами самыми древними, самыми коренными, самыми священными. Всякій прогрессъ повѣряется и испытывается сообразностью съ этими нерушимыми, хотя и неписанными, уставами: по этой мѣрѣ можемъ распознать, дѣйствительный ли это прогрессъ или обманчивый, ложный, и самое христіанство не было бы христіанствомъ, если бы способно было колебать эти священные уставы.

Переходимъ къ отрицателямъ вѣры. Отрицаніе признаетъ своимъ источникомъ исключительно—*разумъ;* это вѣрно лишь отчасти. Говорятъ, напримѣръ, о причинахъ невѣрія, что такіе догматы, какъ троичность, воплощеніе. таинства, страшный судъ—оказываются положительно невыносимы для просвѣщенной мысли современнаго человѣчества. Меня же все приводитъ къ убѣжденію, что главная причина, содѣйствовавшая возрастанію въ наше время отрицательныхъ ученій.—не интеллектуальная, а нравственная, и что ее слѣдуетъ искать въ возрастающемъ преобладаніи матеріальнаго и чувственнаго надъ сверхчувственнымъ и духовнымъ.

Пожалуй, такому мнѣнію могутъ приписать ненавистный характеръ, назвать его фарисействомъ, въ худшемъ значеніи этого слова; могутъ истолковать его въ такомъ смыслѣ, будто отъ силы и твердости догматическихъ положеній зависитъ у каждаго отдѣльнаго лица и возвышенность нравственнаго характера. Такое мнѣніе было бы совсѣмъ невѣрно и противорѣчило бы ежедневному опыту жизни. Я имѣю въ виду совсѣмъ иное. Я говорю о томъ, что относится не до того или другого человѣка въ отдѣльности,

но до всѣхъ насъ. Мы совершенно измѣнили мѣру нуждъ и потребностей; мы размножили чрезвычайно желанія свои и похоти; мы установили для себя новыя соціальныя преданія, преданія, которыя безсознательно образуютъ и руководствуютъ насъ, независимо отъ предварительнаго сознанія и выбора. Мы создали новую атмосферу, которою дышемъ, такъ что дѣйствіемъ ея и входящихъ въ нее элементовъ безсознательно преобразуется весь нашъ составъ. Это не значитъ, что насъ создаетъ окружающая среда, такъ какъ въ насъ есть сила размышленія и разсужденія. Но этою силой мы мало пользуемся, мало приводимъ ее въ дѣйствіе, такъ что окружающая насъ атмосфера, данная мѣра жизни, воспринимается нами естественно, безъ разсужденія: съ этимъ запасомъ каждый изъ насъ предпринимаетъ свое странствованіе въ мірѣ, и онъ руководствуетъ жизнь нашу, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, когда—грубый видъ порока съ одной стороны, или видъ христіанскаго подвига съ другой стороны, побуждаютъ насъ избрать для себя особливую мѣру жизни и дѣятельности. Но и то и другое совершается въ кругу принятаго мнѣнія, такъ что одно мѣшается съ другимъ. и, глядя на людей въ образѣ жизни ихъ и поведенія, приходится видѣть людей высокой добродѣтели съ малою вѣрой, и людей крѣпкой вѣры, но плохой добродѣтели. Такъ, въ сферѣ общественнаго мнѣнія, можетъ казаться, что и свобода, и правда одинаково сходятся и съ право вѣрующими, и съ невѣрными.

Главная причина этой поразительной, даже страшной, несообразности, заключается, безъ сомнѣнія, въ томъ, что къ каждому изъ насъ лично вѣра пришла не путемъ борьбы, жертвы, крѣпкаго убѣжденія,—но пришла, какъ все почти, что мы имѣемъ, легкимъ способомъ,—по рожденію и наслѣдству, черезъ другихъ, а не отъ себя самихъ,—какъ дѣло

естественное, а не какъ дѣло выбора и усилія,—такъ что и сидитъ оно на насъ, какъ внѣшняя одежда, а не проницаетъ насъ, какъ начало и сила дѣйственная.

Но, съ другой стороны, неоспоримо вѣрно, что господственное преданіе въ атмосферѣ нашей есть преданіе христіанское. Имъ однимъ содѣлано возможнымъ то, что безъ него осталось бы недостижимо. Оно одно, это преданіе, тихо и неощутительно вноситъ во многія души и характеры, не только у вѣрующихъ, но и у невѣрующихъ людей, идеи о добродѣтели, самоотверженіи и филантропіи, вмѣстѣ съ силой сообразнаго дѣйствованія. Многіе люди, не отрицающіе христіанской вѣры, не знаютъ сами, гдѣ, когда и какъ научились они ея держаться; точно также многіе, отступившіе отъ христіанской вѣры, не сознаютъ, что самое высокое въ мысли ихъ, въ духовной природѣ и въ дѣйствіи—плодъ христіанства. Что значитъ новоизобрѣтенное слово *альтруизмъ?* По своему значенію—это просто вторая великая заповѣдь христіанскаго закона, „подобная первой“. По формѣ—это маска, прикрывающая мысль заимствованную, такъ что иные и не догадаются, гдѣ ея истинный источникъ. И совершился этотъ подлогъ не съ пониманіемъ, а безсознательно. * Въ нашемъ достояніи—кодексъ христіанской нравственности, коимъ постепенно про-

* Кстати при этомъ замѣтить, что у насъ по привычкѣ орудовать новыми иностранными словами, вошло уже въ неразумное употребленіе и это слово „альтруизмъ“, и ставится, какъ попало, даже въ примѣненіи къ любви христіанской. При водворившейся распущенности слова, орудуютъ этимъ терминомъ и молодые духовные писатели, что уже совсѣмъ непростительно. Его почерпаютъ изъ чтенія новыхъ философскихъ сочиненій (Спенсеръ и т. п.), переведенныхъ на русскій языкъ; но нельзя забывать, изъ какого источника происходитъ и съ какою системою мышленія связанъ этотъ терминъ, совсѣмъ неприложимый къ понятію о любви христіанской.

пиклись наши учрежденія и обычаи, и онъ такъ слился съ обычною нашею жизнью, что затмилась самая память о божественномъ его происхожденіи, какъ будто это законное наслѣдіе, утвержденное за нами давностью. Мы поймемъ, что̀ сдѣлало для насъ христіанское преданіе, когда присмотримся къ нравственному кодексу у тѣхъ народовъ, кои не имѣли этого преданія. Сто́итъ указать на примѣръ Грековъ въ пятомъ столѣтіи до Р. Х. или Римлянъ въ эпоху Р. Х.: у тѣхъ и у другихъ увидимъ поразительный упадокъ нравственности, хотя въ то же время поражаетъ насъ блестящее интеллектуальное развитіе у однихъ, а у другихъ превосходство организаторскаго политическаго генія.

Въ нашъ вѣкъ мы видимъ передъ собою усилившееся господство видимыхъ вещей и, по мѣрѣ того, умаляющееся значеніе вещей невидимыхъ. Въ теченіе всей исторіи человѣчества невидимое и, неразлучное съ нимъ, сознаніе будущей жизни было въ постоянномъ состязаніи съ вещами видимаго міра.

Текущая половина нынѣшняго столѣтія рѣзко отличается отъ всѣхъ прошедшихъ вѣковъ исторической жизни человѣчества, въ двухъ отношеніяхъ: никогда не бывало такого размноженія богатства и вмѣстѣ съ тѣмъ размноженія наслажденій, богатствомъ доставляемыхъ: то и другое— явленія отдѣльныя, но совмѣстныя и нравственно между собою связанныя... Очевидно, до математической достовѣрности, что усилившееся дѣйствіе всякой мірской прелести разстраиваетъ равновѣсіе бытія нашего, доколѣ не будетъ уравновѣшено усиленнымъ дѣйствіемъ духовныхъ влеченій и стремленій. Откуда же возьмутся эти духовныя силы? Страшно признаться, что въ тѣхъ сферахъ, которыя доступны нашему взору, не видно такого приращенія духовныхъ идей и побужденій, которыя могли бы служить перевѣсомъ усиливающимся мірскимъ похотямъ и стремленіямъ. А когда

міръ невидимый и сродныя съ нимъ идеи утрачиваютъ свою притягательную силу,—то вмѣстѣ съ симъ, и непремѣнно, и вѣрованія, принадлежащія къ этой сферѣ невидимыхъ соотношеній, тускнѣютъ, и привлекательная сила ихъ ослабляется. Матеріализмъ, какъ положительная система, не думаю, чтобы пріобрѣталъ господственное значеніе; эта система, по своей конструкціи, литена, по мнѣнію моему, той интеллектуальной силы, какая нужна для цѣльнаго ученія. Но совсѣмъ иное дѣло—безмолвное, тайное, безсознательное дѣйствіе матеріализма: сила его громадная. Помнится, Максъ Миллеръ сказалъ, что безъ языка невозможно мышленіе,—и это вѣрно въ отношеніи ко всякому мышленію, организованному и сознательному. Но въ природѣ человѣческой таится множество неразвитыхъ, зачаточныхъ силъ, впечатлѣній, извнѣ воспринимаемыхъ и падающихъ на сродную почву внутри: все это никогда не выростаетъ до зрѣлости, не выливается въ членораздѣльную рѣчь и не получаетъ опредѣленнаго вида въ нашемъ сознаніи.

И вотъ, я думаю, что въ настоящую минуту эти не высказанныя и не испытанныя движенія—не столько ума, сколько похоти, или, если легче выразиться, наклонности, всѣ эти—не мысли, а обрывки мыслей,—дѣйствуютъ около насъ и въ насъ; и, еслибы можно было перевести ихъ на языкъ и выразить въ словѣ, они сложились бы въ извѣстное, издревле во всѣхъ вѣкахъ бывшее, вульгарное представленіе о томъ, что—въ концѣ-концовъ—видимый міръ есть одно, что мы извѣстно знаемъ, и что всякое дѣло, стоющее труда, всякая забота, стоющая попеченія, всякая радость, имѣющая цѣну въ этомъ мірѣ,—въ немъ начинаются и съ нимъ же для насъ кончаются... Мы знаемъ, какъ сильны низшія наклонности человѣческой природы, и совершенно естественно, что, кому улыбается мірская жизнь, у того, слишкомъ часто,

на ряду съ возрастающимъ тяготѣніемъ къ земному центру, незамѣтно поражаются безсиліемъ стремленія къ внутренней жизни. И понятно, что при этомъ пораженіи духовныхъ стремленій, къ душѣ легче и удобнѣе прилажается все то, чѣмъ подрывается авторитетъ слова Божія, или великихъ христіанскихъ преданій, все то, чѣмъ, въ разныхъ путяхъ, отстраняется, ослѣпляется ощущеніе присутствія Божія, заглушаются упреки внутренняго голоса совѣсти. Итакъ, напрасно искать корень зла въ наукѣ, дѣйствительной или мнимой, даже въ заблужденіяхъ и невѣрностяхъ вѣрующихъ людей, на которыя неправо ссылается невѣріе. Нѣтъ, не то: возрастающая въ насъ сила чувственныхъ и мірскихъ влеченій и побужденій,—вотъ что даетъ невидимаго союзника всякому аргументу сомнѣнія и невѣрія, чего-бы онъ въ существѣ ни стоилъ; вотъ что пріобрѣтаетъ массу учениковъ отрицательнымъ ученіямъ. Человѣкъ воображаетъ, что, давая волю сомнѣнію, онъ слѣдуетъ изысканію истины, а въ сущности онъ только мирволитъ низшимъ наклонностямъ своей природы; имъ уже овладѣли онѣ, а онъ еще усиливаетъ ихъ, допуская новыхъ имъ союзниковъ безъ всякой повѣрки титула ихъ и права. Идеи, въ основаніи своемъ слабыя, подталкиваются наклонностью, которая непремѣнно сильна. Итакъ въ душѣ зачинается будто тайный заговоръ, и выѣзжаютъ въ ней на бой два витязя, одинъ съ открытымъ лицомъ, а другой съ опущеннымъ забраломъ.

Христіанская вѣра порождаетъ христіанское преданіе, образуя идеи и образъ жизни и поведенія. Люди не отрицаютъ самыя правила этого преданія—отрицаютъ лишь источникъ происхожденія правилъ. Является сначала великій мыслитель, человѣкъ высокой нравственности: онъ благочестивъ и проповѣдуетъ благочестіе,—но не признаетъ догмата. Другой дѣятель, слѣдующій за нимъ, идетъ на томъ же

полѣ еще далѣе —восхваляетъ нравственность, отвергая благочестіе. А противу-нравственная, противу-духовная сила, во всѣхъ насъ скрытно-дѣйствующая, обольщаясь видомъ добра, подъ коимъ таится начало разрушенія,—помогаетъ относиться снисходительно къ новой проповѣди и даже пѣть хвалу ей хоромъ. Аргументъ скептической мысли въ дѣйствительности не что иное, какъ прививокъ, получившій жизнь и силу отъ мощнаго и крѣпкаго дерева, къ которому привитъ.

Итакъ, по моему мнѣнію, несомнительно, что главною причиной, почему скептицизмъ въ наше время получилъ такое распространеніе и такую силу, служитъ чрезвычайное развитіе мірскихъ силъ и побужденій внутри насъ и въ средѣ нашей. Но это относится не столько къ офицерамъ и солдатамъ арміи, къ людямъ, серьезною работой мысли изслѣдующимъ предметы, надъ коими сами они тяжко задумываются,—сколько къ массѣ, которая безъ труда присоединяется къ хору послѣдователей новыхъ ученій. Мнѣнія свои человѣкъ отчасти составляетъ самъ и отчасти заимствуетъ изъ окружающей среды. Мыслящій человѣкъ самъ въ себѣ ихъ вырабатываетъ,—хотя и на него дѣйствуютъ скрытыя вліянія, безсознательно; немыслящій черпаетъ ихъ изъ окружающей среды, или вполнѣ или большею частію. А среда,—какъ всякому извѣстно,—вмѣщаетъ въ себѣ идоловъ, образы, тѣни и привидѣнія преходящаго дня.

Но я долженъ оговориться. Мои замѣчанія имѣютъ въ виду особливое и, можетъ-быть, безпримѣрное донынѣ состояніе, въ коемъ множество людей подвергаютъ сомнѣнію основанія нашей вѣры и авторитетъ священныхъ книгъ нашихъ, не испытывая ни благовременности столь серьезнаго дѣла, ни своей къ нему способности. Во всѣхъ другихъ предметахъ требуется, чтобы человѣкъ имѣлъ

знаніе или показалъ бы его, но въ дѣлахъ вѣры ничего того не требуется, а всякій предполагается знающимъ.

Христіанская вѣра воспринимается сердечнымъ сочувствіемъ и согласіемъ: сердцемъ вѣруется. Съ другой стороны, всякій человѣкъ, въ какомъ бы ни былъ положеніи, основываетъ, разумно, даже необходимо основываетъ дѣйствія и событія своей жизни, главнымъ образомъ, на вѣрѣ; безъ сомнѣнія на свободной и разумной, но все-таки на *вѣрѣ*,— иногда на преданіяхъ рода своего и племени. Всякій, кто занимаетъ отвѣтственное положеніе въ этомъ мірѣ, большое или малое, сознательно или безсознательно, дѣйствуя за себя, въ то же время дѣйствуетъ для другихъ; для другихъ и вмѣсто другихъ пріобрѣтаетъ и испытываетъ убѣжденія, повѣряетъ матеріальные факты, имѣющіе значеніе для человѣческой жизни,—такія убѣжденія и представленія, которыя не всякій человѣкъ, по условіямъ своей жизни, можетъ установить и испытать самолично. Лучше, конечно, еслибъ каждый могъ это исполнить для себя, самостоятельно,— но не у всякаго есть для этого и случай, и способность. А гдѣ того и другого нѣтъ,—что слишкомъ часто случается,— тамъ не слѣдуетъ человѣку обманывать себя, будто онъ съ чужихъ словъ пріобрѣлъ себѣ свое убѣжденіе.

Но не подлежитъ сомнѣнію, что въ наше время, едва ли не больше, чѣмъ прежде, множество мужчинъ и женщинъ, безо всякой способности и безо всякой для себя нужды, подвергаютъ сомнѣнію вѣру, которой, по старому преданію, держались. Для нѣкоторыхъ изъ насъ, по расположенію и образованію ума, по свойству званія, по роду занятій, представляется и разумнымъ, и даже необходимымъ—подвергать изслѣдованію великое историческое откровеніе, въ исторической обстановкѣ и въ его отношеніяхъ къ характеру и состоянію человѣка. Этотъ процессъ изслѣдованія самъ по се-

бѣ—дѣло прямое и законное; и мы знаемъ, что дѣйствіе его въ теченіе многихъ вѣковъ на великіе умы приводило вообще къ положительнымъ результатамъ и въ концѣ-концовъ еще усиливало авторитетъ Священнаго Писанія.

Однако, въ примѣненіи къ массѣ людской, разумъ удостовѣряетъ насъ, что всякому человѣку свойственно держаться предапія и предполагать его истиннымъ, покуда нѣтъ серьезнаго основанія усумниться въ немъ. Таково правило здраваго смысла, принятое въ обыкновенной жизни. Въ предметахъ преданія не вѣра, а сомнѣніе должно было бы во всякомъ случаѣ становиться въ защиту и предъявлять свои документы,—хотя бы не въ смыслѣ доказательства, а лишь въ смыслѣ разумнаго вѣроятія. Но неиспытанное сомнѣніе, которому такъ часто удается свить гнѣздо въ умахъ нашихъ,—есть владѣлецъ безъ документа, опасный и незаконный гость. Незамѣтно и помимо всякаго опроса, онъ вдругъ вступаетъ въ роль доказаннаго отрицанія, обезсиливаетъ въ насъ дѣйствованіе, наводитъ тѣнь на чувство долга и на сознаніе присутствія Божія во всѣхъ путяхъ нашихъ, ослабляетъ пульсъ нашего нравственнаго здоровья. Сомнѣніе можетъ освободить, или можетъ поработить насъ; но оно должно быть непремѣнно или другомъ или врагомъ нашимъ: нейтральнымъ оно быть не можетъ. Тѣ сомнѣнія, коихъ испытать нельзя, если дать имъ мѣсто, отражаются и на вѣрѣ нашей, и на поведеніи. А изслѣдованія недостаточныя, мнимыя, служатъ лишь новымъ искушеніемъ на пути долга; если уже предпринимать изслѣдованіе дѣйствительное, то оно должно стать для насъ священнымъ долгомъ. Мнимое изслѣдованіе есть одно лишь обольщеніе; подъ предлогомъ его, мы становимся жертвою предразсудка, моды, наклонности, похоти, лукавыхъ внушеній мірского духа, всяческихъ многообразныхъ искушеній. Каждый человѣкъ призванъ уста-

повить мѣру своего поведенія въ своей сферѣ: задача высокая, но и трудная, столь трудная, что никто не можетъ выполнить ее въ совершенствѣ. Долгъ не обязываетъ насъ дѣлать выводы и заключенія о судьбахъ міра, о свободѣ воли,—тѣмъ менѣе еще, погружаться за этими предѣлами въ глубину и во мракъ размышленій, которыя всѣ сводятся къ одной непроницаемой проблемѣ о существованіи и о дѣйствіи *зла* въ здѣшнемъ мірѣ. Вѣра христіанская и Священное Писаніе вооружаютъ насъ средствами преслѣдовать и отражать приступы зла извнѣ и внутри насъ. Вотъ единственное практическое рѣшеніе задачи. Пусть окутана туманомъ вся страна, окружающая насъ, но нашу дорожку можемъ мы разобрать часъ за часомъ, день за днемъ, шагъ за шагомъ. Умозрительное разсужденіе, если оно безцѣльно, становится самочинно, возвышаясь надъ предметомъ умозрѣнія; а самочинное, гордое умозрѣніе о дѣлахъ, о промышленіяхъ Божіихъ, для людей вѣрующихъ въ Бога, есть само по себѣ грѣхъ. Оставить лежащій на каждомъ изъ насъ долгъ управлять собой и своимъ поведеніемъ, обращая работу ума и сердца на такіе предметы, которые для насъ обязательны, лишь поколику могутъ быть нужны для особливаго дѣла нашего и призванія,—значитъ, въ нравственномъ смыслѣ, убѣгать отъ сытости въ голодъ. Похоже на то, какъ если бы кто, владѣя лишь разбитою посудиной, собирался накормить и напоить изъ нея всѣхъ своихъ сосѣдей.

Но если признать, что никто легкомысленно, не имѣя ни способности, ни духовной нужды, не долженъ вступать въ изслѣдованіе вѣры, и что во всякомъ изслѣдованіи такое сомнѣніе не имѣетъ права требовать доказательствъ отъ самой вѣры,—надобно вмѣстѣ съ тѣмъ помнить, что всякое религіозное изслѣдованіе, хотя оно и возбуждаетъ взаимныя

пререканія, нельзя сравнивать съ процессомъ между равноправными сторонами тяжущихся, или съ битвою двухъ полководцевъ за спорную территорію. Спаситель нашъ Христосъ возбудилъ въ народѣ удивленіе тѣмъ, что, оставляя въ сторонѣ всѣ хитросплетенія и наросты ученій, омрачавшіе образъ вѣры, училъ народъ „яко власть имѣяй, а не яко книжники и фарисеи“,—училъ со властію, то-есть, имѣя право повелительное и силу повелительную. Когда Богъ даровалъ намъ откровеніе воли Своей—и въ законахъ природы нашей, и въ царствѣ благодати, это откровеніе не только просвѣщаетъ насъ, но и повелительно обязываетъ. Справедливо и необходимо, что, подобно вѣрительной грамотѣ земного посланника, и вѣрительная грамота этого откровенія должна быть испытана. Но если, бывъ испытана, она оказывается подлинною, если эта подлинность подтверждается такими же доказательствами, какія въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ жизни обязательно принимаетъ нашъ разумъ,—тогда нельзя уже намъ считать себя самостоятельными судьями, погруженными въ вольное изслѣдованіе; тогда уже мы—служители Владыки, ученики Учителя, дѣти Отца и каждый изъ насъ связанъ узами этихъ отношеній. Тогда уже и глава и колѣна должны преклониться предъ Вѣчнымъ Богомъ, и человѣкъ долженъ обнять Божественную волю и слѣдовать ей всѣмъ сердцемъ, всѣмъ помышленіемъ, всей душой и всею кротостію своею.

Дѣла и дни.

(Emerson, Society and Solitude).

Нашъ девятнадцатый вѣкъ—вѣкъ орудій. Ихъ производитъ изъ себя наша организація. „Человѣкъ—мѣра всѣхъ вещей, говоритъ Аристотель; рука—инструментъ всѣхъ инструментовъ, а разумъ—форма всѣхъ формъ". Тѣло человѣческое—магазинъ изобрѣтеній, кладовая образцовъ, съ которыхъ сняты всевозможные механизмы, какіе только придуманы. Всѣ орудія и машины не что иное, какъ распространеніе членовъ и ощущеній этого тѣла. Человѣка можно опредѣлить такъ: „разумъ со служебными органами". Машина помогаетъ природному ощущенію, но не можетъ замѣнить его. Вся мѣра—въ тѣлѣ. Глазъ ощущаетъ такіе оттѣнки, которые не въ силахъ уловить искуство. Ученикъ не разстается съ аршиномъ, но опытный мастеръ мѣряетъ безъ ошибки пальцемъ и локтемъ, опытный парядчикъ отмѣряетъ шагами аккуратнѣе, чѣмъ иной—веревкой и цѣпью. Степной индѣецъ, бросая камень изъ пращи, знаетъ, что попадетъ какъ разъ въ точку: въ такомъ сочувствіи глазъ у него съ рукою; плотникъ рубитъ бревно свое по насѣченной линіи, ни на волосъ не отступая. Нѣтъ чувства, нѣтъ органа, который нельзя было бы довесть до самаго тонкаго совершенства въ дѣлѣ.

Дивиться—любимое ощущеніе человѣка, и въ этомъ чувствѣ сѣмя нашей науки. Таково механическое напра-

вленіе нашего вѣка, и такъ еще свѣжи лучшія наши изобрѣтенья, что радость и гордость отъ нихъ еще не износились въ насъ, и мы готовы жалѣть отцовъ своихъ, что они не дожили до пара и до гальванизма, до сѣрнаго эѳира и до морскихъ телеграфовъ, до фотографіи и спектроскопа,— какъ будто они бѣднѣе насъ на половину жизни. И кажется намъ, что эти новыя художества открываютъ намъ настежь двери въ будущее, обѣщаютъ одухотворить формою весь матеріальный міръ и возвести жизнь человѣческую изъ нищенства ея въ богоподобное состояніе довольства и силы.

Правда, и нашему вѣку достался не скудный запасъ въ наслѣдство. Былъ уже компасъ, былъ типографскій станокъ, были часы, спиральныя пружины, барометры, телескопы. Но съ тѣхъ поръ прибавилось столько изобрѣтеній, что вся жизнь какъ будто передѣлана заново. Лейбницъ сказалъ о Ньютонѣ: „если счесть все, что сдѣлано математиками съ начала міра до Ньютона, и все, что сдѣлано Ньютономъ, послѣдняя половина превзойдетъ первую“: такъ можно сказать, что сумма изобрѣтеній за послѣднія 50 лѣтъ поравняется съ итогомъ остальныхъ 50 столѣтій. Новость для насъ—безмѣрное усиленіе производства желѣза и крайнее разнообразіе желѣзнаго издѣлія; новость—множество самыхъ употребительныхъ и необходимыхъ орудій для дома и для сельскаго хозяйства; швейная машина, ткацкій станокъ, жатвенная машина Мак-кормика, косильная машина, газовое освѣщеніе, фосфорныя спички, безчисленныя произведенія химической лабораторіи—все это новости нынѣшняго столѣтія, и порція угля цѣною на одинъ франкъ замѣняетъ намъ двадцатидневный трудъ прежняго работника.

Нужно ли поминать о парѣ, пожирателѣ пространства и времени, о громадной и тонкой силѣ, которая въ боль-

ницѣ приноситъ чашку съ супомъ къ самой постели больного, гнетъ и плющитъ какъ воскъ толстыя желѣзныя брусья, и мѣрится съ силами, поднявшими и выворотившими геологическіе слои нашей планеты. Чему хочетъ, онъ выучится, какъ способный мальчикъ, что хочетъ, подниметъ на рабочія плечи; но онъ еще далеко не совершилъ всего своего дѣла. Онъ уже ходитъ по полю какъ человѣкъ и работаетъ всякую работу; поливаетъ нашу ниву, срываетъ намъ горы, гдѣ нужно. Но онъ будетъ еще шить намъ рубашки, будетъ возить телѣги и коляски наши: Беббеджъ принялся уже учить его счету, и научитъ когда-нибудь вычислять проценты и логариѳмы. Лордъ канцлеръ Тюрло надѣется, что онъ когда-нибудь станетъ составлять исковыя бумаги и возраженія для канцлерскаго суда. Положимъ, что это сатира, но и сатира будетъ недалеко отъ дѣйствительности, судя по начальнымъ попыткамъ примѣнить паръ къ механическимъ дѣйствіямъ, соединеннымъ съ умственнымъ разсчетомъ.

Сколько чудныхъ механическихъ примѣненій изобрѣтено для тѣла человѣческаго: для зубныхъ операцій, для прививанія оспы, для ринопластики, для усыпленія нервовъ тонкимъ сномъ новаго изобрѣтенія. Наши инженеры, съ помощью громадныхъ машинъ, подобно кобольдамъ и волшебникамъ, сверлятъ Альпы, роютъ насквозь Американскій перешеекъ, прорѣзываютъ пустыню Аравійскую. Въ Массачусетсѣ мы побѣждаемъ море, укрѣпляя зыбкій берегъ простымъ травянымъ растеніемъ, укрѣпили песчаную пустыню — сосновою плантаціей. Почва Голландіи,— самаго населеннаго когда-то края въ Европѣ,— ниже морского уровня. Египетъ не зналъ, что такое дождь, въ теченіе трехъ тысячъ лѣтъ: теперь, говорятъ, тамъ бываютъ ливни, благодаря оросительнымъ каналамъ и лѣснымъ плантаціямъ.

Древній царь еврейскій сказалъ: „восхвалитъ Бога и ярость человѣчества“. И въ числѣ доказательствъ единобожія, самое сильное,—это громадность результатовъ, достигаемыхъ самыми обыкновенными дѣлами и средствами.

Кажется, пѣтъ и предѣловъ новымъ откровеніямъ того же духа, который нѣкогда создалъ стихійные элементы, а нынѣ, посредствомъ человѣка, разработываетъ ихъ. Искусство и сила и впредь не престанутъ дѣйствовать, какъ дѣйствовали донынѣ—ночь претворять въ день, пространство во время и время въ пространство.

Отъ одного изобрѣтенія родится другое. Едва обозначился въ умѣ электрическій телеграфъ, какъ открылся и матеріалъ необходимый для него—гутта-перча. Съ усиленіемъ торговаго движенія—открыты новые запасы золота въ Калифорніи и въ Австраліи. Когда Европа переполнилась населеніемъ,—открылся запросъ на него въ Америкѣ и въ Австраліи: и такъ, гдѣ ни случается неожиданное явленіе, оно приходится ко времени, какъ будто природа, устроивъ повсюду замки, ко всякому замку устроила и ключъ, который сама помогаетъ отыскать, когда нужно.

Вотъ еще слѣдствіе изобрѣтеній:—умноженіе отношеній между людьми. Оно изумляетъ насъ, открывая новые пути къ рѣшенью трудныхъ и запутанныхъ политическихъ вопросовъ. Отношенія эти—не новость: только размѣры ихъ новые. Сами по себѣ, мы по чувству эгоизма ухватились бы за рабство, готовы были бы замкнуть четвертую часть земного шара ото всѣхъ, кто внѣ ея, на чужой почвѣ родился. Наша политика отвратительна; но чему въ силахъ она помочь, чему можетъ помѣшать, въ такую пору, когда первородные инстинкты двигаютъ массами рода человѣческаго, когда цѣлые народы движутся приливомъ и отливомъ? Природа любитъ скрещивать расы:—германецъ, китаецъ,

турокъ, русскій, индіецъ—всѣ стремятся къ морю, всѣ женятся между собой и посягаютъ; коммерція приходитъ въ движеніе—и море кишитъ кораблями, которые готовы перевесть съ берега на берегъ цѣлыя населенія.

Тысячерукое искуство вошло новымъ элементомъ и въ жизнь государства. Наука власти волею или неволею вынуждена признать власть науки. Цивилизація восходитъ, карабкается—выше и выше. Когда Мальтусъ выводилъ, что число желудковъ умножается въ геометрической, а количество пищи—лишь въ ариѳметической прогрессіи,—онъ забылъ прибавить, что разумъ человѣческій—тоже одинъ изъ факторовъ въ политической экономіи, и что съ умноженіемъ въ обществѣ нуждъ умножится и сила изобрѣтенія.

Для потребностей общественнаго быта у насъ есть уже значительная артиллерія всяческихъ орудій. Мы ѣздимъ вчетверо быстрѣе, чѣмъ ѣздили отцы наши. Много лучше ихъ путешествуемъ, мелемъ, вяжемъ, куемъ, сажаемъ, воздѣлываемъ и копаемъ. У насъ совсѣмъ новые сапоги, перчатки, стаканы, инструменты; у насъ есть счетная машина; у насъ—газета, и посредствомъ газеты каждая деревня можетъ составить докладъ о себѣ и поднесть его намъ за завтракомъ. У насъ деньги и кредитный билетъ; у насъ—языкъ, топчайшее изо всѣхъ орудій и самое близкое дупѣ. Много,—и чѣмъ больше есть, тѣмъ больше требуется. Человѣкъ льститъ себя, что власть его надъ природою еще возрастетъ и умножится. Событія начинаютъ повиноваться ему. Насъ ожидаетъ еще—воздухоплаваніе, и можетъ быть недалеко намъ до войны, которая разыграется на воздухѣ. Немудрено, что мы изобрѣтемъ такую воду, отъ которой негръ разомъ станетъ бѣлымъ. Онъ уже видитъ, какъ мѣняется головной типъ англо-саксонской расы подъ вліяніемъ условій американской жизни.

Въ старину видали Тантала, какъ онъ, стоя на самой глубинѣ, напрасно пытался утолить жажду свою текучею струею, которая убѣгала, лишь только онъ наклонялся къ ней. Старикъ Танталъ, говорятъ, недавно опять появился въ мірѣ. Его видѣли въ Парижѣ, въ Нью-Йоркѣ, въ Бостонѣ. Онъ веселъ, увѣренъ въ себѣ: думаетъ, что ему скоро удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, увѣренность его напрасная. Обстоятельства—все еще мрачнаго вида. Сколько ни прошло столѣтій непрерывной культуры,—новый человѣкъ все-таки стоитъ на самомъ рубежѣ хаоса, все-таки не выходитъ изъ кризиса. У кого на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денегъ нѣтъ, что время тяжелое? У кого на памяти такое время, когда довольно было добрыхъ людей, разумныхъ людей, и такихъ мужчинъ и такихъ женщинъ, какихъ было нужно? Танталъ начинаетъ думать, что паръ—есть фантазія и что гальванизмъ—не больше того, чѣмъ по природѣ служитъ.

Многое уже заставляетъ задумываться, многое наводитъ на мысль, что благо наше лежитъ гдѣ-то глубже, что его не сыщешь—въ парѣ, въ фотографіи, въ воздушномъ шарѣ, въ астрономіи. Все это орудія сомнительнаго качества. Все это—реактивы. Множество машинъ имѣетъ угрожающій видъ. Ткачъ самъ превращается въ ткань, механикъ—въ машину. Кто самъ не владѣетъ орудіемъ, того беретъ во власть орудіе. Всѣ орудія—съ обточеннымъ остріемъ, и стало быть опасны. Человѣкъ строитъ себѣ прекрасный домъ: и вотъ является у него владыка, приходитъ работа на всю жизнь, и онъ долженъ устроивать домъ свой, беречь его, показывать, поддерживать и починивать—до послѣдняго своего издыханья. Человѣкъ создалъ себѣ репутацію: онъ уже не свободенъ, онъ долженъ беречь свое сокровище, уважать его. Человѣкъ написалъ картину, издалъ книгу: и чѣмъ

больше успѣха имѣло твореніе, тѣмъ хуже оттого иной разъ творцу. Я зналъ одного добраго человѣка: онъ жилъ вольно какъ птица небесная, какъ звѣрь лѣсной; но разъ ему вздумалось украсить кабинетъ свой нарядными полками для коллекціи раковинъ, яицъ, минераловъ и чучелъ. Это была забава, но чѣмъ забавлялся онъ въ сущности? Тѣмъ, что устраивалъ изящныя цѣпи и оковы для своихъ же членовъ.

Задумывается и ученый экономистъ. „Сомнительно,— всѣ какія только есть, механическія изобрѣтенія, облегчили ли трудъ дневной хоть одному человѣку“. Машина развиваетъ, раздѣляетъ человѣка. Машина доведена до высшаго совершенства, а кто механикъ при ней? никто. Всякое новое усовершенствованіе въ машинѣ сокращаетъ механика въ его дѣятельности, разучиваетъ его. Бывало, машина требовала для себя Архимеда; нынче для нея довольно мальчика, лишь бы онъ зналъ нужные пріемы, умѣлъ двинуть рукоятку, смотрѣть за котломъ; но когда испортится машина, онъ не знаетъ, что съ нею дѣлать.

Посмотрите на газеты: онѣ наполнены каждый день ужасными подробностями. Прежнія изданія, въ родѣ „календаря ньюгетской тюрьмы“ стали ненужны съ тѣхъ поръ, какъ въ лондонскомъ Таймсѣ, въ нью-йоркской Трибунѣ появляются свѣжіе разсказы о преступленіяхъ, гораздо еще ярче, гораздо ужаснѣе.

Въ политикѣ—развѣ бывало когда больше чѣмъ у насъ, своекорыстія, разврата, насилія? А торговля, это любимое дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница народовъ, эта благодѣтельница по неволѣ и вопреки себѣ, торговля наша кончается во всемъ мірѣ постыдною несостоятельностью, надувательнымъ предпріятіемъ и банкротствомъ.

Мы перечисляемъ всякія искуства, всякія изобрѣтенія человѣческія, какъ мѣрило достоинству человѣка. Но когда,

при всѣхъ своихъ искуствахъ и знаніяхъ, онъ оказывается лукавъ и преступенъ, явно, что механическое искуство со всѣми своими изобрѣтеніями не можетъ служить ему мѣриломъ достоинства. Поищемъ, нѣтъ ли другой мѣрки.

Что прибыло отъ этихъ искуствъ и знаній—характеру и достоинству рода человѣческаго? Стало ли лучше человѣчество? Многіе спрашиваютъ съ недоумѣньемъ, не понижалась ли нравственность, по мѣрѣ того какъ возвышалось искуство? Мы видимъ съ одной стороны великія искуства и знанія, съ маленькими людьми, съ другой стороны видимъ, какъ изъ низости выростаетъ величіе. Видимъ торжество цивилизаціи, и радуемся, но намъ указываютъ такую благодѣющую руку, которую душа не хочетъ признать. Самый главный факторъ преуспѣянія въ мірѣ—это торговля, сила личнаго эгоизма и мелкаго разсчета. Казалось бы, всякая побѣда надъ матеріей должна возвышать достоинство природы человѣческой въ сознаніи человѣка. А намъ, когда смотримъ на свое богатство, приходится дивиться, откуда взялось оно, и кто его виновникъ. Посмотрите на изобрѣтателей. У каждаго изъ нихъ есть свой фокусъ, въ которомъ онъ силенъ. Геній бьется въ извѣстной жилкѣ, пробивается въ извѣстномъ мѣстѣ; но гдѣ найдешь великій, ровный, симметрическій умъ, питаемый великимъ сердцемъ? У всякаго больше есть что притаить въ себѣ, нежели что выказать, всякаго заставляетъ хромать свое совершенство. Слишкомъ замѣтно, что отъ матеріальной силы отстало нравственное преуспѣяніе. По всему видно, что мы помѣстили капиталъ свой не совсѣмъ разсчетливо. Намъ предложены были *дѣла* и *дни* на выборъ; мы выбрали *дѣла*.

Новѣйшія изслѣдованія санскритскаго языка раскрыли намъ происхожденіе древнихъ названій Божества—Dyaeus, Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter, все имена солнечныя. Въ нихъ еще слышится, сквозь новую одежду ежедневнаго на-

рѣчія, слово: *День* (Day). Не значитъ ли это, что *день*— для насъ явленіе Божественной силы? что люди древняго міра, пытаясь выразить рѣчью верховную силу вселенной, дали ей имя: *день*, и что это названіе всѣ племена приняли?

Гезіодъ написалъ поэму и назвалъ ее: *Дѣла и дни*. Въ ней поэтъ описываетъ времена греческаго года, учитъ хозяина, когда, подъ какимъ созвѣздіемъ слѣдуетъ сѣять, когда начинать жатву, когда рубить лѣсъ, въ какой счастливый часъ плавателю пускаться въ море, чтобъ избѣжать бури, и за какими небесными планетами слѣдовать. Поэма наполнена хозяйственными наставленіями для греческой жизни: въ ней указанъ возрастъ для брака; въ ней есть правила для домашней экономіи, для гостепріимства. Поэма эта дышетъ благочестіемъ и исполнена разума житейскаго: она приложена ко всѣмъ меридіанамъ, потому что и дѣла и дни поэтъ представляетъ въ нравственномъ ихъ значеніи. Но *наука дней* не глубоко имъ разработана, хотя это очень глубокая наука.

Крестьянинъ, работая на полѣ своемъ, говорилъ: хорошо, когда бы моя была вся земля, какая примыкаетъ къ моему полю. Такія же наклонности были у Бонапарта: онъ хотѣлъ сдѣлать Средиземное море французскимъ озеромъ. Говорятъ, одинъ владыка земной простиралъ еще дальше свои планы, и весь Тихій океанъ хотѣлъ назвать *своимъ океаномъ*. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы онъ всю землю могъ взять въ удѣлъ себѣ и океанъ счесть за свое озеро,—все-таки онъ былъ бы нищимъ. Тотъ лишь одинъ богатъ, *кто владѣетъ днемъ своимъ*. Вотъ сила; нѣтъ на свѣтѣ ни царя, ни богача, ни чародѣя, ни демона, кто-бъ имѣлъ такую силу. Дни для насъ—тѣ же сосуды Божества, какъ и для прародителей нашихъ, арійцевъ. Изо всего сущаго—они всего менѣе обѣщаютъ, а вмѣщаютъ—всего болѣе. Они приходятъ безмолвно и торжественно, точно ви-

дѣніе образа, съ ногъ до головы закрытаго покрываломъ, точно нѣмые посланники, съ даромъ изъ дальняго пріязненнаго края; и такъ же безмолвно удаляются, унося съ собою дары свои, если мы не беремъ ихъ и ими не пользуемся.

Какъ приходится день по душѣ, какъ обвивается вокругъ ися точно тонкое покрывало, какъ одѣваетъ всѣ ея фантазіи! Всякій праздничный день окрашиваетъ насъ своимъ цвѣтомъ. Мы носимъ его кокарду, всякій привѣтъ его отражается на нашемъ душевномъ расположеніи. Вспомнимъ свое дѣтство: что у насъ было въ душѣ праздничнымъ утромъ, напримѣръ въ день національной годовщины, въ день Рождества Христова? Несемся, бѣжимъ, и кажется, самыя звѣзды съ неба мигаютъ намъ объ орѣхахъ и пряникахъ, о конфектахъ, подаркахъ и потѣшныхъ огняхъ. Помните, какъ въ ту пору жизнь считалась по календарю минутами, сосредоточивалась въ узлы первой силы, въ часы радужнаго блаженства, а не разливалась ровнымъ и гладкимъ потокомъ счастія. Въ уединеніи и въ деревнѣ — какимъ торжествомъ дышетъ праздничный день! Встаетъ изъ бездны временъ священный часъ праздника, древняя суббота, седьмой день, убѣленный тысячелѣтіями религіозныхъ вѣрованій, раскрывается чистая страница, которую мудрецъ испишетъ словами истины, дикій исцарапаетъ фигурами своихъ фетишей;—и мы слышимъ, въ уединеніи своемъ, вселенскій псаломъ, соборный хоръ всей исторіи человѣческаго рода.

И какъ сходится погода съ душевнымъ расположеніемъ въ молодости! Вѣтеръ, мѣняясь, мѣняетъ свою ноту на тысячи ладовъ, мѣнятъ тысячу разъ картины, которыя несетъ воображенію, и всякій новый ладъ его — новая оболочка, новое жилище для духа. Бывало, я умѣлъ выбирать настоящую пору для каждой изъ любимыхъ книгъ своихъ. Одинъ писатель приходится всего лучше къ зимнему времени, дру-

гой—къ лѣтнимъ каникуламъ. Есть книги (напр. Платоновъ Тимей), для которыхъ ждешь, долго ждешь настоящаго часа. Наконецъ приходитъ желанное утро, занимается заря, на небѣ является мерцаніе свѣта, какъ будто въ первую минуту мірозданія и въ началѣ бытія: и вотъ въ этотъ часъ простора смѣло раскрываешь книгу....

Въ иные дни къ намъ подходятъ великіе люди, близко—близко; на лицѣ у нихъ ни малѣйшей суровости, ни малѣйшаго снисхожденія: они намъ ровные, берутъ насъ за руку, говорятъ съ нами, и мы съ ними бесѣдуемъ. Въ иные дни мы чувствуемъ, что насталъ праздникъ—изо дней день въ году. Ангелы являются во плоти, уходятъ и приходятъ снова. Вся природа оживаетъ, точно у всѣхъ духовъ и боговъ проснулось воображеніе, и являетъ живые образы отовсюду. Вчера не слыхать было птичьяго голоса, міръ былъ сухъ, каменистъ и пустыненъ; сегодня—все населено и наполнено; все созданіе цвѣтетъ, роится и множится.

Дни ткутся на чудномъ станкѣ: основа и утокъ его—прошедшее и будущее. Нити ложатся величественнымъ рядомъ, какъ будто всѣ боги принесли по ниткѣ для небесной ткани. Странно подумать, отчего мы богаты, отчего мы бѣдны;—нѣсколько больше, нѣсколько меньше монетъ, ковровъ, платьевъ, камня, дерева, краски: тотъ или иной покрой, та или другая форма; наша доля—точно доля краснокожаго индійца:—одинъ гордится тѣмъ, что у него есть нитка бусъ или красное перо,—а остальные, не имѣя ни того, ни другого, почитаютъ себя несчастными. Но не таковы тѣ сокровища, на которыя истощилась для насъ природа: вѣками образованная, тонкая, сложная анатомія человѣка, надъ которою потрудились всѣ прежніе слои мірозданія, всѣ племена, бывшія до насъ;—всѣ формы и образы творенія, которыми окружены мы; вся земля и исполненіе ея; воздухъ—

несущій дыханіе и мѣру жизни;—море, зовущее вдаль; бездна небесная со всѣми ея мірами; и на все это отзывается мозгъ съ нервнымъ составомъ, и глазъ, способный проникать въ бездну, и бездну снова отражать въ себѣ:—бездна бездну призывающая. Все это безъ мѣры дано всѣмъ и каждому—не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши.

Не диво-ли это? И это диво въ рукахъ у послѣдняго нищаго. Рынокъ людской кипитъ подъ голубымъ небомъ, и въ небѣ херувимъ и серафимъ надъ нами витаютъ. Небо—это сіяніе славы, которымъ Великій Художникъ одѣлъ свое созданіе,—это предѣльная черта между матеріей и духомъ. Это край мірозданія: дальше не могла идти природа. Когда бы осуществились самыя блаженныя сновидѣнія наши, когда бы тонкая сила открыла намъ новое зрѣніе, и мы увидѣли, какъ ходятъ по землѣ милліоны духовныхъ существъ, и тогда бы, кажется открылось, что сфера, въ которой они движутся, окружена отовсюду той же самой тканью синевы небесной, которая осѣняетъ меня теперь, на городской улицѣ, между ежедневныхъ дѣлъ человѣческихъ.

Странно, что на богатомъ нашемъ англійскомъ языкѣ не находится слова, чтобъ назвать вселенную. Есть старинное англійское слово *Kinde* (родъ), но оно выражаетъ лишь малую часть того, что заключается въ прекрасномъ латинскомъ словѣ, имѣющемъ тонкій оттѣнокъ будущаго, дальнѣйшаго бытія: *natura*, т. е. не только рожденное, но *и имѣющее родиться*, чему въ германской философіи соотвѣтствуетъ das werden. Но ни на одномъ изъ новыхъ языковъ нѣтъ слова для выраженія силы, дѣйствующей только *въ красоту*. Для нея было только одно соотвѣтственное слово на греческомъ языкѣ: Kosmos, и оттого Гумбольдтъ прибралъ удачное названіе Kosmos для своей книги, въ которой изложены послѣдніе результаты науки.

Таковы дни: земля—полная чаша, которую предлагаетъ намъ природа отъ безмѣрныхъ щедротъ своихъ, каждый день, въ насущное наше питаніе; и покровъ чаши нашей—сводъ небесный. Но намъ дана еще сила *мечты*, которая съ нами родится и остается при насъ до послѣдняго издыханія.

Она ласкаетъ насъ, льститъ намъ, обманываетъ насъ съ ранней зари до вечерней, отъ рожденья до смерти—и ничей опытный глазъ не успѣвалъ еще до сихъ поръ распознать обмана. Индусы представляютъ Маію, *энергію мечты*, въ числѣ главныхъ аттрибутовъ Вишну. Моряки въ бурю привязываютъ себя къ мачтамъ и спастямъ корабельнымъ: не такъ ли, въ той бурѣ воюющихъ элементовъ, которая зовется жизнью, требуется привязать къ жизни души человѣческія, и природа употребляетъ для этого, вмѣсто канатовъ и веревокъ, всякаго рода мечты и фантазіи: для ребенка—погремушку, куклу, яблоко; для мальчика на возрастѣ—коньки, рѣку, лодку, лошадь, ружье; для юноши и для взрослаго—нечего и приводить примѣры, потому что имъ нѣтъ числа и предѣла. Иногда—маска спадаетъ, завѣса медленно поднимается, и дается человѣку увидѣть безобразную массу, набитую чучелу,—замазанную краской, поддѣланную снаружи. Юмъ утверждалъ, что измѣняются только обстоятельства, а средняя доля счастья—всегда одна и та же; что у нищаго, что сидитъ на мосту и ловитъ мухъ на досугѣ, и у вельможи, проѣзжающаго мимо въ богатой колескѣ, и у дѣвушки, выѣзжающей на первый балъ, и у оратора, когда онъ съ торжествомъ возвращается изъ парламента,—у всѣхъ разные способы душевнаго возбужденія, но количество его одно и то же.

Воображеніе всею своей силой помогаетъ намъ скрывать отъ себя цѣну и значеніе настоящаго времени. Кто изъ насъ не сознаетъ въ каждую минуту, что его настоя-

щая дѣятельность ниже и меньше того, что бы онъ могъ сдѣлать? „Что ты дѣлаешь“?—„Да ничего; я только что занимался вотъ чѣмъ, или я намѣренъ дѣлать вотъ что, а теперь я только...“. Ахъ, простакъ! неужели никогда ты не вырвешься изъ сѣтей своего фокусника,—неужели никогда не поймешь, что когда исчезло *сегодня*, когда между нынѣшнимъ днемъ и нами невозвратимые годы протянули уже свою лучезарную ткань,—минувшіе часы сіяютъ предъ нами обольстительною славой, и тянутъ насъ къ себѣ, какъ фантастическій романъ, представляются намъ царствомъ красоты и поэзіи? Какъ трудно смотрѣть на нихъ прямо безъ обмана! Все, что въ нихъ происходило, всѣ отношенія, всѣ слова и разговоры, всѣ горячіе интересы и горячія дѣла минувшихъ дней—все это бросаетъ намъ пыль въ глаза и развлекаетъ наше вниманіе. Тотъ сильный человѣкъ, кто можетъ глядѣть на нихъ прямо, безъ смущенья, не поддаваясь обольщенію, кто видитъ въ нихъ все, какъ было, сохраняя при себѣ свое самосознаніе; кто знаетъ и помнитъ, что ничего нѣтъ новаго подъ луною, и что было прежде, то и всегда бываетъ; кого ни любовь, ни смерть, ни политика, ни стяжаніе, ни война, ни удовольствіе—не въ силахъ отвлечь отъ предпринятаго дѣла.

Міръ всегда самъ себѣ равенъ, и всякій человѣкъ, въ минуту глубокаго раздумья о себѣ, чувствуетъ, что проходитъ тотъ же опытъ жизни, какой проходили до него люди въ древнихъ Ѳивахъ или въ древней Византіи. Непрестающее *нынѣ* царствуетъ въ природѣ и украшаетъ наши кусты тѣми же розами, которыя плѣняли древняго человѣка въ висячихъ садахъ Вавилона и Рима. Невольно просится въ душу вопросъ: стоитъ ли учить языки, стоитъ ли обходить вселенную, для того, чтобы узнать такія простыя и старыя истины?

Передъ нами—памятники древняго искуства, вырытые изъ подъ земли города, вновь открытыя рукописи и надписи: правда—это красота, и стоитъ знать ея исторію, и наши академіи сходятся рѣшать перѣшенные споры школъ древняго искуства. Какія экспедиціи, какой трудъ измѣренія, какія усилія умовъ—Нибура и Миллера и Ляйарда,—для того, чтобы опредѣлить мѣсто нахожденія Трои и столицы Нимродовой! Сколько морскихъ походовъ—для того чтобы почтить память Данта—и для того чтобы привести въ ясность, кто открылъ Америку, приходится пуститься въ плаваніе не меньше того, какое нужно было для открытія. Дитя человѣкъ! вѣдь эта мягкая масса, изъ которой старшіе братья наши въ древности вылѣпили дивные свои символы,—совсѣмъ не персидская, и не мемфисская, и не тевтонская, и совсѣмъ не мѣстная глина:—это обыкновенная известь, обыкновенный песчаникъ съ водою и со свѣтомъ солнечнымъ, съ жаромъ крови, съ дыханіемъ легкихъ: ту же самую глину ты самъ держалъ въ неумѣлыхъ рукахъ своихъ, и бросилъ изъ рукъ, когда побѣжалъ ее же отыскивать въ старыхъ гробницахъ, въ гробовыхъ колодцахъ, въ старыхъ книжныхъ лавкахъ малой Азіи, Египта и Англіи. Это все то же многозначущее *сегодня*, всѣми пренебрегаемое; та же богатая бѣдность, всѣми ненавидимая, то же многоглаголющее, любвеобильное уединеніе, отъ котораго бѣгутъ люди въ города, на шумный рынокъ. Нынѣшній день притаился и спрятался,—его надобно отыскивать: въ немъ удача и побѣда, въ немъ дѣйствительность, радость и сила. Всякій льститъ себя, никто не думаетъ, что настоящій часъ—критическій, рѣшительный часъ для всякаго. Но всякому надо написать у себя въ сердцѣ, что каждый день, какой приходитъ—лучшій день въ году. Ничего въ правду не узнаетъ человѣкъ, покуда не почувствуетъ, что каждый

день—день судебъ въ его жизни, день посѣщенія. Отъ вѣка божество являлось на землѣ въ смертной одеждѣ, въ низкомъ и смиренномъ видѣ: плохое величіе то, что любитъ являться міру съ возвышенія, въ брилліантахъ и въ золотѣ. Настоящіе цари и владыки оставляютъ свои коропы въ кладовой и являются въ простомъ и бѣдномъ нарядѣ. Въ сѣверной легендѣ нашихъ предковъ, Одинъ является въ видѣ рыбака, живетъ въ бѣдной хижинѣ, чинитъ свою лодку. Въ индійской легендѣ—Гари живетъ между поселянъ, простымъ поселяниномъ. Въ греческой легендѣ Аполлонъ живетъ съ адметскими пастухами, и Юпитеръ дѣлитъ сельскую жизнь съ бѣдными еоіоплянами. И въ нашей исторіи Іисусъ родился въ яслихъ, и двѣнадцать апостоловъ Его—изъ простыхъ рыбаковъ. Въ нашей наукѣ мы видимъ на каждомъ шагу, что природа являетъ въ маломъ крайнее свое величіе; таково было правило Аристотеля и Люкреція,—а въ наши времена правило Сведенборга и Ганеманна. Возрастъ слоевъ земной коры опредѣляется по тому же порядку, въ которомъ совершается развитіе яйца. Въ народныхъ сказкахъ и легендахъ нашихъ—самая могущественная фея всегда меньше всѣхъ ростомъ. Въ ученіи о благодати смиреніе выше всѣхъ добродѣтелей, и живой образецъ смиренія—Мадонна; въ жизни тайна смиренія—тайна мудрости человѣческой. Заслуга генія передъ человѣчествомъ всегда состоитъ въ томъ, что онъ снимаетъ намъ завѣсу съ простыхъ явленій обыденной жизни, и мы видимъ, чего не подозрѣвали прежде, видимъ божество въ простой одеждѣ, посреди толпы цыганъ и разнощиковъ. Въ ежедневномъ быту пріемъ для работы обличаетъ намъ мастера; мастеръ пользуется подручнымъ матеріаломъ, не дожидаясь, покуда достанутъ ему издалека то, что слыветъ у другихъ за отличное, или изъ чего другіе работали со славой. „У полководца,—говорилъ Бона-

партъ,—всегда достаточно войска, если только умѣетъ онъ употребить людей своихъ и если самъ дѣлитъ походъ и бивуакъ съ ними". Дѣло, которое принесъ тебѣ настоящій часъ, не отвергай для другого, болѣе заманчиваго и славнаго. Высшая точка на горизонтѣ мудрости въ одинаковомъ разстояніи отовсюду, и если хочешь найти ее, ищи ее тѣми способами, какіе тебѣ самому сродны и свойственны.

Но воображенію нашему всегда привлекательнѣе то дѣло, которое не на сей часъ требуется. Сегодня именно, и въ тотъ часъ когда обѣщали мы придти на работу, въ засѣданіе,—какъ влекутъ насъ къ себѣ, сколько намъ обѣщаютъ дальніе холмы и вершины!

Главный урокъ исторіи состоитъ въ томъ, что она показываетъ намъ цѣну настоящаго часа и долгъ его. Благо мое, дѣло мое—то, на которое мнѣ указываютъ родина моя, мой климатъ, мои средства и матеріалы, мои сотоварищи.

Есть повѣрье, что конскіе волосы въ водѣ превращаются въ червей—волосатиковъ. Ученые считаютъ его басней; но мнѣ часто думается, что старыя вещи гніютъ, и изъ прошедшаго родятся змѣи. Поклоненіе дѣламъ предковъ можетъ превратиться въ обманчивое чувство. Достоинствомъ ихъ было не поклоненіе прошедшему; заслуга ихъ состояла въ томъ, что они чтили настоящую минуту; и мы напрасно ссылаемся на нихъ въ оправданіе такой наклонности, которая имъ была бы противна, которой они не слѣдовали въ жизни.

И еще любимая мечта наша—что намъ мало времени для дѣла. Но мы могли бы размыслить, что многія твари вкушаютъ изъ одной чаши, и каждое существо, сообразно своему составу, принимаетъ и переработываетъ въ немъ тѣ элементы, которые ему свойственны,—и время, и пространство, и свѣтъ, и воду, и пищу тѣлесную. Змѣя обращаетъ всякую свою добычу въ змѣю, лисица въ лисицу; и Петръ

и Павелъ обращаютъ все бытіе свое въ Петра и Павла. Въ Нью-Йоркѣ кто-то однажды жаловался, что мало времени. Простой индіецъ отвѣтилъ ему умнѣе иного философа: „мнѣ кажется, въ твоей власти все время, какое у тебя есть“.

Есть еще мечта: мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли о великомъ значеніи долгаго времени—года, десятилѣтія, столѣтія. Но старая французская поговорка гласитъ: Божье дѣло въ минуту совершается,—„En peu d'heure Dieu labeure“. Мы молимъ себѣ долгой жизни, но долгая жизнь значитъ: полная жизнь, жизнь великая минутами. Истинная мѣра времени—духовная, а не механическая мѣра. Жизнь длинна свыше мѣры. Минуты духовнаго разумѣнія и провидѣнія, минуты полнаго единства въ личномъ отношеніи, одна улыбка, одинъ взглядъ,—вотъ чѣмъ мы проникаемъ въ вѣчность и черпаемъ изъ нея полную мѣру. Въ такія минуты жизнь возносится до крайней точки и сосредоточивается; по словамъ Гомера, „боги однажды только и въ одинъ только день даютъ смертнымъ ту долю разума, какая кому назначена“.

Я одного мнѣнія съ поэтомъ Вордсвортомъ, что „одно только есть въ жизни счастье и нѣтъ иного—счастье въ разумѣ и добродѣтели“. Одного мнѣнія съ Платономъ, что „чѣмъ больше углубляемся мыслью въ эти истины, тѣмъ болѣе долготы придаемъ своей жизни“. Я одного мнѣнія съ Главкономъ, когда онъ говоритъ: „О Сократъ! мѣра жизни для мудраго—говорить и слушать рѣчи подобныя тому, что мы отъ тебя слышимъ“.

Тотъ одинъ можетъ обогатить меня, кто дастъ мнѣ мудрость дня, кто мнѣ освѣтитъ путь мой отъ восхода до восхода солнечнаго.—Разумѣніе дня—служитъ мѣрою человѣка. Поэтъ, съ одною своей поэзіей, математикъ, съ одними своими проблемами, не вполнѣ удовлетворяетъ насъ; но когда человѣкъ постигаетъ душой заодно и основныя начала мірозданія, и праздничное величіе вселенной,—тогда и его

поэзія вѣрна, и числа его отзываются вамъ музыкой. Не тотъ для меня ученый изъ ученыхъ, кто можетъ раскопать передо мной погребенныя въ землѣ династіи Сезострисовъ и Птоломеевъ, опредѣлить мнѣ годы олимпіадъ и консульствъ; но тотъ, кто можетъ раскрыть мнѣ теорію нынѣшняго понедѣльника, нынѣшней середы. Есть ли въ немъ то знаніе любви (piety), которое одно умѣетъ разгадать пошлость ежедневной жизни, можетъ ли онъ снять покровы съ тѣхъ узъ, которыми пошлые люди, пошлые предметы соединяются съ первымъ началомъ бытія? Пролетѣло пятнадцать минутъ, въ людскомъ мнѣніи, это доля времени, а не вѣчность; мелкая, подневольная доля,—доля *надежды* или доля *памяти*, это дорога *къ* счастью или *отъ* счастья, но не само счастье. Можетъ ли онъ показать мнѣ эту четверть часа въ связи ея со счастьемъ и съ вѣчностью? Вотъ истинный учитель, вотъ кто можетъ провесть насъ изъ рабскаго и нищенскаго быта—въ богатство и въ увѣренность. Съ нимъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ,—честь и достоинство. Наша *Америка*, нищенствующая Америка, любопытствующая, всюду заглядывающая, повсюду странствующая, всему подражающая, изучающая Грецію и Римъ и Германію и Англію,—Америка сниметъ запыленныя свои сандаліи, сброситъ полинявшую дорожную шляпу, и останется дома, и сядетъ въ мирѣ и въ сіяніи радости. Посмотритъ вокругъ себя: во всемъ мірѣ нѣтъ такихъ видовъ природы, въ исторіи вѣковъ не было такого часа, въ будущемъ не найдется другой минуты благопріятнѣе! Часъ поэтамъ пѣть, часъ искуствамъ раскрывать все свое богатство!

Еще одно замѣчаніе. Жизнь только тогда хороша, когда она очаровательна и музыкальна, когда въ ней полный ладъ, полное созвучіе, и когда мы не анатомируемъ ее. Держи въ чести дни свои, превратись самъ въ день свой, не допрашивай его, какъ профессоръ ученика. Міръ нашъ—загадочный

міръ; все что говорится, все что познается и дѣлается—все загадка, все надобно принимать не въ разумѣ буквы, а въ разумѣ духа. Чтобы уразумѣть все въ правду, мы должны быть на верху своего званія. Когда птица поетъ пѣснь свою, слушай; но если хочешь слышать пѣснь, берегись разлагать ее на имена и глаголы. Постараемся воздержать себя, отдать себя, покориться. Когда утро наступаетъ, дадимъ мѣсто утру.

Все во вселенной идетъ волной и изгибомъ. Прямыхъ линій нѣтъ. Помню, какъ теперь, что разсказывалъ иностранный ученый, заѣхавшій на недѣлю къ намъ въ домъ—на радость моей юности. „Любимая забава у дикихъ островитянъ—сказывалъ онъ—играть съ волною на береговомъ прибоѣ. Они ложатся на волну, которая подхватываетъ ихъ и выноситъ, потомъ плывутъ опять, снова отдаются волнѣ и съ наслажденьемъ по цѣлымъ часамъ занимаются этой игрой. Вся человѣческая жизнь состоитъ изъ такихъ-же переходовъ. Надобно умѣть выйти изъ себя, отдаться: кто не умѣетъ этого, для того не можетъ быть и величія. А у васъ здѣсь и астрономія какъ будто для того, чтобы присматривать за человѣкомъ. Не смѣешь выйти изъ дому, и посмотрѣть на мѣсяцъ и на звѣзды: все кажется, что и они считаютъ шаги мои и допытываются, сколько строчекъ и страницъ я написалъ и прочелъ, съ тѣхъ поръ какъ съ ними видѣлся... Не такъ живали мы въ своемъ краю: всѣ наши дни были не похожи другъ на друга, и всѣ смыкались во едино—единою любовью къ тому, что занимало и наполняло насъ. Чувствовать полнымъ свой часъ—вотъ въ чемъ счастье. Наполните, боги, часъ мой, такъ, чтобы, когда пропелъ онъ, я могъ бы сказать: я прожилъ часъ, а не говорилъ бы такъ: вотъ, прошелъ еще часъ моей жизни“.

Намъ нужны не *дѣлаые* люди, мастера на всякое литературное или искуственное дѣло, тѣ, что умѣютъ написать

поэму, отстоять судебный процессъ, провести ту или другую мѣру—за деньги; тѣ, что могутъ крѣпкимъ усиліемъ воли обратить свою способность куда угодно—на тотъ или другой предметъ, въ ту или въ иную сторону. Нѣтъ;—все, что совершено лучшаго въ мірѣ—дѣло гепія—совершилось даромъ, ничего не стоило; вышло на свѣтъ безъ тяжкихъ усилій, свободнымъ теченіемъ мысли. Шекспиръ создалъ своего Гамлета, какъ птица вьетъ гнѣздо свое. Пиля поэмы вылились безсознательно, между сномъ и пробужденіемъ. Великіе художники писали картины въ радость себѣ и не чувствовали, какъ сила изъ нихъ выходила. Такъ не могли бы они писать въ хладнокровномъ настроеніи. И мастеры лирической нашей поэзіи также писали свои пѣсни. Чудная сила цвѣла въ нихъ чуднымъ цвѣтомъ красоты,—и твореніе ихъ было, по выраженію извѣстныхъ писемъ французской женщины, „прелестнымъ случаемъ прелестнѣйшей жизни“ (le charmant accident de l'existence encore plus charmante). Ни одинъ поэтъ не истощается, не терпитъ убыли отъ своей пѣсни. И пѣсни не будетъ, пока не пришелъ часъ вольно и въ красотѣ спѣть ее. Если оттого поетъ пѣвецъ, что долженъ пѣть, и что нельзя миновать пѣсни—то лучше пусть ея вовсе не будетъ. Сопъ самъ собою приходитъ къ тѣмъ однимъ, кто не заботится о снѣ: такъ и говорятъ и пишутъ всего лучше тѣ, кого не нудитъ забота: какъ скажется и какъ напишется.

Въ наукѣ—то же самое. Нашъ ученый часто бываетъ изъ любителей. Подвигъ его состоитъ въ какой-нибудь запискѣ для академіи—о странной рыбѣ, о головастикахъ, о паутинныхъ пожкахъ; онъ дѣлаетъ наблюденія, сидитъ надъ микроскопомъ, какъ другіе академики; но когда записка его окончена, прочитана, напечатана,—онъ входитъ снова въ обычную жизнь, которая идетъ у него сама по себѣ, совсѣмъ отдѣльно отъ жизни ученой.—Не таковъ Ньютонъ: у него

наука была такъ же вольна, какъ дыханіе; для того, чтобъ опредѣлить вѣсъ луны, онъ употреблялъ ту же умственную способность, которая ему служила на застежку крючковъ на платьѣ; вся жизнь его была простая, мудрая, величественная. Таковъ былъ Архимедъ—всегда самъ себѣ подобенъ, какъ сводъ небесный. У Линнея, у Франклина—та же ровная простота и цѣльность; нѣтъ ни ходулей, ни вытягиванья; и дѣла ихъ плодотворны и достопамятны всѣмъ людямъ.

Освобождая время отъ всѣхъ его иллюзій, стараясь отыскать сердцевину дня, мы останавливаемся на качествѣ минуты и отлагаемъ заботу о долготѣ ея. На какой глубинѣ стоитъ наша жизнь—вотъ что важно для насъ, а широта ея протяженія не существенна. Мы стремимся къ вѣчности, а время—преходящая оболочка вѣчности; и въ самомъ дѣлѣ, отъ малѣйшаго ускоренія мысли, отъ малѣйшаго углубленія мыслительной силы, наша жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуемъ долготу ея.

Есть люди, которымъ нѣтъ нужды проходить долгую школу опытовъ. Послѣ многолѣтней дѣятельности они могутъ сказать: все это мы напередъ знали; они съ перваго взгляда любятъ и отвращаются, умѣя различать сразу сродственное и несродственное. Они не спрашиваютъ никогда объ условіяхъ, потому что сами всегда въ единомъ условіи съ собою, и живутъ въ волю; приказываютъ другимъ, не принимая ни отъ кого приказа; сознавая право свое на успѣхъ, всегда въ немъ увѣрены, и всегда пренебрегаютъ общіе пріемы и способы для успѣха. Сами собой живутъ, сами собой держатся, сами ведутъ себя. Во всякомъ обществѣ остаются—сами собою: имъ это позволяется. Они велики въ настоящемъ; они не имѣютъ талантовъ и не заботятся имѣть ихъ, потому что въ нихъ та сила, которая прежде таланта была и послѣ таланта будетъ, и самый талантъ употребляетъ себѣ орудіемъ. Сила эта—*характеръ*—самое высокое имя, до какого достигла философія.

Не важно, *какъ* такой человѣкъ дѣлаетъ то или иное дѣло: важнѣе всего, кто онъ, что такое онъ самъ. Кто онъ, что въ немъ,—это выражается въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ движеніи. Здѣсь минута сливается съ характеромъ: не различишь одно отъ другого.

Преимущество характера надъ талантомъ прекрасно выражено въ греческой легендѣ о состязаніи Феба съ Юпитеромъ. Фебъ сталъ вызывать боговъ на состязаніе и спросилъ: кто изъ васъ обстрѣляетъ Аполлона стрѣлометателя?— Зевсъ отозвался: я обстрѣляю. Маръ принесъ жеребьи, положилъ ихъ въ шлемъ свой, и первая очередь выпала Аполлону. Онъ натянулъ лукъ свой и метнулъ стрѣлу далеко, на край дальняго запада. Тогда всталъ Зевсъ, однимъ движеніемъ занялъ все пространство и сказалъ: куда стрѣлять? Не осталось мѣста. И боги присудили награду за стрѣльбу тому, кто не бралъ въ руки лука.

И вотъ путь восхожденія для духа, ищущаго мудрости:— отъ дѣлъ людскихъ и всякаго дѣланія рукъ человѣческихъ— до наслажденія тѣми силами, которыя управляютъ дѣломъ; отъ почтенія къ дѣламъ—до мудраго благоговѣнія передъ таинствомъ времени, въ которое духъ человѣческій поставленъ для дѣланія; отъ мѣстныхъ искуствъ и отъ экономіи, считающей *по часамъ* сумму производительности,—до той высшей экономіи, которая ищетъ видѣть качество дѣла, право на дѣло, вѣру и вѣрность въ дѣлѣ; ищетъ проникнуть черезъ дѣло въ глубину мысли, являющейся въ дѣлѣ, мысли во вселенскомъ ея значеніи, той мысли, которой корень не во времени, а въ вѣчности. Источникъ такихъ дѣлъ— характеръ—высшее начало духовной цѣльности. Передъ нимъ всѣ минуты ровны; онъ дастъ человѣку величіе во всякомъ званіи; въ немъ единственное опредѣленіе свободы и силы.

ВЪ СИНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ

К. П. Побѣдоносцева:

О подражаніи Христу. *Ѳомы Кемпійскаго.* Переводъ съ латинск. Изд. 6-е, съ размышленіями изъ духовныхъ писателей. СПБ. 1895. Ц. 1 р. 25 к.

Исторія Православной церкви до начала раздѣленія церквей Изд. 4-е. СПБ. 1898. Ц. 75 к.

Праздники Господни. Изд. 4-е. М. 1898. Ц. 50 к.

Побѣда, побѣдившая міръ. Изд. 9-е. М. 1898. Ц. 45 к.

Московскій сборникъ. Изд. 5-е, дополненное. М. 1901. Ц. 1 р. 40 к.

Христіанскія начала семейной жизни. М. 1901. Ц. 75 к.

Исторія дѣтской души. Повѣсть не для дѣтей. М. 1899. Ц. 1 р.

Новая школа. Изд. 2-е. М. 1899. Ц. 1 р.

Ученье и учитель. Педагогическія замѣтки. М. 1900. Ц. 30 к.

Призваніе женщины въ школѣ и обществѣ. М. 1901. Ц. 40 к.

Сборникъ сочиненій Гилярова-Платонова, въ двухъ томахъ. М. 1899. Ц. 4 р.

Основная конституція человѣческаго рода. Соч. *Ле-Плѐ.* М. 1897. Ц. 75 к.

Вѣчная память. Воспоминанія о почившихъ. М. 1899. Ц. 75 к.

Правда о гр. Львѣ Толстомъ. М. 1900. Ц. 15 к.

Друзья и почитатели покойнаго Андрея Николаевича Муравьева, собравъ въ память его небольшой капиталъ, издаютъ и пускаютъ въ продажу по возможно дешевой цѣнѣ наиболѣе извѣстныя и назидательныя сочиненія его, и другія соотвѣтственныя по содержанію и изложенію. До сего времени вышли и находятся въ продажѣ слѣдующія изданія:

Письма о Богослуженіи Восточной Каѳолической Церкви. СПБ. 1894. 370 стр. Ц. **60** к.

Дополненіе къ письмамъ о Богослуженіи. Сборникъ статей, извлеченныхъ изъ сочиненій *Муравьева*. СПБ. 1883. 300 стр. Ц. **50** к.

Путешествіе по святымъ мѣстамъ Русскимъ, *Муравьева*. Часть I. СПБ. 1888. 712 стр. Ц. **1** рубль, съ перес. **1** р. **20** к.

То же. Часть II-я. СПБ. 1889. 568 стр. Ц. **1** рубль, съ перес. **1** р. **20** к.

Русская Ѳиваида, *Муравьева*. СПБ. 1894. 425 стр. Ц. **70** к.

Бесѣды объ отношеніи Церкви къ христіанамъ, *Амфитеатрова*. СПБ. 1896. 274 стр. Ц. **50** к.

Сборникъ мыслей и изреченій Митрополита Московскаго *Филарета*, извлеченныхъ изъ переписки его съ разными лицами. М. 1897. 125 стр. Ц. **40** к.

Слово Григорія Богослова, архіепископа Константинопольскаго, на святую Пасху, съ присовокупленіемъ Огласительнаго слова святаго Іоанна Златоустаго на утреня св. Пасхи и Евангельскихъ стихиръ на воскресной утрени. СПБ. 1898 г. 55 стр. Ц. **15** к.

Христіанство и римская имперія отъ Нерона до Ѳеодосія. *Поля Аллара*. СПБ. 1898. 291 стр. Ц. **1** р.

Сборникъ церковно-учительныхъ чтеній на дни Страстной седмицы. М. 1900. 284 стр. Цѣна **1** рубль.

ПРОДАЕТСЯ

ВЪ СИНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ.

Цѣна 1 руб. 40 коп.

Тамъ же продаются книги того же издателя:

О подражаніи Христу. *Оомы Кемпійскаго.* Новый переводъ съ Латинскаго. Изд. 6-е, съ размышленіями изъ духовныхъ писателей. СПБ. 1895. Ц. 1 р. 25 к.

Исторія православной Церкви до начала раздѣленія церквей. Изд. 4-е. СПБ. 1898. Ц. 75 к.

Праздники Господни. Изданіе 4-е. М. 1898. Ц. 50 к.

Побѣда, побѣдившая міръ. Изд. 9-е. М. 1898. Ц. 45 к.

Христіанскія начала семейной жизни. М. 1901. Ц. 75 к.

Исторія дѣтской души. Повѣсть не для дѣтей. М. 1899. Ц. 1 р.

Новая школа. Изд. 2-е. М. 1899. Ц. 50 к.

Ученье и учитель. Педагогическія замѣтки. М. 1900. Ц. 30 к.

Призваніе женщины въ школѣ и обществѣ. М. 1901. Ц. 40 к.

Сборникъ сочиненій Гилярова-Платонова. Два тома. М. 1899. Ц. 4 р.

Основная конституція человѣческаго рода. *Соч. Ле-Пле.* М. 1897. Ц. 75 к.

Вѣчная память. Воспоминанія о почившихъ. М. 1899. Ц. 75 к.

2007041267